

ВЫБОРЫ В США: ЧТО ЖДЕТ СТРАНУ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



4 (32) 2024

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 4 (32) 2024

Бостон
2024

ВРЕМЕНА

*Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Давид Гай

VREMENA

*International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary*

EDITOR-IN-CHIEF: David Guy

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(ФРАНЦИЯ)
ВЛАДИМИР БАТШЕВ	(ГЕРМАНИЯ)
МАРК ВЕЙЦМАН	(ИЗРАИЛЬ)
СЕМЁН КАМИНСКИЙ	(США)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
МИХАИЛ МИНАЕВ	(США)
АЛЕКСЕЙ НИКИТИН	(УКРАИНА)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(АНГЛИЯ)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(ДАНИЯ)
СЕМЁН РЕЗНИК	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

Published by **M•GRAPHICS** | Boston, MA

ISSN 2575-9558

Copyright © 2024 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For obtaining permission to reproduce selections from this publication
email or call to the publisher: mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778
or editor-in-chief: guydavid094@gmail.com / 646-270-9615.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Дорогие читатели!

Мы уже объявили о начале подписки на журнал на 2025 год (4 номера). Как и раньше, наш журнал будет выходить примерно в середине первого месяца каждого квартала. Нашим подписчикам журнал будет рассылаться непосредственно из типографии. С 2024 года журнал выпускается также и в электронной версии (формат PDF), рассылаемый подписчикам этой версии по электронной почте.

Важное изменение также коснется версии журнала, выкладываемой на нашем сайте. **С 2025 года полную версию выпусков смогут читать только подписчики журнала.** Все остальные смогут ознакомиться на сайте только с содержанием журнала и короткими отрывками из некоторых его материалов. Для чтения полной версии журнала нужно будет либо подписаться, либо приобретать отдельные выпуски года — по ссылкам, расположенным на сайте в разделе **АРХИВ НОМЕРОВ**.

Для подписки на 2025 год выпишите чек на имя компании-издателя: **M-Graphics:**

- на сумму **75** (семьдесят пять) долларов (**печатная версия с доставкой по США**)
- на сумму **85** (восемьдесят пять) долларов (**печатная версия с доставкой в европейские страны — возможность доставки в Украину, Израиль и некоторые другие страны пока неясны**).
- на сумму **50** (пятьдесят) долларов — **для получения всех выпусков журнала в электронном виде (PDF)** в любой стране мира.

Обязательно укажите полное имя, точный почтовый адрес, включая страну доставки, адрес электронной почты (для получения электронной версии) и телефон получателя (если отправка бумажной версии идет за пределы США).

Вложите чек в конверт и отправьте его по адресу:

Mr. David Guy 97–07 63rd Road, Apt. 11H Rego Park, NY 11374

Телефон для справок: **646–270–9615**.

Для тех из вас, кто предпочитает электронные методы оплаты, подписку также можно оформить на нашем вебсайте:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ. 6

ПРОЗА

Валерий БОЧКОВ

РИСУНОК ПЕПЛОМ (ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА) 15

Амин АЛАЕВ

В АДУ НЕ СМОТРЯТ НА ЧАСЫ 37

Дмитрий ПЕТРОВ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ (ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ) 80

Антанас ШКЕМА

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ 116

ПОЭЗИЯ

Ирина БАСОВА-ЗАБОРОВА 30

Григорий МАРГОВСКИЙ 68

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ 139

Михаил КОВСАН 148

Виктория АМЕЛИНА 158

Елена МУДРОВА 162

Ольга САМОЛЕВСКАЯ 193

Эрик ФРИДМАН 232

ЮБИЛЕИ

Владимир ФРУМКИН

**«И КАЖЕТСЯ, ЧТО РУССКИХ БОЛЬШЕ НЕТУ,
А ВМЕСТО НИХ ТОЛПА...»** 166

ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ

Марк ВЕЙЦМАН

ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСТИННОЙ ЖИЗНИ 180

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БЕСКОМПРОМИССНОСТИ 185

ДАТЫ

Ксения ГАМАРНИК

«ВАС ЗАЩИТИТ СЛАВА В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ...»
К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА ПИЛЬНЯКА. 206

МИРЫ ПЛАТОНОВА

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 220

ПЕРЕВОДЫ

Александр ШИК

ЗОВ ЮКОНА. РОБЕРТ УИЛЬЯМ СЕРВИС 244

Геннадий МИХЛИН

ПЕРЕВОДЫ ФИНСКИХ ПОЭТОВ 252

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Виктор БАНДУРКО

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАДЕТА. 260

К ЧИТАТЕЛЯМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Напомню: в обращении к вам в последнем номере прошлого года я писал: *«Мы вступаем в 2024 год с надеждами и тревогой. Журнал набрал силу и, судя по вашим откликам, содержание номеров находит отклик. Мы надеемся, интерес к изданию будет увеличиваться, подписка расти. Что же касается тревоги, то ход войны в Украине, развязанной путинской кликой, не дает, к сожалению, оснований для оптимизма. Агрессия, неприкрытый геноцид продолжают, и конца не видно...»* (номер верстался до трагических событий 7 октября, поэтому нет упоминания о вторжении ХАМАС на территорию Израиля).

Минул год. Надежды остались, тревоги прибавилось. С чем мы заканчиваем год 2024-й, какие предварительные итоги можно подвести, каковы планы журнала на ближайшее будущее? Постараюсь ответить на эти вопросы.

Фраза «Когда пушки говорят, музы молчат» давно стала своего рода мемом, обозначающим ситуацию, когда насильственные или военные действия затмевают культурные аспекты. Выражение имеет глубокий смысл и навеивает размышления о реальных стимулах бытия. Военные действия и политические баталии отнимают у людей способность и желание обращаться к искусству и культуре в целом. Вместо того, чтобы наслаждаться духовными ценностями, общество вынуждено обращать внимание на проблемы и страдания, которыми заполнен мир конфликтов и насилия.

Журнал «ВРЕМЕНА» всячески противоборствует этой тенденции. Члены редсовета и авторы стремятся по мере сил и возможностей доказать обратное — нет, музы не молчат, турбулентная мировая обстановка и военные действия в центре Европы и на Ближнем Востоке тре-

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКЕННА

2024

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКЕННА

2025

буют писательских откликов. Поэтому в каждом номере этого года на наших страницах присутствуют публицистические материалы, проза и поэзия, отражающие происходящее. Так называемое чистое искусство не для нас, мы находимся в гуще событий, варимся в этом котле. Поддержка Украины и Израиля, борющихся с агрессорами и террористами, — для нас ключевая тема. И неслучайно номера этого года открываются именно такими публикациями.

Разумеется, мы не могли пройти мимо президентских выборов в США. После публикации двух прямо противоположных по смыслу статей в №2, 2024 — Якова Фрейдина и Александра Пумпянского — объединенных общей темой: «Хотите ли вы видеть Трампа в Белом доме?» пошли читательские отклики. В №3, 2024 мы напечатали шесть из них. Мнения, как водится, разделились, тем ценнее, по-моему, получилась полемика. В первом номере будущего 2025 года «ВРЕМЕНА» вернутся к итогам выборов. Пока же не станем делать никаких прогнозов — дело это ненадежное, можно легко обмануться, как это случилось с прогнозами по поводу несомненной победы Хиллари Клинтон в 2016-м. А победил Дональд Трамп...

Но вернемся к русской литературе. Она переживает сейчас не лучшие времена. Налицо определенное отчуждение всего русского. Опять возник водораздел, по инициативе Кремля воздвигается железный занавес между метрополией и диаспорой. Публикация талантливых, актуальных произведений, честные театральные постановки на злобу дня в путинской России невозможны, чреватые тюремными сроками для авторов. Примеры уже есть. И в этой связи значение приобретает существование зарубежных изданий типа нашего. Мы печатали и будем печатать самое яркое, созданное в самой России и за ее пределами — силами эмигрировавших литераторов, не желающих мириться с путинским режимом. Я особо преклоняюсь перед мужеством отдельных авторов, не покинувших родину-мачеху и не скрывающих свое местопребывание. Пример — остро-критическая по отношению к режиму пьеса сибиряка Михаила Лебедева «Адий», опубликованная в 3-м номере за этот год. Это уже вторая его пьеса, увидевшая свет в нашем журнале. Первая (№ 3, 2023) носила открыто антивоенный характер. Добавлю и имя москвички Марианны Рейбо, опубликовавшей в 2023-м альтернативный роман «Транзишн» о трансгендерах. И пьесы, и роман были обречены не увидеть свет в России — и стали известны благодаря «ВРЕМЕНАМ».

Вокруг журнала образовался круг постоянных авторов, чье творчество мы весьма ценим. Назову имена. Валерий Бочков, Михаил Гончарок, Борис Сандлер, Владимир Фрумкин, Семен Резник, Александр Половец, Андрей Оредеж, Михаил Ковсан, Виктор Норд, Эллайда Трубецкая, Виктор Фет, Геннадий Кацов, Галина Ицкович, Гари Лайт, Борис Камянов, Татьяна Вольтская, Григорий Марговский, Юрий Солодкин, Марина Тюрина-Оберландер, Валерий Слуцкий, Геннадий Михлин, Григорий Оклендский, Валерий Скобло... К ним добавились Эдуард Якубович, Андрей Белозеров, Нина Гейдэ, Марк Вейцман, Марк Пыльковский, Дмитрий Петров, Эмилия Песочина, Зинаида Вилькорицкая... Представляют они разные страны: США, Израиль, Германия, Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Грузия, Приднестровье и др.

Мы приветствуем на наших страницах украинских прозаиков, поэтов, публицистов Алексея Никитина, Александра Кабанова, Олега Максименко, Павла Вышебабу, Олега Никофа, Михаила Дубинянского, Ирину Рыпку, Павло Рыцаря, Ольгу Гриценко... И посмертно Викторию Амелину (ее стихи звучат на украинском) и Елену Мудрову, погибших от российских ракет и бомб (№ 4).

Важный раздел журнала — «Имена в литературе». Публикации, как правило, связаны с юбилейными датами. По рекомендации Игоря Михалевича-Каплана рубрику ведет Ксения Гамарник. Ее глубокие, тонкие эссе посвящены в основном знаменитым русским литераторам прошлых лет, ибо нынешняя словесность, к сожалению, не родила сопоставимых с ними фигур. Герои этих эссе — Евгений Замятин, Юрий Олеша, Василь Быков, Борис Пильняк, Андрей Платонов, Булат Окуджава. Есть и представители зарубежной литературы, например, Мураками, Хемингуэй и Гертруда Стайн. Великолепен очерк о творчестве великого украинского поэта Тараса Шевченко.

«О, дух словесности российской, ужель навеки отмерцал ты?» — в сомнении задавал вопрос себе и читателям Борис Чичибабин в самом начале 90-х, опасаясь за судьбу русской литературы. Через три с лишним десятилетия, после стольких передраг, можно все-таки ответить утвердительно — нет, не отмерцал.

Журнал представляет и переводы на русский с других языков. В этом году вы могли читать стихи великих грузинских поэтов в переводе Константина Гулисашвили, новеллы американцев Эриха и Лиллиан фон Нефф (№ 3), а в № 4 познакомитесь с творчеством безвременно

ушедшего литовского писателя Антанаса Шкемы «Апокалиптические вариации».

Рубрика «Документы, письма, воспоминания» дает возможность печататься нашим читателям. Так, в № 4 о прожитом-пережитом в «Записках старого кадета» рассказывает Виктор Бандурко, человек уникальной судьбы.

Я не случайно столь подробно рассказываю о журнале и его авторах. Надеюсь, перечисления не утомят вас. Именно бескомпромиссная позиция журнала в отношении кремлевского агрессора, активное стремление издавать тех, кого не печатают в России, многоголосие и высокий художественный уровень письма создали «ВРЕМЕНАМ» высокую репутацию.

Вновь подчеркну: журнал существует исключительно на средства от подписки. Спонсоров, грантов у нас нет. Условия подписки сохраняются на 2025 год, несмотря на постоянное удорожание услуг типографии и доставки экземпляров подписчикам.

Мы признательны читателям, помогающим «ВРЕМЕНАМ» выживать благодаря добровольным пожертвованиям в наш фонд, как правило, небольшим. Уже началась подписная кампания, и мы надеемся, традиция такой финансовой поддержки сохранится.

Об одном изменении. Начиная с первого номера будущего года, на сайте журнала не будут присутствовать, как теперь, полные тексты публикуемых произведений. Мы ограничимся только краткими фрагментами. Желющие видеть тексты в полном объеме смогут по желанию подписаться на печатную или электронную версии номеров. Причем электронная версия отправляется в любые страны мира. В условиях подписки подробно сказано об этом.

* * *

Напоследок — о переписке с читателями. Это важная сфера деятельности главного редактора. Не всегда приятная, ибо нередко приходится отказывать авторам в публикации.

Я получил от израильтянки Ирены Скалерики текст «Страна Художника», носящий признаки сказа. Он, как и положено жанру, не был привязан к жизненным реалиям, скорее был оторван от происходящего и явно не вписывался в требования журнала. Я написал автору и объяснил отказ. Попутно с помощью интернета узнал подробности ее биографии.

Ирена Коган (псевдоним Ирена Скалерика) родилась в Харькове. Закончила специальную музыкальную школу по классу скрипки и Консерваторию в Ленинграде как композитор и музыковед. Она автор многих музыкальных произведений в разных жанрах. По роду деятельности композитор, музыковед, вокалист, фольклорист, пианист, сценарист, драматург, продюсер.

В 1991-м она репатрировалась в Израиль. Здесь занялась исследованием не слишком известной в мире народной музыки: песен на идише, ладино, иврите, фарси, песен йеменских евреев. Написала более 90 сочинений на темы еврейских народных песен. Именно эта огромная работа стала основой репертуара созданного Иреной в Иерусалиме детского фольклорного ансамбля «Дети Царя Давида». Детский ансамбль просуществовал в Израиле 18 лет. За это время Ирена со своим детским ансамблем дали около 3000 концертов в Израиле, Германии, Голландии и Америке.

Начиная с 2008 года, Скалерика сокращает педагогическую деятельность и полностью переходит к сочинению крупных музыкальных произведений и пьес, пишет музыку к фильмам.

Замечательный, талантливый человек, однако рассказ у нее не получился, с сожалением отмечаю. Она согласилась со мной: *«Я задумала рассказ «Страна Художника» про Израиль. Но, видимо, эту мысль я выразила недостаточно ясно. На стороне Израиля оказались все силы природы, все стихии. А главных героев я списала с убитой ХАМАС Шани Лук и погибшего солдата нашей армии. Но, видимо, я это сделала неубедительно».*

Вскоре я получил от Ирены новое послание, которое по-настоящему взволновало. Это уже был не сказ, а самая что ни на есть зловещая реальность. И я решил полностью опубликовать письмо без купюр.

Уважаемый Давид Гай,

Мое имя в паспорте Ирена Коган-Клайн. Скалерика — псевдоним и мое второе имя для антисемитов. Кстати, «Скалерика» — название моей любимой песни на ладино (еврейско-испанской песни).

Я вовсе не умоляю вас напечатать мои рассказы. Я просто сейчас хочу объяснить. Я уверена, что вы уважаете людей, следовательно, прочтете мое письмо до конца.

Вы пишете мне о двух страшных войнах. Это звучит анекдотично потому, что именно я и нахожусь внутри войны, под войной, меня окружает война со всех сторон. Простите не вы, а я.

Я считаю, что сейчас рано писать о нашей войне, сейчас наступило время документов, военных сводок, сообщений, приказов. Потом, когда война закончится, настоящие писатели напишут о ней. Что я могу написать сейчас о войне?

Пожалуйста, я могу, но это будет сгусток страданий, тревог и слез.

Когда полиция в начале войны сообщила о правилах поведения во время ракетных обстрелов, я вышла на улицу, чтобы узнать, где бомбоубежище. Оказалось, что оно находится на противоположной стороне огромного широкого шоссе.

В моей квартире нет специальной комнаты на случай войны. Я засекала время: ну конечно, за полторы минуты, отведенные службой тыла, добежать до убежища невозможно. Мне не 20 лет, я бы даже сказала, что мне уже и не 50.

Сэкономить можно только на одном: спать в одежде и в обуви. Это очень неприятно: спать в одежде и теплых кроссовках в течение нескольких месяцев. Сейчас на улице +35.

Ничего не кончено, война продолжается, Хезболла обещает своими ракетами разрушить мой любимый город, в котором я живу — Хайфу.

Как прекрасна Хайфа! Своими артистичными горными перепадами улиц, чудесными живыми зелеными кипарисами! Умными, творческими людьми и задумчивыми собаками.

Когда мы приехали в Израиль в 1991 г. я сразу влюбилась в эту страну, в Бен Гурионе стоял запах моря, люди улыбались, лица поражали своей яркостью, разнообразием, красотой глаз, блеском курчавых волос. Но особым потрясением для меня было громкое звучание еврейских фамилий! Я родилась на Украине, там нашу фамилию Коган в публичном месте всегда говорили намного тише, чем остальной текст беседы, разговора. Это было первым потрясением.

Везде: в больничной кассе, на улице, в автобусе еврейские имена и фамилии звучали громко!

Вторым чудесным потрясением для меня стали песни евреев из Испании — ладино, я познакомилась с ними только в Израиле, в СССР они были неизвестны.

Я изучила их, сочинила на их основе много музыки, получившей 14 призов на Международных конкурсах композиторов. Затем последовали народные песни евреев Йемена, затем, конечно, идиш. Я сочиняла, захлебываясь, и в скором времени создала детский ансамбль «Дети Царя Давида». Где дети от 5 до 12 лет исполняли только еврейские народные песни. 3000 концертов я дала с моим детским ансамблем в Израиле и странах Европы за 17 лет моей работы.

Ах, как много можно написать о мире, и как мало о войне...

Война. Я решила: новости буду слушать только с утра, иначе просто умру от слез и горя.

Слушать в течение дня да еще на ночь — никто не выдержит.

Наши любимые, наши дорогие солдаты, погибшие хаялим. Какие одухотворенные лица, какие красавцы, как они улыбаются на фотографиях! Это благодаря вам я жива, и сотни таких как я. Вы защитили меня своими телами. Ночами мне снится, как вы, сраженные, падаете возле меня.

Однако... надо все время читать Mignews и знать, что происходит, нельзя громко включать радио, иначе я не услышу сирену.

Я никогда не думала, что буду плакать такими слезами ярости из-за слов политика Эрдогана.

О мой Бог!

В своей речи он лгал так возмутительно, ставя голову на пол, а ноги на потолок, искривляя все что можно! Кто напал на Израиль 7 октября, что эти монстры, эти примитивные убийцы творили с нашими прекрасными юношами и девушками, включая беременных женщин. Он лгал по всем пунктам. И впервые я ощутила силу лжи, да, ее преступность и невероятную силу. Слова Эрдогана сами собой превратились в жгут, в плетку из нескольких ядовитых змей, ею Эрдоган словно стегал меня и других людей, его слушателей.

Тогда я решила написать сказку, фантазию про Израиль и назвала ее «Страна Художника». В этой стране всегда главным было творчество, интеллект людей, ее населяющих и, конечно, наша еврейская доброта. Наше потрясающее душевное тепло. Я точно знаю, что такого тепла нет у многих национальностей мира, перечислять которые было бы сейчас не политкорректно.

...Итак, скоро ночь, я приготовила, как всегда, на случай сирены, все рядом у входной двери: документы, деньги в сумочке, бутылка с водой, телефон.

Дверь открыта, все месяцы войны я ее не запираю на ночь, это тоже экономит время, чтоб добежать до укрытия. Надеваю брюки, футболку и кроссовки.

И молюсь: если на меня упадет ракета, я хочу умереть сразу. Господи, ну пожалуйста. Я совсем уже немолода и мучиться у меня просто нет сил. Но самое страшное — оказаться в плену у ХАМАС или Хезболлы. Я не представляю, как человек может это выдержать.

Вот мои короткие заметки о войне. Время книг еще не пришло. Война продолжается.

С уважением, Ирена Скалерика, Хайфа

Давид Гай, главный редактор

Валерий БОЧКОВ

РИСУНОК ПЕПЛОМ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

В основе любой теории расового превосходства лежит страх и комплекс собственной неполноценности.

Гётц Али, историк

ОТ АВТОРА

В двадцати километрах от Биркенау находился другой лагерь — лагерь отдыха. Он был разбит в лесу: охотничья усадьба с флюгером и дюжина бревенчатых избушек в баварском стиле по берегу озера. В озере водилась рыба, хорошо шла щука на живца, особенно на вечерней зорьке. В главном доме усадьбы устраивали музыкальные салоны, правда, концертный «Беккер» приходилось постоянно подстраивать из-за влажности; оно и понятно — лес. На первом этаже располагался бильярдный зал, а на втором большой каминный — «дубовая столовая», где устраивали семейные ужины, вечеринки, где отмечали праздники. На террасе можно было со вкусом подремать в шезлонге или выпить аперитиву перед ужином.

Дом стоял на холме, и с террасы открывался вид на озеро и сосновый бор. В тихую погоду чёрная полоска дыма уходила в небо, а в ветреную дым разматывало по округе, и он оседал жирной чёрной копотью на крышах окрестных деревень.

Лагерь отдыха предназначался для офицеров СС, служивших в Освенциме. Много раз отдыхал там и доктор Менгеле. Судя по улыбкам на фотографиях, ему место нравилось. Прислуга вспоми-

нает, что доктор был вежлив, часто шутил. На основном месте службы — в Освенциме — он занимался научными исследованиями и там места для шуток не было.

* * *

Менгеле считал себя учёным, хотя имел лишь медицинский диплом в области антропологии. Он учился в Бонне и Вене, с 1933 года работал в Мюнхене, тогда же вступил в партию. В 1938 году он подаёт заявку, и его принимают в СС. Пять лет Менгеле служит в дивизии Ваффен СС «Викинг». В мае 43-го его переводят в Освенцим, где он основывает собственный научно-исследовательский институт, который становится филиалом Берлинского института имени кайзера Вильгельма — ведущего антропологического заведения Европы.

Основной фокус научной работы Менгеле — сбор генетической информации, которая бы позволила с минимальной ошибкой определять принадлежность к высшей расе — арийской. Или к низшей — всех остальных. Это была практическая наука с прицелом на будущее: новые поколения немцев будут — должны быть — чистокровными арийцами, поскольку гены низшей расы могут прятаться и вдруг выскочить спустя несколько поколений. Теоретическую основу взяли у американских коллег: закон южных штатов «Капля крови» декларировал, что даже самый отдалённый предок с чёрной кожей делает индивидуума «небелым».

С педантизмом немца и энтузиазмом исследователя Менгеле сам отбирал материал для своих опытов, каждое утро он встречал на платформе новую партию заключённых. Обходил строй, вглядывался в лица. Более всего его интересовали близнецы, особенно случаи мутации цвета глаз. В лаборатории была собрана целая коллекция таких случаев.

В довоенной Германии национальными хитами стали фильмы про безумных учёных — «Кабинет доктора Калигари» и «Завещание профессора Мабузе» — герои которых, представители научных кругов, в результате помешательства встают на сторону зла и в той или иной степени пытаются уничтожить человечество.

То была эпоха немецкого экспрессионизма: на чёрно-белом экране драма доводилась до истерики, гротеск становился уродством, действие напоминало ожившие рисунки пациентов психических клиник — цепкие руки, растущие из стен, чёрные птицы в пол-не-

ба, зловещие тени, клыкастые пасти. Хищный клин острым углом втыкался в бок белого круга, оживший мертвец насилует слепую сиротку, ночь опускалась на город и длилась вечно. Сегодня эти фильмы видятся посланиями оракула, который безошибочно предсказал человечеству его ближайшее будущее.

Менгеле даже по созвучности фамилии видится именно таким персонажем — садист с безумным взором, бесом одержимый маньяк. Хохочущий в лицо своим жертвам психопат, кровью подписавший контракт с самим Сатаной. Колбы с сотней пар заспиртованных глаз. Операции без наркоза, поскольку наркоз может повредить чистоте эксперимента.

Реальность оказывается ещё страшнее. Менгеле деловит и сух, он абсолютно рационален. Он видит себя только учёным, научным работником, исследователем. Он не испытывает к жертвам своих опытов никакой антипатии, какие могут быть чувства к морской свинке, к подопытному кролику? Менгеле работает на переднем крае науки, в полном соответствии с линией партии и в интересах немецкого народа. Он — патриот.

* * *

Любую идею можно вывернуть наизнанку. Каждое учение, каждая теория имеет обратную сторону. Как правило — тёмную. Религия, призывающая любить всех людей, даже своих врагов, при умелом обращении становится отличным инструментом для поиска и наказания этих врагов.

Теория Дарвина, учение эволюции и борьбы за выживание на примере птиц с более крепким клювом становится логичной основой оправдания бедности бедных и научно обоснованного закрепления статуса кво.

Идея Эйнштейна об относительности времени может стать вполне неплохим стартом для развития теории об относительности морали.

Расизм и национализм, как одна из его разновидностей, всегда базируется на страхе и зависти. Страх перед будущим и зависть к тем, кто может занять твоё место. «Зависть рождается исключительно в социально близких группах и никогда между абсолютно разделёнными группами». Дело капитана Дрейфуса 1894 года в Париже показало, что главный грех не в том, что он Дрейфус, а в том, что капитан.

Геббельс провалился как новеллист-философ и как драматург, в качестве сублимации он выбрал карьеру партийного агитатора. Антисемитизм Гитлера проснулся после того, как Адольфа не приняли в академию художеств Вены. Отправной точкой в обоих случаях стала зависть к более успешным и желание им отомстить.

Менгеле говорил: «Уничтожение всех евреев поголовно, даже неграмотных крестьян из Восточной Европы и России, абсолютно необходимо не потому, что конкретно они представляют опасность для будущего Рейха и Западной цивилизации, а потому, что из этого котла дикого кровавого замеса появятся будущие интеллектуалы, банкиры, политики. Вся эта чернь должна быть принесена в жертву во имя будущего арийской расы».

Кстати, когда Менгеле ещё работал в Мюнхене, его научный руководитель, к слову, тоже убеждённый нацист и создатель концепции «народной антропологии», профессор Теодор Моллисон, отзывался о своём ученике как о «старательном лаборанте, увы, лишённом воображения, логики и энергии мысли, необходимых для формирования стержня, который необходим настоящему учёному». За докторскую диссертацию Менгеле получил снисходительную четвёрку с минусом.

Троечники, завистливые ничтожества, они готовы мстить всему миру за свою бездарность. Кровь их не пугает, морали у них нет, они идут до конца. Единственная цель — любой ценой доказать своё превосходство. Напомню — непризнанный художник ради этого был готов уничтожить всю Европейскую цивилизацию. И чуть было не добился своего.

* * *

Должен разочаровать любителей драматических финалов, конец истории доктора Менгеле банален и скучен. Он не приклеивал рыжую бороду и не переодевался женщиной, не скрывался в канализации и не пересекал границу по дну реки, дыша через соломинку; в конце войны доктор спокойно покинул Освенцим и отправился в Мюнхен. Скорее всего, чтобы забрать отчёты о результатах своих опытов, которые он регулярно отправлял в институт из своей лаборатории в концлагере.

С липовым солдатским документом устроился на ферму в Баварии, проработал там три года. Через Красный Крест, используя свои

связи в католической церкви, получил паспорт на имя Вольфганга Герхарда. В 1949 году спокойно перебрался через океан и прибыл в Южную Америку. Сначала в Аргентину, после переехал в Парагвай, в конце концов осел в Бразилии.

Подпольная жизнь изгнанника складывалась вполне уютно, бывший доктор стал торговать кофе, оно и понятно — Бразилия; через пару лет он даже женился. Молодожёны регулярно путешествовали, Менгеле начал писать мемуары. В 1979 году в результате инсульта он умер, утонув в бассейне.

В романе использованы материалы из архивов Третьего Рейха, официальные документы, письма и отрывки из личных дневников.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОВЕЛИТЕЛЬ РЫБ

1

Начнём с птиц, а именно с ворон. Принято считать, что вороны самые умные среди птиц, ты тоже так наверняка ответишь, если кто-то спросит. Я и сам так думал совсем недавно, когда мы жили ещё в Шарлоттенбурге, на Фазаненштрассе. Улица фазанов — смешное название, тем более что в округе обитали лишь воробьи, голуби да ещё вороны. Из окна кухни был виден угол крыши с водосточной трубой, на верхушке которой вороны в начале каждого марта устраивали неопрятное гнездо из сухих веток и мелкого мусора. К концу месяца из гнезда торчали разинутые клювы воронят.

Впрочем, тогда птицы меня совсем не интересовали, тогда я увлекался барбусами. В моём аквариуме на подоконнике жила целая футбольная команда полосатых рыбок — суматранских барбусов. Бронзовые, с чёрными полосками и плавниками ярко морковного цвета, они синхронной стаей гоняли из одного конца аквариума в другой, ловко огибая водоросли и кораллы. Суматра — это остров, его я нашёл в географическом атласе, старой дедушкиной книге, которая состоит только из географических карт. Там есть и Берлин, но найти нашу улицу я так и не смог.

Ещё я увлекался индейцами. Книжку Карла Мая «Верная Рука» про приключения Шеттерхенда я знал почти наизусть. В доме напротив была табачная лавка с красной дверью, за толстым витринным стеклом стоял деревянный индеец — вождь апачей Виннету — в натуральную величину, умело раскрашенный и со стеклянными глазами, хитрыми и почему-то голубыми, хотя даже пятиклашке известно, что у расы американоидов глаза должны быть тёмно-карими. В остальном вождь был идеален: орлиные перья, амулет из когтей американского медведя-гризли; в деревянной, с правильными венами и жилами руке он сжимал трубку мира. Из неё по пятницам курился белый дымок — таким манером герр Шварцхубер привлекал покупателей, поджигая там какую-то паклю. Тот индеец из табачной лавки казался мне самой прекрасной вещью на свете. По утрам я старался выйти пораньше, чтобы до школы налюбоваться вождём Виннету всласть. Но вернёмся к воронам.

На самом деле самые умные птицы — это грачи. Грач очень похож на ворону, только поменьше. Они даже относятся к одному роду, вроде как индейцы из разных племён, ирокезы и апачи, например. Так что твой ответ насчёт вороны отчасти тоже правильный. Правильный, но не совсем точный. Кстати, грача даже можно выдрессировать как собаку — он будет приносить тебе мелкие предметы, ключ, к примеру, или ружейную гильзу. У меня пока с дрессировкой этой не очень получается.

Месяца три, с конца марта, я пытаюсь подлизаться к ним. Но грачи не так просты, хитрецы наблюдают за мной, когда я оставляю им еду — объедки — хлебные корки и куриные кости, которые мне удаётся стырить из столовой. Я оставляю свёрток с провиантом на большом пне. Грачи ждут, когда я отойду подальше, и только после этого слетают вниз. Они живут в ветках старого дуба, громадного, как туча. Ствол дуба можно обхватить, если взяться за руки, только втроём.

Доктор фрау Дункель рассказывала, что дубу этому тысяча лет и сам Фридрих Барбаросса отдыхал в тени его листья на пути в Палестину. Император засыпал, а спал он, не снимая доспехов. Не снимал он и перевязи, и рыцарского пояса, даже золотые шпоры на кожаных ремнях не отстёгивал. Его покой охраняли два ворона, те самые птицы, которых он посылал после своей смерти на родину посмотреть, не закончились ли распри в Германии. И как только вороны принесут весть о мире, император вернётся и займёт свой трон. А так он сидит в тай-

ной пещере, сидит и ждёт. Мне кажется, что и пещера эта тоже где-то в наших местах.

Лично я уверен, что у Барбароссы служили не вороны, а грачи. И вполне вероятно, предки тех самых птиц, которых я подкармливаю объедками из нашей столовки. Какие-нибудь пра-пра-правнуки императорских грачей. Вроде вчерашнего молодого наглеца, что на рассвете долбил клювом в оконное стекло. Я аж подскочил спросонья, босиком подбежал к окну, а этот даже не испугался. Пялился на меня, голову так набок нахально наклонив, весь литой и блестящий, точно из оружейной стали выкованный. А после захлопал крыльями и унёсся, хохоча, в сторону озера.

А на подоконнике осталась пуговица, бельевая, такие пришивают к наволочкам или кальсонам. До меня не сразу дошло, что пуговицу грач принёс. Я ещё толком не проснулся, к тому же меня сразу отвлекла возня у лодочного сарая. Там, на мостках, происходило что-то необычное.

Курт-пол-Ноги, наш обер-егерь, и какой-то незнакомый офицер без кителя и фуражки — они баграми пытались дотянуться до какого-то белого пузыря, что плавал метрах в пяти от лодочной пристани. Над белым кружили грачи, они весело переругивались между собой, хлопали крыльями, явно издеваясь над бестолковыми людьми. Багры были, очевидно, коротки.

У меня отличное зрение, с таким в снайперскую школу берут без разговоров, и хоть ещё не до конца рассвело, мне хорошо был виден предмет в воде — он напоминал пузатый мешок, в которых привозят в столовую муку. Как мешок оказался в озере — вот тебе вопрос. Кто кинул и зачем. К тому же я не мог решить, если мука намокнет и превратится в тесто, будет ли мешок плавать или пойдёт на дно.

Курт-пол-Ноги наконец отправился в лодочный сарай, офицер остался на мостках, сплюнул в воду и закурил; грачи продолжали кружить над добычей, изредка пикируя на белое и пытаясь ухватить что-то клювом.

Я продолжал разглядывать плавающий предмет. Нет, не мешок это. Мне начало казаться, что я уже вижу плавники — чуть розоватые — и матовый отлив чешуи на сероватом брюхе, — таким манером ловкая фантазия дорисовывает в нашем сознании недостающие детали: так на диске полной луны ясной ночью запросто можно рассмотреть лицо дьявола, а в сумеречных тенях под яблоней увидеть полосатых чертенят.

Да, определённо, рыба, огромная дохлая рыба. Скорее всего, сом. Ни сазан, ни карп, ни тем более лещ или голавль при всём желании до такого размера не вымахают. А вот сом — запросто. В Одере сто лет назад ловили двухметровых сомов. Два метра — это ж выше кочегара Гюнтера, целая акула! Такие рыбины нападали на домашних уток и гусей, могли утянуть под воду даже телёнка. В желудке сомов-великанов иногда находили даже человеческие кости.

Сом-великан в нашем озере! Сом-людоед! Я тут же вообразил, как к нам приедет берлинская кинохроника — операторы с камерами на треногах, режиссёр будет хрипло командовать в мегафон, на вынимаемая изо рта длинную трубку, будут снова вертлявые журналисты с блокнотами и брать интервью — и через неделю-другую нас покажут в «Вохеншау», в самом конце киножурнала, сразу после военных сводок.

Курт-пол-Ноги ловким манёвром развернул лодку, оставив вёсла, перегнулся через борт. Мне был видна спина егеря и тугой круглый зад в малиновых бриджах. Сом, должно быть, скользкий, и его надо бы багром подцепить, но егерь забыл багор на берегу. Офицер щелчком стрельнул окурком в воду и сунул руки в карманы галифе. Егерь продолжал возиться, от лодки по озеру пошли волны. Отражённые сосны ожили и ленивыми змеями потекли по зелёной воде. Курт-пол-Ноги медленно привстал, вытягивая тяжесть из воды, над бортом появилась голова, но не рыбья, а человеческая. Утопленник, мать божья. Настоящий утопленник! Егерь затащил мертвеца в лодку, сизым пятном мелькнуло лицо, белая рубаха. Донёсся глухой стук — мёртвый и деревянный. Наверное, утопленник ударился головой о дно лодки.

2

Утопленника звали Эрих Реммеле. По цвету нашивки он относился к транспортным. Позавчера, в пятницу, я показывал ему, как цеплять блесну-вертушку к карабину поводка, а через час он насмерть запутал леску в барабане — такой «бороды» я отродясь не видел. Выдал ему новый спиннинг, ещё раз объяснил, что нужно придерживать катушку большим пальцем — притормаживать:

— Блесна коснулась воды, а барабан-то продолжает травить леску — по инерции, понимаете?

Он молча кивал, но явно не слушал, смотрел сквозь меня. Потом зачем-то спросил, где мой отец. Я соврал — ненавижу, когда меня жалят, впрочем, враньём мой ответ можно назвать лишь отчасти.

А после ливень лупанул — стеной рухнул. Мощно, с грохотом, прямо как водопад. Вмиг стемнело. Озеро на том берегу затуманилось и стало серым и призрачным. Реммеле — он бросал блесну с мостков, что у лодочного сарая, — так вот он кинул спиннинг, мигом разделся и в озеро сиганул. С разбегу, голышом, прямо с мостков — бомбочкой. Вынырнул, руками замахал, будто пытаюсь вырваться из воды — взлететь. Что-то с азартом выкрикнул, но не взлетел, а шлёпнулся с брызгами. Пошла волна, прибрежные кувшинки закивали в такт, словно соглашаясь с ним не очень охотно. Он нырял, сверкая белыми ягодицами, старался достать дно, но у мостков глубина восемь метров и только повару Брахту это удавалось, да и то не всякий раз.

Мне тоже нравится купаться в дождь. Особенно в ливень. Но делаю я это иначе — тихо: люблю отплыть подальше от берега, там лечь на спину и, раскинув руки крестом, подставить лицо под хлёсткие капли до невыносимой щекотки в небе.

3

В дверь постучали, тихо. Я открыл. В темноте коридора, чуть отступив назад, стояла девчонка в тугом сером платке на голове. С цинковым ведром в руке. Примерно моя сверстница — лет четырнадцать, может, чуть старше. В горничные набирали голландок, из «христовых пчёл». Эта была новенькая, раньше её я не видел.

— Убирать? — спросил.

Она кивнула. Бесцветное лицо с белёсыми бровями. У нас в классе учился альбинос по фамилии Айке, так у него даже ресницы белые были — будто мукой присыпаны. Голландка вошла, выудила из ведра тряпку, крепко скрутила, отжимая воду. Я отошёл к окну.

— Утопленника видала?

Она кивнула, не поднимая головы. Отвернулась и начала протирать тумбочку, старательно, почти нежно. Сквозь ткань халата проступали острые позвонки, мелкие и хрупкие на вид, совсем как у ребёнка. И бескровная кожа, белая, как папиросная бумага и тонкая — почти прозрачная, и бледный нос, острый и чуть длинный, но всё равно красивый, и особенно глаза — испуганные и чуткие, цвета

осеннего неба. На губах появилось начало улыбки, она догадалась, что я разглядываю её. Я быстро отвёл взгляд и уставился в окно.

Утопленник теперь лежал на мостках. Подъехал «Опель» коменданта, из машины вылез обер-егерь, следом за ним и сам комендант. Курт-пол-Ноги, припадая на протез, пошёл им навстречу. Офицер остался стоять у трупa. Раскрыл портсигар и сунул в рот сигарету. От своего коттеджа быстрым шагом спускалась к мосткам доктор Ильза Дункель, она шла не по мощёной тропинке, а напрямиком, по траве.

— Он так и не вернул спиннинг, — произнёс я тихо в стекло окна. — Этот Реммеле.

Фрау доктор склонилась над трупом, остальные медленно подошли к ним, встали в кружок.

— Ты уже убиралась у...? — я кивнул в сторону озера.

— Да, — она ответила быстро. — А что?

— Спиннинг там был?

— Что?

— Удочка такая. Короткая.

Она пожала одним плечом. Все эти голландки чуток малохольные, их, сирот, собирали по монастырям и привозили сюда. На кухне работать, летом в огородах. Уборщицами по территории. Тот лагерь называли «Канада». Там было много полячек.

— Ключ есть? — спросил я. — Тебя как звать?

— Ива.

В комнате Роммеле стоял полумрак, жалюзи были опущены. Пахло мокрым полом. Спиннинг лежал на столе. Ну коза голландская! — вот же он тут, на самом видном месте. Леска на спиннинге оказалась аккуратно намотана на катушку, блесна на месте. На углу стола лежала толстая тетрадь в чёрном переплёте, стянутом резинкой. Запах мокрого пола почему-то показался мне печальным, почти трагичным. Есть такие запахи, от которых на душе становится тошно.словно у беды есть свой запах. Особенный и печальный. Запах горя. Так пахнет из холодной печки, пеплом и сырой гарью.

Я взял тетрадь, стянул резинку, раскрыл на середине. Начал листать. Листы с обеих сторон были исписаны аккуратным почерком, экономным и немного женским. Мама писала таким почерком, только буквы у неё покрупнее. Мысль о доме вконец угробила настроение. Послед-

ние страницы, всего пять-шесть, остались чистыми. Я нашёл последнюю запись, начал читать с середины.

4

...днями и ночами я должен был видеть самую суть процесса, наблюдать за кремацией, за вырыванием зубов, за отрезанием волос, бесконечно смотреть на все ужасы. Мне приходилось часами выносить ужасающую, невыносимую вонь при раскапывании массовых могил и сожжении разложившихся трупов. Я должен был наблюдать в глазок газовой камеры за ужасами смерти, потому что на этом настаивали врачи. Они потом докладывали Ильзе Дункель — не могу поверить, что у этой женщины ... (далее несколько слов были старательно зачёркнуты). Мне приходилось всё это делать, потому что на меня все смотрели, потому что я должен был всем показывать, что я не только отдаю приказы и делаю распоряжения, но готов и сам делать всё, к чему принуждаю своих подчинённых...

17 АВГУСТА, ГЛАВНЫЙ КОРПУС (МАНОВИЦ).

Я всегда боялся расстрелов, когда думал о массах, о женщинах и детях. Я уже отдал много приказов об экзекуциях, о групповых расстрелах, исходивших от РФСС или РСХА. Но теперь я успокоился: все мы будем избавлены от кровавых бань, да и жертвы до последнего момента будут испытывать щадящее обращение. Присутствие зондеркоманды и её спокойное поведение успокаивало беспокойных и мнительных. Для этого несколько человек из зондеркоманды входили со всеми в помещение и вплоть до последнего момента оставались внутри, так же до конца стоял в дверях и эсэсовец. Самым важным было соблюдать величайшее спокойствие во время захода в камеру и раздевания. Только без криков, только без спешки. Если кто-то не хотел раздеваться, ему помогали уже раздетые или кто-нибудь из зондеркоманды. Упрямец уговаривали и раздевали. Заключённые из зондеркоманды заботились также о том, чтобы процесс раздевания проходил быстрее и у жертв не оставалось времени для размышлений.

Вообще усердное содействие зондеркоманды при раздевании и вводе в газовую камеру было уникальным. Никогда я не видел сам и не слышал о том, чтобы они хоть что-нибудь сказали жертв-

вам о предстоявшем. Напротив, они делали всё, чтобы обмануть их, и прежде всего успокоить подозрительных. Если те не верили эсэсовцам, то братьям по расе (по соображениям взаимопонимания и успокоения зондеркоманда всегда составлялась из евреев как раз тех стран, в которых совершалась акция) они верили. Они расспрашивали о жизни в лагере, осведомлялись о знакомых или родственниках, прибывших раньше. Интересно, как вралы им при этом заключённые зондеркоманды, какими убедительными минами и ужимками подкрепляли они сказанное. Многие женщины прятали своих младенцев в кучах одежды. Члены зондеркоманды почтительно обращались к женщинам и уговаривали их до тех пор, пока те не забирали детей. Женщины думали, что дезинфекция повредит детям, поэтому они их и прятали.

От необычной обстановки маленькие дети при раздевании часто плакали, но матери или кто-нибудь из зондеркоманды успокаивали их, и дети, играя, с игрушками в руках и поддразнивая друг друга, шли в камеру. Я видел также, что женщины, которые знали или догадывались о том, что их ждёт, пытались преодолеть выражение смертельного ужаса в своих глазах и шутили со своими детьми, успокаивали их. Как-то раз одна женщина приблизилась ко мне во время шествия в камеру и прошептала мне, показывая на четверых детей, которые послушно держались за руки, поддерживая самого маленького, чтобы он не споткнулся на неровной земле: «Как же вы сможете убить этих прекрасных, милых детей? Неужели у вас нет сердца?»

12 СЕНТЯБРЯ, КОРПУС В, БЛОК 11.

Я сам наблюдал за убийством, надев противогаз. Смерть в переполненных камерах наступала тотчас же после вбрасывания. Краткий, сдавленный крик — и всё кончалось. Первое удушение людей газом не сразу дошло до моего сознания, возможно, я был слишком сильно впечатлён всем процессом. Более глубокий след в моей памяти оставило происшедшее вскоре после этого удушение 900 русских в старом крематории, поскольку использование блока 11 требовало соблюдения слишком многих условий. Во время разгрузки были просто сделаны многочисленные дыры в земле и в бетонной крыше морга. Русские должны были раздеться в прихожей, а затем они совершенно спокойно шли в морг, ведь им сказали, что у них будут уничтожить вшей. В морге поместился как раз весь транспорт.

Двери закрыли, и газ был всыпан через отверстия. Как долго продолжалось убийство, я не знаю. Но долгое время ещё был слышен шум. При вбрасывании некоторые крикнули: «Газ», раздался громкий рёв, а в обе двери изнутри стали ломиться. Но они выдержали натиск. (Последняя строка замарана).

19 СЕНТЯБРЯ, КОРПУС В, БЛОК 8, KGL [KRIEGSGEFANGENENLAGER].

Вытаскивая из камеры труп, один из заключённых зондеркоманды вдруг замер как заколдованный, но затем тут же вместе с товарищем потащил труп дальше. Я спросил капо, что случилось. Тот узнал, что насторожившийся еврей увидел среди трупов свою жену. Я наблюдал за ним ещё некоторое время, но ничего необычного в нём не заметил. Он продолжал таскать трупы, как и прежде. Невозм...(далее две строки вымараны).

(ЗАПИСЬ БЕЗ ДАТЫ)

Приказ о ликвидации массовых захоронений. Крематории (Биркенау-2) будут закончены лишь к марту. Трупы извлекаются и сжигаются на штабелях дров, по 2000 трупов. Трупы поливают отработанным ГСМ. Горят плохо. Прислали две цистерны древесного спирта. Начали сжигать в ямах. Копоть и смрад, весь снег в радиусе пяти километров серого цвета.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИГРА

1

От платья пахло сырой плесенью и ещё чем-то приторным с чесночным привкусом. Платье, летнее, в мелкий горошек, было велико, Ильза собрала материю на талии и сколола сзади английской булавкой. По правилам игры, Ильза говорила строгим голосом, будто сердилась. Отец называл её Грета или Гретхен, он говорил ей «йа, майне шатце, йа, майне зюссе».

У каждой игры должны быть правила. Главным правилом этой игры оказалось, что игра не кончается никогда. Игра началась через неделю после похорон матери. Ильзе исполнилось двенадцать в марте, мать умерла в середине апреля.

К тому времени Ильза уже поняла, что плохие оценки особого значения не имеют и что школа — это такая игра, где главным правилом является исправление ошибок: ты всегда можешь исправить плохую отметку на хорошую. Чуть ли не волшебство — словно ты возвращаешься в прошлое и стираешь из реальности свой «неуд». Раз — и нету. Чистое колдовство!

Учителя уверяли, что школа готовит девочек к жизни. Да, Ильза усвоила главную науку: жизнь делит людей на тех, кто подчиняется и тех, кто им приказывает. На чернь и господ. На рядовых и генералов. И никакая зубрёжка не переведёт тебя в высшую касту. В лучшем случае ты можешь выбиться в первые среди последних.

Ильза рано научилась читать. Читала сказки. Сказки братьев Гримм и Андерсена, Гауффа и Шарля Перро, «Тысячу и одну ночь», русские сказки, польские, немецкие.

Охотники вспороли брюхо волку, вытащили оттуда вполне живую бабушку, а после набили брюхо камнями, зашили и отпустили зверя в лес.

Сестра Золушки обрубилась себе пальцы на ноге, чтобы впихнуть ногу в туфельку. И всё оказалось зря.

Гигантская птица Рух жила на острове, где охраняла алмазы размером с кулак, а когда в гнезде вылупились птенцы, она кормила их матросами с корабля Синдбада.

Принцесса прыгнула в колодец, а вынырнула в раю.

Чудесные превращения — страшные и восхитительные, казалось, никак не связаны с реальностью: дворец строился за ночь, пастух женился на княжне, ведьма обращала детей в камень, Алладин парил на ковре-самолёте над минаретами ночного Магриба, разрубленного на куски рыцаря нужно было лишь побрызгать живой водой, и он тут же вскакивал в седло и бросался в погоню за колдуном. Любое страстное желание непременно исполнялось — причём моментально. Только вот сказочная реальность оказывалась невероятно хрупка: пять минут опоздания, и карета снова становится тыквой, замки рассыпаются в прах, красавица обращается в жабу.

В сказке «Чёрт и дети» дьявол показывал детям, как просто слепить из глины человека и оживить его. А после заставить исполнять свои прихоти — прыгать, кувыряться, ползать и вставать на колени. Под конец чёрт взял камень и расколотил глиняного человека. От него остались лишь черепки, как от садового горшка — бесполезные оскол-

ки. Это всё, что останется от каждого из вас — мёртвый мусор. Дети заплакали, а чёрт успокоил их: но зато пока живы, у вас есть воля.

Что такое воля? — спросили заплаканные дети.

Жизнь — дорога с множеством развилок, и на каждой из них вы должны решить, на какую свернуть: выбор важен, он может сделать вас счастливыми и богатыми, а может ввергнуть в горе и нищету. Ваш выбор может убить вас.

Так сказал дьявол детям.

P. S. Роман готовится к печати в издательстве «ЛитСвет», Канада

ОБ АВТОРЕ

Валерий Бочков — известный русский и американский писатель и художник-график.

Автор более десяти романов и сборника рассказов, завоевавших большую читательскую аудиторию и принёсших автору заслуженную популярность. Лауреат «Русской премии» и «Премии имени Эрнеста Хемингуэя».

Его писательский стиль характеризует гармоничное сочетание философской глубины и психологизма с дерзкой остросюжетностью, динамикой и ярко-фактурными образами. Но главное свойство творчества Валерия Бочкова — абсолютная и вдохновляющая свобода, поднимающая читателя над условностями и страхами.

Валерий Бочков — постоянный автор нашего журнала.

Ирина БАСОВА-ЗАБОРОВА
РИМСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Апрель 1995 года

*Здесь изнемог высокий духа взлёт;
Но страсть и волю мне уже стремилла,
Как если колесу дан ровный ход,
Любовь, что движет солнце и светила.*

Данте. Божественная комедия

1. ПОСВЯЩЕНИЕ

Concursus Dei

Этот цикл я посвящаю Антонио,
который обвенчал нас
под синим куполом неба
в тысяча девятьсот девяносто третьем году.
При этом присутствовали две инфанты.

Две инфанты, которые не понимали
важности происходящего,
и смеялись, и шалили, и грызли сахар,
и радовались вниманию,
которое мы им оказывали.

Нас было четверо. И Антонио, этот фан дискотек,
был пятым.

Я попробую описать его — для тех,
кто никогда не встречал Купидона.

Молодой, не более двадцати пяти,
Обнажённый по пояс,
в сандалиях на босу ногу.
В Риме, в одном из музеев,
уже не помню каком,
мне попалось его изваяние:
короткие курчавые волосы,
гордо посаженная голова,
торс атлета.
Свидетельствую: это была
точная копия оригинала.

Только *тот* был смешлив, подвижен,
покрыт тёплой бронзой загара.
И ты, сияя от счастья,
разговаривал с ним
на его родном языке.
Итальянец был разговорчив.

На прощание он попросил,
чтобы русская женщина
написала его имя по-русски,
и бережно спрятал бумажку,
на которой печатными буквами
я написала — Антон.

День был зноен,
но с моря тянуло прохладой...

2

Надо было родиться на другом конце Земли,
медленно взрослеть,
долго учиться,
выйти замуж,
вырастить детей,
узнать, что земной шар
не так уж велик,
быть в ладу с собою,
признаться себе же,
что любви не было
и уже не будет,
смириться с этим.

И встретить тебя.

Ничего особенного не было в этой встрече,
кроме смутного ощущения,
что твоё лицо мне знакомо
по какой-то другой жизни,
которая или уже была,
или ещё будет.

И пришла мысль о спасении.

3

Рим не похож ни какие другие города —
а я их видела великое множество:
Санкт-Петербург, Москва,
Токио, Чикаго, Мадрид
(не говоря уже о Париже).

И это далеко не полный список.

В чём же его отличие
от всех других мест на Земле?

В Риме Божья Благодать
так легко струится с неба,
что начинаешь верить:
Царство небесное
расположено прямо над ним.

Не потому ли здесь
некоторые из моих догадок
получили своё подтверждение
свыше...

4. РИМСКИЕ ЗАРИСОВКИ

■ ■ ■

Я проснулась от шума дождя
и подошла к окну,
чтобы увидеть Рим
мокрым от слёз.

И вздрогнула от удара грома:
слева над Villa Borghese
гневно сверкнула молния.

■ ■ ■

Я повернулась спиной к Колизею
лишь потому,
что напротив, через дорогу,
на развалинах Domus Aurea
так тревожно алеют маки...



В том месте, где Via della Scrofa
уступает место маленькой Piazza Cardelli
мне показалось, что я заблудилась.
Это было на второй день
Моего пребывания в Риме.
Напрасные страхи в городе,
где царствует Колизей.

5. SUB SPECIE AETERNI

Вот и ещё одну жизнь мы прожили вместе.
Она имеет своё начало —
утро восемнадцатого апреля,
когда ночной экспресс из Парижа
подошёл к перрону Термини.

Она окончится на том же вокзале,
но это случится ещё не скоро —
только через неделю.
Впереди — целая вечность.

6

Жизнь моя праздна.
И я благодарна
этой тишине,
в которой так отчётливо
звучат твои вопросы,
на которые я ищу ответа.

Взрослая игра взрослых.

Кто это — я? Залетевшая сюда в поднебесье
под чужую крышу временной гостьей?
Впрочем, что есть моего на этой планете?
Разве что купол неба,
в который я попалась...

7

Filippo, когда я присваиваю чужие слова,
я беру их в кавычки,
чтобы не выглядеть воришкой.

Filippo, я присвоила жизнь другого человека.
Единственное, что я могу сделать,
это нести её так осторожно,
чтобы он ни о чём не догадался
и не понял, что украден...

8

Ты занимаешь собой всё пространство,
доступное моему воображению.
А ему доступно многое.
Даже такое:
Мы живём вместе,
и я глажу твои рубашки.
Или тороплюсь приготовить завтрак
перед твоим уходом на работу.

Этот город мне дан,
чтобы торжественно и торжествуя
пронести атласную тяжесть времени
по улицам,
которые приветствуют меня
запахом цветущей глицинии.

Таким мне запомнится Рим в апреле...

ОБ АВТОРЕ

Ирина Басова родилась в Ленинграде, в писательском Доме на канале Грибоедова, оттуда в 1937 году был уведён в подвалы НКВД её отец, поэт Борис Корнилов.

После гибели отца Ирина была удочерена Яковом Басовым, вторым мужем мамы, Люси Борнштейн, который спас мать и дочь от неминуемой гибели. И чью фамилию Ирина сохранила по сей день.

Подробности этой драмы опубликованы в книге «Борис Корнилов. „Я буду жить до старости, до славы...“, изданной в 2012 году в С.-Петербурге издательством „Азбука“, и в которой Ирина присутствует как соавтор.

Ирина Басова выросла в Крыму. Окончила биологический факультет Московского университета. В 1980 г. году вместе с мужем, художником Борисом Заборовым и детьми эмигрировала во Францию. Живёт в Париже. Десять лет работала редактором в газете «Русская мысль», состояла членом её редколлегии.

В разные годы её стихи печатались в журналах «Нева», «Неман», «Грани», в альманахе «День поэзии». Автор поэтических сборников, вышедших в Санкт-Петербурге в 1994, 2003 и в 2010 годах, и двуязычного сборника «Римский дивертисмент», изданного в Вероне (Италия).

Публикуется во французской и русской периодической печати. Многие годы — член редсовета журнала «Времена».

Амин АЛАЕВ

В АДУ НЕ СМОТРЯТ НА ЧАСЫ...

1

Эскалатор был невероятно длинным.

Вадим ехал вверх уже несколько минут, но конца не было видно. «Как его вообще построили?», мелькнуло у него в голове в тот момент, когда он посмотрел вниз и осознал, что проехал, наверное, уже минимум шесть этажей. Точно сказать было нельзя, поскольку эскалатор этот находился *не* внутри помещения — вокруг простиралась унылая однообразная степь с редкими пригорками и ещё более редкой растительностью — и понять по окнам или, собственно, этажам, на какую высоту Вадим уже въехал, было нельзя. Эскалатор, казалось, начинался в самом низу, прямо у куцей группы по-зимнему голых деревьев с посечёнными осколками ветвями, там, где всё ещё дымилась большая воронка от взрыва. И уходил он куда-то в серое, затянутое февральскими тучами небо.

Было очень тихо, но в ушах не звенело и они не были заложены. Вадим окинул себя взглядом и понял, что одна нога была без ботинка и даже без носка. Он посмотрел на ладонь правой руки и увидел на ней сквозное отверстие с неровным окровавленным периметром, где рваными лохмотьями висели разорванные мышцы. Глядя на него, он заметил, что ландшафт вокруг сквозь отверстие двигался вместе с эскалатором. Приложив отверстие к глазу, он посмотрел сквозь него как в подзорную трубу и нахмурился. Рана резко пахла гремучей смесью крови, пороха и дыма, но вот боль, вполне ожидаемая от такого жуткого увечья, почему-то совершенно не чувствовалась. Это было странно. Станным было не только это, но и то, что Санька и Вована нигде не было видно. «Куда они делись?», мысленно спросил он сам себя и, убрав от глаза продырявленную ладонь, обернулся и стал всматри-

ваться вниз. Внизу также никого не было, и на этом странном эскалаторе он ехал в полном одиночестве. Кроме этого, всё вокруг было невероятно тихим. Даже сам эскалатор был почти полностью бесшумным. Вадим набрал воздуха в лёгкие и громко крикнул:

— Э-эй! Где все?

Крик получился, но ответом на него была всё та же странная тишина. Эха тоже не было. Крик полностью растворился в сизой, пахнущей дымом мгле. Как ложка мёда в горячем чае, о котором Вадим мечтал незадолго перед обстрелом.

2

Вадим понимал, что езда на этом эскалаторе, тишина вокруг и полное отсутствие боли в теле *не было* нормальным, но в то же время всё происходящее казалось ему совершенно естественным. Он не мог объяснить почему. Просто где-то глубоко внутри — «на уровне драйверов», как сказал бы их компьютерщик, настраивающий дроны — всё ощущалось инстинктивно закономерным и даже правильным. Он проехал густой туман из низко висящих грязно-серых облаков, и теперь небо было ярко-голубым, а сверкающее солнце заливало всё вокруг и заставляло жмуриться. Но ни холода вначале, ни жары теперь он не чувствовал. Приложив ладонь к бровям как Илья Муромец с картины, что он видел как-то раз школьником, Вадим всмотрелся в даль и увидел, что масса других эскалаторов, подобных тому, на котором он сейчас ехал, двигалась параллельно ему и постепенно они становились всё ближе друг к другу. На том, что был справа от него, он увидел смуглого парня в военной форме, один глаз которого выглядел так, будто бы вокруг него был огромный чёрный синяк. Слева же ехала женщина в чёрном платке с малышом на руках. Ребёнок, похоже, спал.

Он едва не споткнулся, продолжая по инерции двигаться вперёд. Удержавшись на ногах, Вадим резко повернулся и увидел, что эскалатор довёз его до странного вестибюля под открытым небом, похожего на гостиничный. Соскочив с него, он оказался перед обшарпанным письменным столом, за которым восседал мужчина с бородой и усами, в полинявшем тюрбане и просторной белой рубахе старомодного покроя. Он пялился в большой монитор, водружённый по центру стола, подслеповато щурясь при этом. Перед столом стоял выдавший виды табурет. За столом была дверь с цифровым табло, которое было выключено. Смуглый парень в форме и женщина с ребёнком сошли со своих

эскалаторов и так же, как и Вадим, озадаченно озирались по сторонам. Мужчина в тюрбане оторвал взгляд от монитора и осмотрел стоящих перед ним людей, после чего стал остервенело стучать по клавиатуре. Вадим замер в ожидании, глядя на него. Женщина с ребёнком и смуглый парень тоже, казалось, остолбенели и так же, как и он, совершенно не понимали — *где они и почему*.

Мужчина перевёл взгляд на женщину и жестом показал ей, чтобы та приблизилась к нему. Табло на двери включилось и ярко засверкало номером «996». Женщина робко подошла к столу и начала говорить что-то на неизвестном Вадиму наречии, но мужчина в тюрбане лишь с доброй улыбкой указал ей на дверь. Женщина нерешительно подошла к ней и, постояв перед ней несколько мгновений, обернулась и вопросительно посмотрела сначала на Вадима и смуглого парня, а потом на мужчину в тюрбане. Тот, не переставая улыбаться, вновь показал ей жестами, чтобы та вошла. Поколебавшись ещё немного, женщина всё же открыла дверь и вошла. Дверь быстро закрылась за нею. «На пружине наверное», подумал Вадим. Мужик в тюрбане вновь стал остервенело стучать по клавиатуре, после чего на двери поменялся номер, теперь это была цифра «891». Он, уже без улыбки, показал смуглому парню, чтобы тот вошёл в дверь. Тот, не колеблясь, подошёл к ней и решительно открыл. Также не колеблясь, он прошёл через неё и дверь, как и до этого, сама захлопнулась. «По-военному», подумал Вадим, понимая, что никак не может понять, что за форма у этого парня.

Вадим был уверен, что и ему теперь нужно будет увидеть какой-то непонятный номер и войти в эту дверь, но табло вдруг погасло, а мужик вдруг указал ему на табурет перед столом. Вадим нахмурился и осторожно сел на табурет, выжидательно и с опаской глядя на этого странного бородача, не произнёсшего ещё ни слова. Табурет был облезлый, гладкий и холодный. Как стулья в том донецком ПТУ, где их размещали незадолго до того, как бросить в предместья Авдеевки.

3

Бородач поправил тюрбан на голове и спросил Вадима, не отрывая глаз от монитора.

— *Сен тюркче билийор мусун?**

* Ты турецкий знаешь? (*тур.*)

Вадим озадаченно посмотрел на него и нахмурился. Этого языка он не только не знал, но и вообще никогда, похоже, не слышал в жизни. Бородач повернулся к нему и сказал уже на русском:

— Я прошу прощения, на всякий случай спросил. На родном языке всегда легче общаться. Селим, — протянул он руку с узловатыми пальцами и неухоженными ногтями Вадиму.

Вадим привстал с табурета и ошарашенно пожал её. Ладонь этого незнакомца была мозолистой, сухой и шершавой, как у человека, много работающего руками. Бородач откинулся на кресле, в котором сидел, вздохнул и положил обе ноги на стол с другой стороны от той, где находился Вадим. «Как американец!», подумал Вадим, глядя на его странную старомодную обувь и напряжённо стараясь понять, что же с ним всё-таки происходит. Нервно потирая ладони, он вдруг почувствовал, как указательный палец левой руки вдруг попал в то сквозное отверстие в центре правой ладони. Он быстро вытащил палец и увидел, что тот покраснел от крови.

— Не волнуйся об этом, — сказал Селим и показал ему свою правую руку, на которой не было двух пальцев, мизинца и безымянного, — всё, что можно потерять по части твоего тела и, говоря более широко, здоровья, уже случилось. Ухудшений не будет.

Вадим взглянул на его руку и уставился на Селима, вызывающе скрестив руки на груди.

— Где я? Вы кто?

Селим усмехнулся.

— Если бы ты знал, как я устал от этих двух вопросов! У меня даже была идея сделать короткое видео об этом, чтобы все вновь прибывшие сначала смотрели его, а уж потом разговаривали со мною. Но начальство у нас очень консервативное и не позволяет. Вот и приходится слышать одно и то же раз за разом.

Он усмехнулся, глубоко и как-то утомлённо вздохнул и уставился в монитор. Кликнув пару раз мышью, Селим, казалось, прочитал что-то и вновь посмотрел на Вадима.

— Вадим Анатольевич Башканов. 1996-го года рождения. Всю жизнь провёл в Кемеровской области. В контексте частичной мобилизации две тысячи двадцать второго года призван в армию как резервист. Последнее звание — рядовой!

Селим вдруг гомерически рассмеялся и поправил сползший на лоб от смеха тюрбан. «Что смешного?», непонимающе нахмурился Вадим, при этом совершенно не удивляясь, что этот странный турок с отсут-

ствующими пальцами, словно товарищ майор из Новокузнецкого военкомата, имеет доступ к его биографии. Селим успокоился, погладил бороду и усы и уже примирительно добавил:

— Я прошу прощения... Просто, согласно твоей фамилии, ты должен быть президентом, а ты рядовой.

Он опять было захохотал, но быстро взял себя в руки.

— *Башкан* это президент по-турецки, — сказал Селим, уже не улыбаясь и вновь впился взглядом в дисплей монитора.

Вадим опять посмотрел на простреленную руку и снова отметил, что никакой боли он не чувствует. В мозгу сверкнула безумная мысль — а что, если он *уже мёртв*? Последнее, что он помнил, это жуткий свист снаряда, который потом разорвался у той куцей рощицы в степи, где они пытались укрыться от висевшего над ними украинского дрона. И теперь вот этот странный мужик в тюрбане и без пальцев на одной руке, который, казалось, знал о нём куда больше, чем ему следовало, сидит перед дверью со странным табло на ней.

— Так я уже ... как бы...этого... того, да? — робко спросил Вадим Селима и поёжился на холодном табурете.

Селим, стуча по клавиатуре, ответил ему как бы между прочим:

— Ну конечно «того». Сюда в другой кондиции не попадают.

Вадим понимающе кивнул и вспомнил про парня в военной форме и женщине с ребёнком, которые сразу ушли за дверь с включённым номером. Что такого случилось с ними, интересно, что они попали сюда же? И почему он остался на этом табурете, а не прошёл туда же, за дверь? И что там, вообще, за этой загадочной дверью? Вадим перевёл взгляд на дверь и внимательно осмотрел её. Его набожная мать как-то раз рассказывала, что ворота в рай, согласно Писанию, украшены жемчугом, а праведников у этих ворот встречает сам апостол Пётр. Но эта дверь была совершенно обыкновенной, если не сказать кондовой, и никаких украшений на ней, если, конечно же, не считать странного табло, не наблюдалось. Да и этот тип Селим не был похож на апостола Петра или какого-либо другого святого. Даже если Пётр маскировался таким образом под другим именем и носил нелепую для христианского апостола одежду. Вадим вздохнул и закусил нижнюю губу. Они никогда не считал себя праведником, но сейчас осознание того, что место, где он находится, это совсем не вестибюль того рая, о котором рассказывала мать, становилось невыносимым. Ведь если это не рай, то, наверное, это ад, точнее, его предбанник?! Или бывает что-то ещё? Вадим никогда не читал Библию и понятия

не имел о том, как описывали в ней загробную жизнь. Однако ощущение того, что очень скоро с ним может случиться что-то ужасное, нарастало как девятый вал.

— А где Санёк и Вован? — осторожно спросил он Селима.

— Кто? — спросил Селим, не отрываясь от печатания.

— Ну... Александр и Владимир...

Селим перестал стучать по клавиатуре и посмотрел на Вадима.

— Владимир? Какой Владимир? Мономах, Высоцкий, Путин?

Тут Вадим совсем растерялся и, казалось, потерял дар речи. Селим тремя уцелевшими пальцами поправил тюрбан на голове и продолжил, слегка усмехнувшись:

— Люди такого калибра ко мне сюда не попадают. У них другой портал. Тем более, про Путина я даже не уверен, где он. Один ваш московский профессор утверждает, что он уже давно покинул юдоль, так сказать, скорби;* другие говорят, что нет. Тут я не берусь судить. Кстати, когда я говорю «такого калибра» это не имеет ничего общего с какими-то привилегиями тут у нас. Здесь — как в море — все равны. Джозефа Конрада читал?

На время повисла пауза, в течение которой Вадим заметил, что у него дрожат ладони, хотя холода он совершенно не испытывал. Селим вернулся к монитору, продолжая что-то печатать с такой скоростью, что было невозможно поверить, что у него не хватало двух пальцев. Выключенное табло над дверью по-прежнему зияло мрачным чёрным прямоугольником.

— Ну, я имел в виду сослуживцев, — наконец сказал Вадим, начиная потихоньку осознать свою текущую ситуацию, хотя мозг отказывался в неё верить, — Александра Горбушкина и Владимира Добрецова.

Произнеся эти имена, Вадим задумался. Имя Джозефа Конрада он никогда не слышал. Кто такой Высоцкий, он смутно представлял — какая-то звезда эстрады из далёкого прошлого. Фамилия Мономах звучала чудно и как-то совсем не сочеталась на его взгляд с именем Владимир. Селим, казалось, завершил печатать что-то важное и со вздохом облегчения отодвинул от себя клавиатуру. Развалившись в кресле и скрестив пальцы на тюрбане, он с добродушной и довольной улыбкой теперь смотрел на Вадима так, будто бы он, Селим, только что выиграл в лотерею.

* Имеются в виду не всеми разделяемые воззрения (на тот момент) российского политолога Валерия Соловья.

— У первого позывной Злодей, а у второго Упырь, этих? Пардон, я не сразу тебя понял. Ты не волнуйся, с ними всё в порядке. В относительном, разумеется. У Горбушкина контузия и шанс оказаться в госпитале на несколько недель, после чего, я не исключаю, он откажется возвращаться на фронт. Добрецов вообще не пострадал, если не считать эмоционального срыва, временного паралича периферийной нервной системы и множества царапин на лице. Так что всё в относительном порядке. Ты оказался единственной двухсотой, как у вас говорят, жертвой обстрела. Не уберёгся. Хотя в том месте шансов у тебя, если честно, почти не было. Пуля дура, как говорил ваш полководец Суворов. Точнее, миномётный снаряд. Даже с тем бронезилетом, что с тебя уже сняли и отдали только что мобилизованному бедолаге, тоже, кстати, из Кемеровской области. Ты, я так полагаю, пребываешь в состоянии полного непонимания и это нормально. Тут сначала у всех так. Но вот чего я не могу понять совершенно, кому в голову пришла «гениальная» идея дать тебе позывной Жирный?

Селим стал стучать тремя пальцами правой руки по поверхности стола, выжидательно глядя на Вадима пронзительно блестящими чёрными глазами. Тот молчал, ожидая продолжения, понимая, что его худосочная фактура плохо совмещалась с назначенным им позывным, который, к тому же, быстро перековался в не особо приятную кличку. Но потом решил, что молчать невежливо, особенно в данной ситуации, когда этот турок за компьютером обладал просто невероятными познаниями относительно его персоны.

— Вы прямо как товарищ майор, всё знаете, — кротко сказал Вадим наконец, по-детски засунув ладони под бёдра на табурете и теперь даже не стараясь понять, почему Селим был уверен, что бронезилет с него «уже сняли», в то время как он *всё ещё был* на нём.

— Ну, прямо скажем, далеко не всё. И, если честно, чисто по долгу службы. Мне это знание совершенно ни к чему, в отличие от твоего товарища майора. В гробу я видал это знание, пардон за парадоксальный в наших обстоятельствах каламбур.

Селим сардонически расхохотался собственной шутке. Вадиму было совсем не смешно, и он не знал, как ему реагировать на эту эскападу. Растянув губы в натужной улыбке, он так же кротко спросил:

— Так это *всё*, смерть? А что же дальше?

Селим убрал ноги со стола и вдруг стал очень серьёзным.

— Про что дальше, мы ещё поговорим, но вначале давай о смерти. Что ты думаешь о ней?

4

Вадим ничего не знал о смерти.

Он часто думал о ней в последние недели, но лишь в контексте постоянного страха и хронической усталости, и особенно после того, как их подразделение отправили на передок у предместий Авдеевки. Смерть всегда ассоциировалась у него с безумной болью; он несколько раз видел, в каких мучениях умирали попавшие под обстрел и пули сослуживцы, и сейчас был в чём-то даже рад, что его личный уход из жизни оказался на удивление безболезненным. Но сама смерть, как явление и феномен, а тем более, что может быть *после* неё, не интересовали Вадима, поскольку вся его энергия была направлена на выживание в крошечном аду у Авдеевки. Где Вадим смог протянуть, как оказалось, всего три недели.

Единственный вопрос, связанный со смертью, который он часто задавал матери, и только в детстве, был связан с отцом, которого Вадим не помнил. Мать никогда не говорила об этом. Тётя Лена, мамина сестра, как-то раз вскользь обмолвилась, что отец погиб в шахте от взрыва метана, где трудился в забое с десятком других бедолаг — штука печально нередкая для Новокузнецка и его окрестностей. Но дядя Сёма, брат отца, когда выпивал, бывало, вспоминал о какой-то драке, в которой отец «смог постоять за себя», но «силы были неравны». Это сбивало с толку маленького Вадика, и он мучил расспросами мать, неутомимо хранящую молчание по этому вопросу. Однажды он так достал её, что она, будучи в состоянии стресса, случайно разбила тарелку и, покраснев, резко ответила ему, переходя на крик, что есть секреты, которые она не раскроет никому, даже ему, своему ребёнку, *«кроме, быть может, Иисуса Христа после смерти, да и то не наверняка»*. После этого эпизода Вадим перестал терзать мать вопросами об отце и смирился с тем, что обстоятельства его смерти останутся для него тайной навсегда. Мать, слава богу, была жива и здорова, когда в позапрошлом сентябре его призвали в армию «в рамках специальной военной операции на Украине», как, прокашлявшись, подчёркнуто торжественно объявил им товарищ майор в военкомате. Последние три недели же ярко продемонстрировали Вадиму, что специальная военная операция была не просто нашпигована смертью — она была ею пропитана как новогодняя селёдка под шубой майонезом — и однажды, в минуты редкого затишья среди почти что постоянной канонады, ему пришло в голову,

что если её, смерти, так много на специальной военной операции, то что можно было ожидать от полноценной войны, которой, предположительно, пока вообще даже не было?

— Я ничего о ней не знаю, — сказал он Селиму и закусил губу.

Вадим чувствовал себя виноватым, словно на сдаче невыученного экзамена в автодорожном техникуме, который не без приключений закончил несколько лет назад. Селим понимающе кивнул и важно сказал, словно преподаватель на лекции:

— Смерть, во многих отношениях, штука невероятно полезная для человечества. Парадокс, казалось бы, но это факт. Почему, допустим, эпидемии страшных болезней Средневековья типа бубонной чумы, перестали выкашивать население стран в Евразии задолго до появления вакцин и даже до экспериментов Луи Пастера? Да потому, что в живых оставались и продолжали давать потомство лишь те, у кого была генетическая склонность к сопротивлению этим болезням! Благодаря смерти у народа появился своего рода стадный иммунитет. Англия тогда страдала особенно сильно и, по некоторым оценкам, в один из таких эпизодов она потеряла до двух третей населения. Но те, кто выжил, не только передали свои устойчивые к болезни гены будущим поколениям, но и положили начало таким явлениям как парламентаризм и капитализм в его современном понимании, что, в свою очередь, постепенно привело к невероятному материальному процветанию той же Англии и её бывших колоний типа Америки. И дело даже не в прогрессе как таковом. А просто при наличии малочисленного крестьянства переход от феодализма к капитализму оказался на удивление естественным. И всё благодаря смерти.

Вадим нахмурился, изо всех сил стараясь понять причинно-следственную связь в тираде Селима. Но она ускользала от него, словно головастик из детских ручонки в летнем пруду. «Что-то пургу несёт этот турок... Какой ещё парламентаризм?», подумал Вадим, но не рискнул возражать. Он вдруг вспомнил, что дядя Сёма любил сигареты «Парламент», хотя, ввиду их дороговизны, почти всегда курил намного более дешёвые. Селим, казалось, понимал его сконфуженность и продолжил чуть менее пафосно:

— Ну, да не бери в голову, это долгий разговор... Если всё пойдёт, как я планирую, лет через сто пятьдесят-двести ты будешь разбираться в таких нюансах лучше меня. Однако, как мы знаем, сейчас очень много сил и ресурсов направлено на борьбу со смертью как с биологической неизбежностью. Один австралийский исследователь вообще

полагает, что процесс старения нужно считать болезнью и относится к нему как к простуде, которую просто надо вылечить.* Уж не знаю, насколько это разумно... Если смерть остановить или даже отложить таким образом, ты представляешь, сколько пожилых людей будет на планете и сколько народу вообще? В целом, пожилые граждане умудрены жизненным и всяким другим опытом, с этим не поспоришь, но ожидать от них какой-то энергии, в любом смысле, это, мне кажется, несколько самонадеянно. Разного рода открытия и технологические прорывы, всё то, что полезно для человечества в целом, делаются людьми молодыми. Пожилые, как правило, лишь только финансируют эти процессы. Возьми вот Билла Гейтса, например. Как он со своей операционной системой в молодости революционизировал мир компьютеров! А что сейчас? Сейчас он лишь финансирует стартапы, а сам уже давно ничего не изобретает. Ты ведь знаешь, кто такой Билл Гейтс?

Вадим молча смотрел на Селима, не рискуя произнести ни слова. Селим вздохнул и уже совсем примирительно добавил, словно старший брат, напутствующий младшего:

- Ничего, узнаешь. Если примешь моё предложение.
- Какое такое предложение? — насторожился Вадим.

Селим улыбнулся и ответил:

— Мы дойдём до этого. Давай закончим со смертью сначала. Как-то жутко звучит, да? «Закончим со смертью» ... Но всё движется именно в эту сторону. Саудиты, например, финансируют исследования в области долголетия, стволовые клетки, сиртуины и всё такое. Деньги немислимые в этой сфере вращаются. Мне кажется, они, саудиты, себе уже три века намерили. Мне интересно, если дойдёт до этого, а на теоретическом уровне всё звучит вполне правдоподобно, что будет со всякими библейскими историями? Как их будут трактовать богословы и проповедники? В «Евангелии от Иоанна», помнишь, есть сюжет с воскрешением Лазаря. И что делать, если жизнь вдруг окажется практически вечной ввиду технологического прогресса в сфере долголетия? Как относиться к этому эпизоду из Писания? Можно ли будет продолжать считать его полноценным чудом, если смерть столь легко обвести вокруг пальца? Лично мне кажется, что тут такой схизмой пахнет, что все инновации Гундяева в последнее время покажутся детским лепетом на лужайке.

* Имеется в виду известный австралийский учёный-генетик Дэвид Синклер, работающий в Гарварде.

«Так, теперь Гундяев какой-то», мрачно подумал Вадим. Это тип в тюрбане жонглировал неизвестными ему именами словно трюкач в цирке. Селим же будто бы прочитал мысли Вадима и спешно добавил:

— Гундяев — это патриарх всея Руси Кирилл. По паспорту, имеется в виду.

Вадим почувствовал себя неловко. С учётом религиозности матери в последние годы, он, наверное, должен был знать эту фамилию человека, чьи выступления мать достаточно часто смотрела по телевизору. Селим после краткосрочной паузы продолжил:

— Но это та смерть, что *не* является делом рук человеческих. Тогда она двигатель прогресса однозначно. А когда она планируется и осуществляется людьми? Можно, в принципе, подебатировать о том, что в некоторых отношениях тоже. Благодаря гонке вооружений прогресс в технологиях вполне серьёзный. Интернет, допустим, создавался как чисто военная разработка, а сейчас вон посмотри! И ты, и Злодей с Упырём постоянно в ВатсАпе зависали, когда время было. Кстати, продукт западный, пока не импортозамещённый, собственность товарища Цукерберга.* Сейчас, правда, только Упырь будет продолжать строчить меседжи родне в Барабинск, да и то не сразу, а когда рукотряс от пережитого утихомирится. Но если говорить не о ходе истории, а о смерти и её причинении на индивидуальном уровне, то тут песня другая.

«Всё знает!» уже с ужасом мелькнуло в голове у Вадима, даже не обратившего теперь внимания на новое имя, всплывшее в разговоре. Упырь, то есть Вован Добрецов действительно был родом из сибирского Барабинска и действительно часто текстовал туда через ВатсАп матери и невесте, как и сам Вадим своей матери и Любке. Селим вдруг склонил голову к столу и стал озираться так, будто бы боялся, что его кто-то услышит, и Вадим с лёгким удовлетворением почувствовал, что похоже, тот тоже чего-то всерьёз опасался. Снизив голос почти до шёпота, турок сказал ему:

— Тут начальство наше к этому вопросу на индивидуальном уровне очень серьёзно и требовательно. Ты смотрел фильм «Донни Браско»?

Вадим отрицательно покачал головой.

— Ну это тоже понятно. Во-первых, фильм старый. Во-вторых, сейчас у вас всё импортозамещается, включая, надо полагать, и Голливуд.

* Марк Цукерберг — владелец компании МЕТА, включающей в себя (в том числе) социальную сеть Фейсбук и мессенджер ВатсАп.

Ну, так говорят по крайней мере, тебе лучше знать... Так вот. Там протагонист, итальянский мафиозо из Нью-Йорка, объясняет молодому парню, чем мафия отличается от армии. В мафии, рассказывает он, люди, лишаящие друг друга жизни, почти всегда знакомы, а часто они даже друзья. «Заходишь живым, а выносят тебя мёртвым. И делает это твой лучший друг», говорит он ошарашенному приятелю, только встающему на скользкую дорожку организованной преступности. И после этого добавляет, что в армии-то, на войне, всё по-другому — там «человек, которого ты *не* знаешь, посылает тебя грохнуть другого человека, которого ты тоже *не* знаешь». Понимаешь?

Вадим задумался. Это действительно было правдой. Полковое начальство, пославшее их на передок, рядовых типа его, Вадима, и Вована с Саньком, нигде с ними не пересекалось и никого из них Вадим не только не знал лично, но даже и в глаза не видел. И при этом, разумеется, бойцов украинской армии он не мог знать в принципе, если, конечно же, не считать двух тел погибших при отступлении, которых он видел во время одного из штурмов. Вадим вспомнил этих двух парней. Одному, рослому мужику с косой саженью в плечах, было лет сорок, второй же, худощавый и невысокий, был примерно его возраста. Тот, что постарше, был с пышной русой бородой. Тот, что помоложе, имел неряшливую, тоже русую, щетину. Поразительнее всего было то, что, если бы он увидел этих двух в добром здравии где-нибудь в Ростове-на-Дону, где их держали три месяца до отправки к Авдеевке, он никогда бы не подумал, что они могли быть врагами. Визуальной разницы между этими, сложившими голову на поле брани украинцами, и ими не было вообще никакой. Это тогда, как он вспомнил, сильно его напрягло. А потом ещё Санёк, являвшийся единственным по-настоящему верующим из его ближайшего окружения, вдруг сказал, что и церковь у украинцев такая же, как и в России — православная. «Да и мову ихнюю понять можно», авторитетно добавил он тогда, «на русский очень похожа, только некоторые слова, типа *двадцать*, они чудно произносят».

Селим, казалось, подождал, пока воспоминания пронесутся яркими образами в мозгу Вадима, и потом продолжил:

— Так вот, про начальство наше... В контексте твоего попадания ко мне. Тебе очень повезло.

Вадим исподлобья бросил взгляд на турка. Ему повезло? Пока что никакого особого везения он не чувствовал.

— И как это мне повезло? — спросил он Селима, стараясь скрыть раздражение.

— Попробую объяснить... Понимаешь, когда люди друг другу приносят смерть в контексте военных действий, это не то же самое, когда смерть замышляется в мирное время типа как в случае с мафиозными разборками. В первом случае ты не знаешь, кого собираешься убить. Да и убить не всегда толком получается. Ну и, понятно дело, ты выполняешь приказ командования. Как при штурме Авдеевки, помнишь?

Вадим едва заметно кивнул. Последние три недели у Авдеевки он помнил очень, можно было сказать, чересчур, хорошо.

— Ну так вот. Ты как бы имел возможность кого-то убить ввиду данного тебе, как служащему, приказа. Но по определению ты не мог знать, кто мог стать твоей жертвой. Точно так же, как оператор украинского дрона, что засёк вашу группу и передал данные по вашему месторасположению своему миномётчику — ни он, ни миномётчик понятия не имели, кто эти бойцы с позывными Упырь, Злодей и Жирный. Они и позывных не знали. Они знали только то, что вы им враги на поле боя. И оператор, и миномётчик, кстати, в отличие от тебя, добровольцы и защищают свою землю от вторжения российской армии.

— Какое же это вторжение? — с негодованием возразил Вадим, — Ведь это теперь часть России!

Селим пренебрежительно усмехнулся.

— Если бы к вам в хрущёвку в Новокузнецке ввалился бы какой-то левый человек и объявил бы, что теперь одна из комнат принадлежит ему, как бы ты себя чувствовал? И что, сразу же все бюрократы без вопросов и заминок переписали бы на него все кадастровые записи и реестры тут же? Без лишних разговоров? И во всех бюрократических инстанциях? Думаю, ответ на первый вопрос — плохо, на второй — однозначно нет. Сколько не говори «халва», во рту слаще не станет.

На лице Вадима отразилось непонимание, и Селим тут же пояснил:

— Пардон, я по привычке в тюркских реалиях мыслю порою. Сколько не объявляй чужую землю своей, твоей она не будет.

Вадим вздохнул. Он чувствовал, что в голове его вихрем перемешивается какой-то безумный винегрет от увиденного и теперь вот от этого разговора. Наверное, так чувствуют себя люди, близкие к сумасшествию, подумал он. Повернув к себе ладонь с простреленной дырой посередине, Вадим сосредоточенно посмотрел на неё, стараясь вытолкнуть себя из ментального ступора. Сквозь дыру был виден большой палец на той его ноге, что была без ботинка и носка, но красное мясо лохмотьями по периметру дыры, как и раньше, совершенно не болело и даже не кровоточило.

5

Вдруг послышалось лёгкое пощёлкивание, и табло над дверью вновь загорелось.

Вадим взглянул на табло и с удивлением отметил, что теперь число на нём было круглым и при этом отрицательным — «-100». Переведя взгляд на Селима, он заметил, что теперь тот смотрел не на него, а так, будто бы за спиной Вадима кто-то находился. Тут же дверь открылась, и из неё вышли два существа настолько странных, что Вадим чуть не упал со стула от изумления и шока. Это были монстры прямо из какого-нибудь фантастического фильма про инопланетную цивилизацию, но при этом одеты они были в человеческую одежду («кафтаны какие-то», подумал Вадим с нарастающим ужасом глядя на них) и в руках они держали совершенно нелепые средневековые алебарды. Монстры молча встали по обе стороны двери словно стражники и даже не посмотрели на них.

Тут же Вадим почувствовал, что кто-то коснулся его шеи чем-то очень мягким. Резко обернувшись, он увидел, что мимо него *пролетело* ещё одно странное существо, похожее на шокирующий гибрид дракона и носорога и одетое в костюм ... балерины. Собственно, это и коснулось его шеи — широкая, горизонтально стоящая юбка с розовой оборкой. На этом монстре, величиной, быть может, с крупную овчарку, были также и пуанты розового цвета, а в руках он держал какой-то жезл, также розовый. Крылья на спине его были похожи на стрекозьи, но увеличенные до исполинских размеров. Они вибрировали, держа монстра в воздухе, и Вадим понял, почему он даже не почувствовал его приближения до тех пор, пока юбка монстра не дотронулась до его шеи — с такими способностями чудовищу просто не нужно было ходить, вместо этого оно могло бесшумно лететь. Вадим с грохотом встал со стула и в почти что в паническом состоянии стал переводить взгляд с монстров с алебардами у двери на порхающее чудовище в костюме балерины.

— Приветствую тебя, Бурчилай!* — доброжелательно произнёс Селим так, будто бы встретил старого приятеля.

— Салам, салам! — скрипуче ответил летучий монстр и аккуратнo водрузил своё тело на столе рядом с монитором, с дребезжанием положив свой жезл рядом с клавиатурой.

* См. рассказ «Двести сомов».

— Что, опять? — с тревогой в голосе спросил Селим и указал беспалой ладонью на табло.

Бурчилай вздохнул, вновь взял в руки жезл, ловко почесал им свою мохнатую спину, забросив его назад, и мрачно кивнул головой.

— Рука опять не поднялась и в этот раз. Разыгрывал зубную фею* в качестве испытательного задания. Но у ребёнка мать беременная, а отец вообще в отъезде, где-то в Кыргызстане золото ищет.

— И опять сто лет? — удручённо и полушёпотом уточнил Селим.

— Опять. Сто лет одиночества, — грустно ответил Бурчилай, сокрушённо покачав головой.

Селим моментально извлёк откуда-то бутылку с бурой жидкостью и гранёный стакан и бесшумно поставил их перед чудищем. Вадим посмотрел на чёрную этикетку, надпись на которой была белыми буквами, но не по-русски. Что-то подсказывало ему, что это был крепкий алкоголь. Турок откупорил бутылку, налил в стакан почти до краёв и подвинул его Бурчилаю. Тот взял его своей драконьей лапой и ловко опрокинул в клыкастую пасть. Резко выдохнув, он поднял вверх большой мясистый палец с когтем в жесте одобрения.

— Люблю «Джек Дэниелс», — благодарно сказал он Селиму и добавил на непонятном Вадиму наречии, — *тещицекур эдерим, аркадашим***.

Он, совсем не так грациозно, как летал, спрыгнул со стола на пол и громко потопал смешной походкой вразвалочку к двери. Дойдя до неё, он раскатисто рыгнул, обернулся и махнул Селиму, после чего открыл дверь пинком ноги и скрылся за нею. Молчаливые монстры с алебардами последовали за ним, и дверь с треском захлопнулась.

В этот раз пауза висела дольше обычного.

Селим вздохнул, покачал головой и прервал молчание:

— Славный малый этот Бурчилай. За последние несколько веков видел его тут, у меня, несколько раз.

— Кто... Кто это? — заикаясь, спросил Вадим, всё ещё приходя в себя после увиденного.

* Зубная фея (Tooth Fairy) — мифическое существо в культуре германских народов Северной Европы, которое посещает ребёнка после того, как у того начинают выпадать молочные зубы. Миф широко распространён в современных США и Канаде.

** *Тещицекур эдерим, аркадашим* (тур.) — спасибо, друг мой.

— Ах да, я же тебе не рассказывал ещё! Бурчилай демон. Обычный демон, ничего специального, таких у Велиала сотни, если не тысячи. Ко мне, думаешь, только нашего брата, что ли, присылают? Нет, конечно же! Всех подряд. Кого пришлют, того пришлют. Я не выбираю. Но одет он был необычно, это правда. Насколько я могу судить, его отправили на задание, чтобы он прикинулся зубной феей и устроил какую-то пакость. Но видишь — не смог он. Доброе у него сердце.

«Доброе у него сердце...», произнёс про себя Вадим. Про демонов с добрыми сердцами (да и сердцами вообще, хотя почти наверняка Селим просто фигурально выразился) слышать ему ещё не приходилось.

— Но, бывает, и реальные феи поступают, да. А ты как думал? Для Бурчилая я держу бутылку «Джека Дэниелса» на всякий случай. Он любит выпить. Видишь, пригодилась.

Поймав ошалелый взгляд Вадима, Селим улыбаясь добавил:

— Ну, а как ты думал? Демоны тоже не лишены слабостей. Булгаковского кота Бегемота помнишь? Так тот вообще чистый спирт глушил, если мне не изменяет память.

Вадим, понятия не имея кто такой кот Бегемот, сделал вид, что прекрасно помнит его пагубные пристрастия, и охотно закивал. Затем он задумчиво почесал подбородок и как можно вежливее спросил:

— Селим, скажите пожалуйста почему мы ... и они... в смысле, люди, демоны и феи к вам сюда поступают? Что вы с ними... с нами... делаете дальше?

Селим вновь возложил свои ноги на стол и откинулся на спинку кресла.

— Я прошу прощения, мне надо было раньше тебе всё рассказать. Но лучше поздно, чем никогда, как гласит сермяжная мудрость.

6

— Моя роль на самом деле, по сути своей, совершенно бессмысленная. Всё решается задолго до того, как вы все тут появляетесь у моего стола. Я ни на что не влияю и ничего не делаю, кроме вступления в диалоги с проходящими. Обычно короткие. Часто вообще без слов. Иногда чуть более длинные, как вот с Бурчилаем сейчас.

Вадим вспомнил, что женщина с ребёнком и парень в военной форме действительно не говорили с турком, а просто получили от него указание жестами, чтобы войти в эту дверь с вновь погасшим табло над нею. Он с пониманием кивнул, ожидая продолжения. Селим продолжил.

— Такие как мы попадают сюда, и каждому табло показывает определённое число от одного до тысячи. Как его высчитывают для каждого поступающего, я могу только догадываться, но я знаю, что когда оно 501 или выше, это хорошо, а когда ниже или равно 499, то не очень. У демонов, фей и других сверхъестественных представителей число всегда отрицательное. Бурчилай мне рассказал в прошлый раз, что он сюда попадает только в качестве наказания. «-100» означает, что он должен провести сто лет в полном одиночестве и в полном вакууме. Быть наедине со своими мыслями целый век, можешь себе представить? Но вот такое наказание за то, что ослушался приказа Велиала.

— Велиала? — позволил себе переспросить турка Вадим.

— Ну у него много разных имён. Повелитель Мух, допустим. Или вот Воланд, например, слышал? Неважно. Я короче называю — начальство для тех, у кого число на табло меньше или равно 499. Хотя это длиннее получается, да? Те, у кого число 501 и выше, идут к другому начальству, Велиал им не указ.

Вадим вспомнил, что у женщины с ребёнком и у парня в военной форме, что появились тут вместе с ним, числа были довольно высокие, близкие к тысяче.

— Те вот, что со мной появились, они к тому, другому начальству отправились, да?

Селим кивнул и улыбнулся.

— А ты смышлёный малый! Дефицит образования компенсируется природной сметливостью, так бы у тебя в личной характеристике написал ваш товарищ майор. Да, ты прав. Все трое из сектора Газа поступили, почти одновременно с тобой оказались в неприятных обстоятельствах. Парень был военнослужащим ЦАХАЛа, убит снайпером «Исламского Джихада» во время военной операции. Как ты, можно сказать, не убежёшься на войне. Женщина с ребёнком — палестинцы. Погибли ввиду того, что боевики Хамаса разместили в их доме самодельную пусковую установку. Ракеты запускали по Израилю. Ну и вот, дозапускались — и сами сгнули, и женщину с ребёнком в могилу свели.

Вадим вспомнил, что один глаз у того смуглого парня действительно выглядел странно. Может быть, снайпер попал ему именно туда? Теперь стало понятным, почему его военная форма выглядела так необычно — это была израильская форма. Он задумался над числами и вдруг осознал, что в рассказе Селима есть логический изъян, который он пока что никак не объяснил. Вадим прокашлялся и сказал:

— Понятно. Одни через эту дверь идут в одно место, другие — в другое. У одних число ниже 499 или равное ему. У других 501 или выше. Но что происходит с теми, у кого оно 500?

Селим радостно засмеялся и даже захлопал в ладоши.

— Я же говорил, что ты сообразительный парень! У тебя как раз это число! И нам с тобой нужно будет об этом поговорить.

7

— Ты мультик «Monsters, Inc.» смотрел? — спросил Селим Вадима.

Вадим вновь сидел на неудобном стуле и ёрзал на нём как проштрафившийся школяр. Но теперь страх на его лице сменился любопытством.

— Это который про всяких чудищ, которым нужен был крик напуганных детей? Да, смотрел в детстве.

— Да, да, именно этот! Помнишь, там двери менялись в зависимости от того, куда тот или иной монстр должен быть попасть? Мне кажется, *эта* дверь примерно такая же. В зависимости от номера на табло. Я даже замечал несколько раз. Открывает один уходящий дверь, а там горы на горизонте видать. А следующий за ним куда-то в болото попадает или, там, в снег. Уж не знаю, кто у кого идею слямзил; режиссёр фильма у нашего начальства (как только он это мог сделать, спрашивается?) или же наше начальство смотрело этот мультик. Такое бывает. Велиал, допустим, почитывает Маркеса, Бурчилай рассказывал, и равнодушен к творчеству Альмодовара... Один раз пляж, куда ушла девушка, погибшая в авиакатастрофе, выглядел, готов поклясться, точняк как в Анталии. Я оттуда родом.

Тут Селим мечтательно закрыл глаза и причмокнул, погрузившись в ностальгические воспоминания. Вадим нетерпеливо кашлянул, давая понять, что воспоминания Селима о его пребывании на грешной земле его мало интересуют. Тот вздохнул и продолжил:

— Да, ну так вот. Тебе с твоим номером в дверь эту, в принципе, тоже уйти можно. Это вариант. Но существуют нюансы. Ты догадываешься, почему твой номер 500, не меньше и не больше?

Вадим нахмурил брови и закусил губу. Вопрос был не праздный. Да, на праведника он, разумеется, не тянул, с этим спору не было — обездоленным не помогал, на благотворительность не жертвовал и даже бомжам на привокзальной площади не подавал. Но и особых грехов

за собой не припоминал. Ну да, убегал с уроков и учился через пень-колоду как в школе, так и в техникуме. Ну да, курить начал ещё школьником. Так это разве настоящие грехи? Чужого не брал, слабых не обижал, хотя сам часто получал по шее от более сильных («Новокузнецк всё-таки...»), подумал он тут, вспоминая физически крепких дегенератов в периферийном районе города, где жил). И на Любку руки никогда не поднимал, даже тогда, когда та флиртовала с кем попало и врала ему с три короба.

Селим усмехнулся и сказал:

— Потому что ты ни рыба, ни мясо, вот почему. Но я тебе по секрету скажу, тебе сильно повезло. Невероятно просто. Ты за эти три недели на реальной войне (служба в Ростове-на-Дону не в счёт) просто не успел никого подстрелить. Однако, подчинившись приказу товарища майора и отправившись по мобилизации в армию, ты поставил себя в такое положение, что мог бы. Понимаешь?

— Вы так говорите, что будто бы у меня выбор был! Всех мобилизовали! Мы ведём борьбу с украинским фашизмом и НАТО и... — бойко и почти заученно начал было отвечать Вадим.

— Мне кажется, настало время нам с тобой перейти на «ты», — жёстко перебил Вадима Селим, — выбор у человека, за исключением небольшого количества ситуаций, есть всегда. В подавляющем большинстве случаев. И в твоём был. Отправившись в военкомат, ты запустил почти необратимую цепь событий, которая и привела тебя сюда. А мог бы уехать к бабушке в Кузедеево, или к деду на Алтай. Или в Стамбул, допустим. Многие в Турцию уезжали. Кыргызстан тоже был опцией. Ну ладно, я понимаю, что Турция была бы для тебя неподъёмным вариантом, и не только по деньгам. Но ведь не Кузедеево! Неважно теперь. Повторюсь, тебе очень повезло. Ты просто ничего не успел на этой войне.

— А что ж тем хохлам, что пульнули в нас миномётным снарядом, им не повезло? Я ведь кеды всё же поставил! — тут Вадим, как бы иллюстрируя свой аргумент, помахал в воздухе ладонью с дырой.

— К ним твоя формула не применима. Они на родной земле сражались с захватчиками и при этом весь расчёт состоял из добровольцев. Никто их силком в армию не тянул. Они после Бучи сами в армию пришли.

— Про Бучу это ложь, нам по телевизору рассказывали, — уже обиженно, а не раздражённо возразил Вадим и нервно застучал босой ногой по холодному полу.

— Давай не будем обсуждать то, что вам рассказывают по телевизору, хорошо? Эта пропагандистская чушь даже не достойна обсуждения. Давай-ка я тебе кое-что почитаю.

Вадим озадаченно посмотрел на Селима, пока тот искал что-то в компьютере. Найдя наконец то, что было нужно, Селим стал вслух читать с экрана монитора:

Регион Чако в Парагвае представляет из себя труднопроходимые заросли кустарника и кактусов. Его можно назвать засушливым за исключением сезона дождей, когда землю заливают так, что это можно назвать наводнением. Все обитатели этого региона отличаются особой выносливостью и живучестью, и лягушки не исключение. Лягушка Баджетта, известная также как кричащая лягушка, довольно крупная, достигает тринадцати сантиметров в длину и красавицей назвать её никак нельзя. Её кожа будто бы на размер больше, чем нужно для её тела, но это даёт лягушке возможность впитывать больше кислорода, когда она плавает или когда находится в норе. В течение засушливого периода лягушка эта пребывает в спячке под землёй.

Её облик напоминает комок фекалий, оставленный травоядным млекопитающим около водопоя и почти наверняка такой внешний вид призван служить мимикрией от хищников. Этот вид лягушки получил своё название ввиду защитного поведения, если вдруг внешний облик не смог ввести в заблуждение потенциального хищника; в этом случае лягушка поднимается на лапах, раздувает тело и начинает широко раскрытым ртом громко издавать звуки, похожие на человеческий крик, словно женщина в состоянии иступления.

У лягушки Баджетта есть и другие неприятные особенности. Они кусаются, как только получают такой шанс и в целом не являются чистоплотными существами, что часто приводит к инфекциям при содержании в террариуме. Кроме этого, они являются каннибалами. Головастики этого вида отличаются огромными челюстями и почти что квадратными телами и предпочитают других головастиков в качестве пищи, не делая исключений и для собственного вида. Как только головастики трансформируются в лягушек, их диета также претерпевает метаморфозу — во взрослом виде они поедают других лягушек.

Селим закончил читать и с улыбкой перевёл взгляд на Вадима. Вадим в негодовании качал головой.

— Что это было? Лягушка в форме куска говна и при этом орущая как баба в истерике? При чём тут лягушки? Что такое каннибал, кстати? — с недоумением и брезгливостью спросил Вадим, уже не стесняясь того, что многие имена и термины, фигурирующие в речи Селима, ему были совершенно незнакомы.

— Это, между прочим, не моя отсебятина, а описание этого эзотерического вида земноводного одним из крупных натуралистов современности Тимом Фланнери. Каннибал — это людоед. То есть, пожирающий себе подобных. Я ж тебе прочитал, что головастики этой лягушки закусывают своими же собратьями. Но давай я тебе всё объясню до конца.

Селим вновь осмотрелся, будто бы опасался чего-то, и опять понизил голос до едва слышимого шёпота.

— У нас тут есть хакер один, я его лично не знаю. Но он был хакером при жизни и вот теперь, как я, заседает на одном из порталов, и от скуки лезет куда ни попадя, взламывает базы данных и любопытные вещи порою извлекает. Я с ним чатаюсь иногда. Он порой узнаёт кое-что интересное о планах на таких вот пятисотых, если можно так выразиться, как ты. В общем, если ты откроешь дверь и отправишься туда, куда тебя определяют, то это будет довольно трудным испытанием. Ты слышал про учение о реинкарнации?

Вадим сразу отрицательно покачал головой и почувствовал, что рассказы этого беспалого турка опять погружают его в ментальный тупик. Хакеры в потустороннем мире, которые взламывают *потусторонние* базы данных? А главное, причём тут лягушка-людоед?

Селим продолжил:

— Учение о реинкарнациях, вообще говоря, не христианское и не исламское. Это перерождение в другое существо, обычно человека, после смерти. В индуизме и буддизме, где-то ещё оно встречается. Но начальство у нас тут разницы не ведаёт, что у людей бывают разные религии. Им до этого как до лампочки. Короче, пятисотым при открытии двери приходится иметь дело с реинкарнацией. Но такой, знаешь ли, несколько модифицированной и не особо приятной. Этот хакер с другого портала прислал мне сегодня хакнутую инфу на тебя. Короче, если ты откроешь дверь и войдёшь в неё, то почти сразу трансформируешься, с позволения сказать, в лягушку Баджетта. Будешь раздуваться и вопить при виде хищников и заниматься каннибализмом.

Это я тебе по секрету говорю. Можно сказать, по-приятельски. Мы ведь с тобой, по здешним меркам, уже давно друг друга знаем.

Вадим оцепенел от столь красноречиво описанного кошмара. Это в сказках лягушки превращались в прекрасных принцесс; ему же уготована обратная участь! Во-первых, непонятно почему. Во-вторых, мысль о том, что он может стать лягушкой-людоедом и жить среди зарослей кактусов, раздуваться, вопить и пожирать себе подобных, приводила его в ужас.

— Но за что? За какие грехи? Что я такого сделал?

Селим рассмеялся и стал барабанить пальцами беспалой ладони по поверхности стола, после чего сказал:

— Если бы ты знал, что происходит с теми, кто *что-то* сделал, ты бы сейчас с радостью, пулей, побежал бы в эту дверь. Но, поверь мне, тебе не стоит этого знать. И кстати, всё устроено совсем не так, как вы обычно себе это представляете. Никто из ведомства Велиала на людей не старается влиять, а его эквивалент с другой, так сказать, стороны никому не помогает, с молитвами или без. И все эти рассказы о продаже души дьяволу и о том, что нечистая сила якобы палки в колёса вставляет, не более чем суеверия. То, как вы поступаете в жизни, зависит исключительно от вас самих и контролируется лишь вами. Ты вот, допустим, сам ведь в военкомат пришёл, не так ли? Или Люцифер тебе на ухо пел-нашёптывал? Нет, конечно же! Но ты в лимбо оказался, ты пятисотый. Велиал к тебе претензий ещё не имеет, а в места повеселее тебя пока не берут. Я тебе даже больше скажу — Спиноза был прав в некотором смысле! И Велиалу, и его эквиваленту совершенно без разницы, что вы там себе вытворяете. Они лишь реагируют на следствия, чего Спиноза не допускал, но не будем углубляться сейчас в богословие. Они просто ждут, а потом реагируют. Но не спрашивай почему, я и сам толком не понимаю. Сколько надо, столько и будут ждать. Всё идёт самотёком, никто никому не помогает, не тормозит и не ускоряет. В аду, вопреки известному опусу вашей российской журналистки, не смотрят на часы.* Как, впрочем, и в Гааге, если ты понимаешь, о чём я.

Вадим влез на стул с поджатыми ногами и совершенно по-детски обнял коленки руками. Он не понимал Селима полностью, тем более что тот, в своей раздражающей манере, не переставал виртуозно жон-

* Имеется в виду статья Валерии Новодворской «Портрет. Последнее письмо россиянам».

глировать неизвестными Вадиму именами и терминами. Потупив взгляд, он смотрел в пол, понимая, однако, что пребывает на пороге чего-то фантастически ужасного. Быть может, ещё более ужасного, чем смерть в холодной украинской степи от осколков миномётного снаряда. Подумав немного и перейдя на «ты», как и рекомендовал турок, Вадим, в инстинктивной попытке потянуть время, спросил Селима, буравя того взглядом исподлобья:

— А ты сам-то тут как оказался?

8

Селим расплылся в улыбке так, будто бы это был самый долгожданный и приятный для него вопрос на сегодня. Он встал с кресла, на котором восседал, и заботливо поправил тюрбан, радостно сверкая угольными глазами. После этого, с хитрецей посмотрев на Вадима, неожиданно задрал вверх свою старомодную рубашу. Вадим тут же скорчил гримасу шока и омерзения, слегка отпрянул назад и едва не свалился со стула. Вдоль всего живота турка, чуть ниже пупка, пролегла жуткая рваная рана с багровыми распухшими краями и было непонятно, что удерживает внутренности от вываливания наружу. Селим с удовольствием похлопал себя по животу и сказал:

— Я рад, что ты спросил! Знаешь, все эти долгие столетия, что я тут пребываю, никто даже не удосужился поинтересоваться. Некоторые глубоко личные вещи ведь прям хочется кому-нибудь иногда поведать. Вспомни себя ребёнком, когда у тебя появилась футболка с надписью «Ибрагимович». Как ты хотел, чтобы все вокруг тебя про неё спрашивали и узнавали бы, что Златан твой футбольный кумир! Помнишь?

Вадим молча кивнул, продолжая с содроганием пялиться на живот турка. Он уже перестал удивляться его феноменальной осведомлённости. Игрок сборной Швеции и итальянского «Милана» Златан Ибрагимович и правда был его футбольным кумиром в детстве, и маленький тогда Вадик был вне себя от счастья, когда дядя Сёма подарил ему на день рождения эту футболку, купив её по случаю во время поездки в Новосибирск, куда он часто мотался, будучи экспедитором в транспортной конторе. Селим опустил рубашку и уселся в кресло, продолжая расплываться в довольной улыбке словно чеширский кот.

— Представь себе двадцать пятое сентября 1396 года. Утро неподалёку от болгарского городка Никополь на берегу Дуная. Наш султан

Баязид Первый, по прозвищу Молниеносный, руководит войсками в битве в объединёнными силами христианской Европы. Я в первом ряду передового подразделения. Это янычары в бой вступали последними, как известно, а таких как я, босяка из Анталы, особо не жалели. В общем, после начала сражения, нейтрализовали меня очень быстро и, как ты видел, небезболезненно. Пальцы вот отсекли тоже... На самом деле я не сразу умер, а через несколько дней. От, как сейчас сказали бы, сепсиса брюшины. Султан Баязид очень агрессивный был феодал, постоянно вёл войны, в основном захватнические. И Константинополь осаждал, и с болгарами воевал, и в Валахию вторгался. И с другими туркоманскими бейликами в Анатолии конфликтовал. До добра это его не довело, и в конце концов он попал в плен к Тамерлану и ввернул Османскую империю в такую адскую свистопляску, что я до сих пор изумляюсь, как она потом на ноги встала. Но ближе к делу. Я тоже оказался пятисотым. И, попав сюда, тоже толком ничего не понимал. Как ты. За столом этим сидел некий шумер. Вокруг него таблички были глиняные, папирусные свитки, немного бумаги. Ведь компьютеров тогда, как ты и сам понимаешь, ещё не изобрели...

— погоди! Тут был кто-то другой до тебя? — насторожился Вадим.

— Так я тебе говорю, шумер какой-то. Он со мной на ломаном турецком общался, без компьютеров языки труднее учить, знаешь ли. Не то, что сейчас! Со времён Гильгамеша и Энкиду, сказал, на этом портале трудился. Сам из Урука был, как и легендарный Гильгамеш.

— А куда же он делся? — озадаченно спросил Вадим.

— Ага! Тут-то мы подходим к самому главному, — обрадовался турок.

Вадим почувствовал, что их диалог свернул в интересную сторону и его ждёт что-то новое, чего он раньше даже не предполагал. Но рассказанное Селимом было настолько похоже на его историю (за исключением, разумеется, эпохи), что он решил расставить точки на «и», а при возможности и поддеть этого словоохотливого турка.

— Так ты, говоришь, тоже пятисотым оказался, да? Что ж ты на войну пошёл, а? У тебя ж, наверное, тоже выбор был. А?

Селим покачал головой и криво ухмыльнулся.

— Ты парень, конечно же, сметливый, но в некоторых вопросах недостаток формального образования прямо-таки бросается в глаза. Это в Средние века было, во времена рабства, эпидемий и полного пренебрежения правами человека. Ты думаешь, я мог даже заикнуться,

когда пришёл приказ султана о наборе в армию? У тех сипахов, что его привезли, разговор с отказниками был быстрый и конкретный. И убеждать было нельзя, потому что тогда этот быстрый и конкретный разговор возникал с родителями, братьями и сёстрами. Четырнадцатый век, чего ты хочешь? При всех своих перекосах, текущий российский авторитаризм — это детский лепет на лужайке по сравнению с суровыми феодальными порядками в ранней Османской Империи. Баязида называли Молниеносным за быстрые и неожиданные перебросы армии. Но мало кто знает, что и расправы за невыполнение приказов султана, уклонение и прочее инакомыслие были не менее молниеносными. Теперь понятно?

Селим теперь звучал раздражённо. Вадим понял, что сел в лужу.

— Но давай уже о главном, — уже примирительно продолжил турок.

Его лицо стало серьёзным, и он прокашлялся прежде, чем продолжить.

— Я думаю, перспектива обратиться в лягушку-каннибала тебя мало прельщает. У тебя есть ещё один вариант. Если ты его выберешь, ты сможешь подтянуть своё образование. Выучить языки, как, допустим, я. Научиться многому новому. И при этом особо тебе напрягаться не придётся. Работа, как говорят, не пыльная. Единственное неудобство — скука. Но непостоянная. Никаких жизненных потребностей и физических неудобств у тебя не будет. По понятным причинам, думаю, ты понимаешь. Вся твоя энергия будет направлена на образование. Это, кстати, несколько даже коррелирует с религией исмаилитов, у них очень серьёзный акцент на образование. Так вот, у тебя будет своего рода исправление образованием. Хотя это вопрос терминов: не то, чтобы прямо-таки исправление, а как бы улучшение того, что уже имеется. Что ты думаешь об этом? Всё лучше, чем раздувающееся и кричащее земноводное.

Вадим почувствовал, как участилось его сердцебиение и вспотели ладони, что было странно, поскольку вроде в его нынешнем состоянии этого не должно было быть в принципе. Но он чувствовал это, как и то, что у него, в его ситуации тонущего, появляется спасательный круг, в который можно вцепиться и избежать самого страшного.

— Я согласен! — быстро и решительно сказал Вадим и, сам того не ожидая, резко встал со стула и вытянулся по стойке «смирно».

— Отлично! — воскликнул Селим, подошёл к нему и горячо пожал руку.

— Никаких формальностей нет, ничего подписывать не надо, твоего вербального согласия достаточно. Займёшь мой стол, компьютер работает, монитор нормальный, но у клавиатуры залипает пара клавиш. Ничего, привыкнешь. Тут завхоз нерасторопный, раз в четверть века появляется. Тоже демон, эквивалент нашего брата-пятисотого, тоже исправляется. Спокойный тип, только клыки у него жутковатые. Как в песне поётся, на лицо ужасный, добрый внутри...

Селим говорил Вадиму и собирал в большую картонную коробку свой нехитрый скарб из выдвигаемых ящиков стола, словно корпоративный работник, который увольняется и забирает с собой из офиса мелкое личное барахло. Спустя несколько минут он наполнил коробку, поставил её на пол и уселся в кресло. Задумчиво почесав подбородок, турок произнёс:

— Долго я тут заседал однако!

Он закрыл глаза и стал покачивать головой, после чего выдал:

— Шестьсот двадцать восемь лет! Мамма мия! Как говорится, столько не живут, пардон за мрачный юмор.

Он гомерически расхохотался и протянул Вадиму листок бумаги с написанным от руки текстом.

— Что это? — спросил Вадим.

— Это то, с чего я рекомендую начать твоё пребывание тут. Фильмы к просмотру, «Донни Браско» и «Последняя дуэль». Про первый мы с тобой немного трещали, а второй как раз описывает ужасы европейского Средневековья и пренебрежение правами человека. Книги Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Сто лет одиночества» Маркеса. Мне кажется, это хороший старт для тебя. На компьютере всё есть, и стриминговое видео и книги в PDF формате. Обучающие программы установлены, языковые типа Дуолинго и Бабея есть в онлайн. Не волнуйся об оплате подписки, контора платит. Российские газеты текущей эпохи перехода от авторитаризма к диктатуре я читать тебе не рекомендую, как и советовал профессор Преображенский доктору Борменталю. Чего только там не пишут! Вот, например, выпало мне сегодня, как говорится, в ленту: российский клоун Куклачёв против Запада. Требуется разбомбить Европу вдребезги-пополам. Ну прямо по Высоцкому — агрессивный бестия, чистый фараон! Мне кажется, он, клоун этот, уже начал слышать голоса котов и, возможно, не только по ночам.

Вадим взял листок и пробежался по нему глазами.

— А ты сам-то теперь куда?

— Хороший вопрос. Я не знаю. Знаю только то, что хуже, чем здесь, уже не будет. Посмотрим.

— А мне тут быть, пока новый пятисотый не нарисуеться? — насторожённо уточнил Вадим.

— Это вариант. Но учти, что пятисотые народ редкий, часто не появляются. Я вот сколько ждал тебя! Страшно сказать даже, столетия! А тот шумер, что до меня тут заседал, вообще больше двух тысяч лет провёл за этим столом. Да ещё и без компьютера, представляешь?

Сказав это, Селим взял коробку под левую руку, протянув другую Вадиму.

— Ну, бывай! — сказал он ему, крепко пожав его дырявую ладонь, и направился к двери.

Подойдя к ней, он легонько в неё постучал. Табло на ней загорелось и стало переливаться нежно-розовым, словно щёчки младенца, цветом. Дверь открылась, и вышли те самые монстры с алебардами, что Вадим видел ранее. Стражники, казалось, уже всё знали и молча, без слов, расступились перед турком, пропуская его вперёд. Селим обернулся, поправил вновь скособочившийся тюрбан и крикнул на прощание Вадиму:

— Бурчилая если опять увидишь, привет ему от меня. Виски в первом нижнем ящике, если что.

Он вошёл в дверь, неуклюже и шумно задев косяк коробкой с бахлом. Стражники тут же последовали за ним. Дверь захлопнулась, и табло над ней погасло.

Вадим несколько мгновений мрачно глядел на дверь, словно на улетающий за горизонт косяк птиц, который никогда больше не увидеть. После чего сел в кресло, положил ноги на поверхность стола, закрыл глаза и тяжело вздохнул. Калейдоскоп событий на сегодня завершился, и ощущение того, что он легко отделался, теплом растеклось по его неживому телу. В голове теперь крутилась строчка из старой песни группы «Любэ», которую так любил дядя Сёма: «Мы будем жить теперь по-новому!».

Вера Васильевна Башканова почти всю свою жизнь полагалась только на себя и умела хранить тайны, как свои, так и чужие. Но если второе

было врождённой чертой её характера, то искусством первого ей пришлось овладеть ввиду сложившихся жизненных обстоятельств. Рано потеряв мужа, она вырастила сына в одиночку, если не считать помощи сестры Лены, бездетной разведёнки, души не чаявшей в племяннике. Брат мужа, Семён, бывало, тоже помогал, и Вера была благодарна ему за это. Но помощь эта являлась своего рода бонусом, на который нельзя было рассчитывать постоянно. Вера отлично это понимала и никогда не жаловалась — и когда горбатилась на двух работах, и когда выходила на смену в выходные с температурой и кашлем, и когда отказывала себе в покупке обуви ради того, чтобы у Вадика был новый ранец к учебному году. Во многом она преуспела — Вадим вырос сметливым парнем и держался подальше как от разного рода стимуляторов, так и от тех сверстников, что были часто не в ладах с уголовным кодексом. Последнее было особенно важным в их районе на окраине города, где нравы были суровыми, а доходы совсем невысокими.

Вадим звёзд с неба не хватал, но автодорожный техникум закончил и без проблем отслужил положенный год в армии. Вернувшись, он сменил несколько работ, но в конечном итоге устроился на автобазу и был на хорошем счету у начальства. Вере Васильевне не очень нравилась гражданская жена сына, Люба, с которой они всё никак не могли расписаться, хотя жили вместе вот уже несколько лет. Но она старалась этого не показывать. В конце концов, это был выбор её сына, а не её, а в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Вадим был человеком законопослушным, и даже с гаишниками у него редко когда возникали проблемы. И поэтому, когда объявили мобилизацию, он сразу же явился в военкомат, откуда его отправили, как он сказал матери в телефонном звонке оттуда, в Ростов-на-Дону, для «прохождения подготовки и боевого слаживания». Вера Васильевна, зная по эмоциональным рассказам подруг и новостям, пробивающимся через Интернет, что творится в Украине и какие тяжёлые потери в личном составе сопряжены с этой «специальной военной операцией», сразу же захотела отправить сына к свекрови, в Кузедеево, или же к отцу, в Горноалтайск. Она понимала, что почти наверняка, в связи с общим бардаком, при котором проходила «ограниченная мобилизация», никто не станет искать её сына. Да, материнский инстинкт обезопасить ребёнка заслонял у Веры Васильевны любые другие соображения, и она охотно это признавала. Но при этом, задумываясь порою, а зачем вообще идёт эта война, она приходила к выводу, что совершенно не понимает *почему* Россия вдруг решила атаковать братский, как говорил российский президент, народ.

Даже если вдруг часть этого народа действительно была «бандеровцами», что с того России? Вон в Эстонии вообще проходили парады бывших эсэсовцев, как показывали по телеку, и ничего — Россия не вторгалась по этому поводу в Эстонию. Это было их внутреннее дело, в конце концов, в каждой стране есть свои проблемы. Вера Васильевна никогда не бывала в Украине и не без труда нашла на карте Херсон, который, как неустанно вещали на первом канале, теперь стал российской областью. Россия при этом и так была самым большим государством в мире, и зачем ей нужен был ещё и мало кому известный в Сибири Херсон, Вере Васильевне было абсолютно неясно.

Но она не успела даже поговорить с сыном, а из военкомата домой он уже не вернулся. День накануне получения повестки был последним, когда Вера Васильевна видела Вадима живым.

Отпевание и похороны прошли для неё быстро и как в тумане.

В голове Веры Васильевны весь день рефреном звучала поговорка о том, что, потеряв голову, по волосам не плачут, и вероятно поэтому она, будучи полностью раздавленной горем, отчего-то не проронила ни слезы. Этого нельзя было сказать про сестру Лену, ревавшую навзрыд почти постоянно и беспрерывно причитавшую мрачным речитативом «Вадик, Вадик, ну как же мы будем без тебя?». Со смертью сына Вера действительно потеряла эту провербиальную голову — её собственная жизнь во всех её аспектах перестала иметь какой-либо смысл. Теперь она была готова покинуть эту юдоль скорби, как называл жизнь в миру отец Елизарий, отпевавший Вадима в небольшой церквушке священномученика Власия на их городской окраине. Глядя на слегка гротескный, но, тем не менее, суровый портрет Святого Власия на фреске церкви, Вера Васильевна твёрдо решила, что она абсолютно готова к встрече с создателем и что в этом мире её более ничего не держит.

Вечером после похорон она не могла найти в себе сил зайти в комнату сына в их старой двухкомнатной хрущёвке, доставшейся ей от родителей. Стоя на пороге, она смотрела на сине-чёрную футболку с надписью латиницей «Zlatan Ibrahimovich», всегда висевшую на спинке стула. На крошечные разноцветные модельки гоночных автомобилей на подоконнике. На слегка сдувшийся футбольный мяч с буквами «FIFA», лежавший в углу. В конце концов, она закрыла дверь в эту комнату, выпила стакан холодной воды из-под крана и, не переодеваясь, легла спать в искренней надежде, что уже никогда не проснётся.

Ночью ей приснился совершенно дикий сон, полный неожиданных деталей и ярких красок. Его можно было бы назвать кошмаром в других обстоятельствах, но сейчас он воспринимался совершенно иначе. Чудище со стрекозыми крыльями, жутковатой внешностью и нелепым жезлом в руках, которое оно называло «волшебной палочкой», разговаривало с ней так, будто бы они были давно знакомы и при этом в дружеских отношениях. Чудище называло себя «зубной феей» и спокойным и убедительным тоном поведало Вере Васильевне, что с Вадимом всё в порядке и что он теперь «дозорный» на каком-то портале. Что теперь его образование резко улучшится, равно как и знание различных языков. И что портал этот расположен в таком месте, где пути праведников и грешников всех мастей разветвляются на бесчисленные мириады отдельных дорог. Но самое главное, сказал ей этот монстр, Вере Васильевне не стоит волноваться за сына. Всё у него будет нормально и что даже не исключено, что они вновь встретятся, если её, Веру Васильевну, отправят на *его* портал через некоторое («*большое*», как он выразился) количество лет. «Так что, успокойтесь, Вера Васильевна, и не нервничайте больше», выдало ей чудище на прощанье, помаhalо жезлом и исчезло, словно растворившись в воздухе.

Вера Васильевна проснулась ровно в 3:30 ночи в неожиданно хорошем и, можно было даже сказать, умиротворённом настроении. Сходя в туалет, она переоделась и уже легла спать как обычно, проспав крепким здоровым сном до девяти утра. А в десять к ней пришла сестра Лена, и было понятно, что та не спала всю ночь, о чём красноречиво свидетельствовали красные от слёз и недосыпа глаза. Вера Васильевна вскипятила чай, и они молча сидели на кухне, глядя на начавшийся снегопад за окном — вещь вполне обычная для марта в Новокузнецке.

— Одно утешение, что Вадик сейчас в райских кущах, — начал всхлипывать, сказала Лена, так и не притронувшись ни к своей чашке, ни к вазочке с печеньем и конфетами.

— Он не в райских кущах, — спокойно и уверенно ответила ей Вера Васильевна, стуча чайной ложкой о стенки чашки.

Лена недоумённо взглянула на неё, но ничего не сказала.

— Но с ним всё нормально, я точно это знаю. Кстати, ты не слышала такого имени — Бурчилай? — спросила Вера сестру.

Лена отрицательно покачала головой и вытерла салфеткой вновь набухшие от слёз глаза. Внезапно зазвонил сотовый Веры. Приняв зво-

нок, та слушала кого-то несколько мгновений, после чего, не отвечая, выключила мобильник. Лена, продолжая всхлипывать, вопросительно посмотрела на сестру. Вера Васильевна слегка усмехнулась и произнесла:

— Люба хочет вопрос с «гробовыми» обсудить. Ничего, подождёт.

Сёстры, не сговариваясь, повернулись к окну, за которым кружились и ложились на стекло с другой стороны хлопья всё ещё белого по-вокузнецким меркам снега.

ОБ АВТОРЕ

Амин Алаев — разработчик программного обеспечения, живёт и работает в Британской Колумбии (Канада).

Родился и вырос в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и отделение информатики CDI College of Business and Technology (Барнаби, Канада).

Публиковался в российских литературных журналах «Аврора», «Дарьял», «Сибирские Огни», «Уральский Следопыт», DARKER (журнал ужасов и мистики), в азербайджанских и киргизских журналах, в «Новом журнале» (Нью-Йорк).

Григорий МАРГОВСКИЙ
НОВЫЕ СТИХИ

ВОЛЕЙБОЛИСТКА

Натянута на пляже сетка,
Как будто сушат невода,
Подача яростна и метка,
Шуршит по отмели вода.
Болельщик на катамаране,
Следя за сверстницей тайком,
Бесстрастно корчит загоранье,
Наивной прелестью влеком.
О, если бы могла влюблённость
На счёт финальный повлиять –
Какой бы сумасшедший бонус
Сулила нам Природа-мать!
И ни разбитая коленка,
Ни вывихнутая рука
Не прерывали бы фламенко
Порхающего игрока...
Пунктиром плюхается мячик,
И заставляет волейбол
Затихнуть королевских крачек,
Сварливо делящих престол.
Когда она гарцует мимо
Невзрачных птиц и покрупней,
С полётом сокола сравнимо
Изящество её ступней.

ВОРОБЕЙ

На Пушкинской площади пьяно
Бездомный глядит воробей
В чугунную чашу фонтана
С рассолом ночных фонарей.
Там жёлтые листья увязли
И вспыхивает светофор,
И трудно узнать в этом пазле
Всё мнившееся до сих пор.
Казалось, любовь и свобода
Навек вплетены в этот герб,
Лазурная ширь небосвода
И ветви пушистые верб.
Казалось, поэты и птицы,
Склевав на скамейке бисквит,
Владеют умами столицы
И росчерк их перьев искрит.
Но плавают в жиже окурки,
Омоновцев лютых плевки,
И стайки прожорливо юрки,
И рифмы продажно легки.
Синеют мигалки кортежей,
И, что-то в айфон бормоча,
Засветятся ряхой несвежей
То ряса, а то епанча...
Шпана обвела вокруг пальца
И кинула птаху с жильём,
Осваивай образ скитальца,
А мы тебе чарку нальём!
Как заморозки первоцвету,
Навязана мутью со дна,
И птице страшна, и поэту
Кромешная эта война.
От крыл почернела вороньих
Когда-то прозрачная высь,
Теперь пропадай ни за понюх,
Без родины опохмелись.

СТРАНСТВИЕ

Мне в Силиконовой долине
Обрыдло протирать штаны,
И я, спасаясь от унынья,
В тот год объездил полстраны.
Я озираю простор тexasский,
На ранчо проведя три дня,
И по сугробам борзый хаски,
Хвостом виляя, вёз меня.
И мох испанский с кипарисов
Свисал фамильным серебром,
И привкус джина был анисов,
И золотел карибский ром.
И здесь, на острове Барбадос,
Я радость наконец обрёл,
Когда, деля со мною градус,
Танцовщиц подозревал креол.
Примерить смуглая Долорес
Сомбреро просит, я смеюсь,
Травлю ей байки, хорохорюсь,
Осанюсь, как канадский гусь.
Мы с ней из муторного паба –
Бултых в известняковый риф!
И два нерасторопных краба
Таращатся, клешни зарыв.
Так я влюбился в это море,
В дожди с июня по октябрь,
Немало выучив в оффшоре
Финансовых абракадабр...
Открыл свой офис, сёрфингую.
Средь этих мангровых болот
Я обнаружил жизнь другую.
Ещё? Жена тебе нальёт.
Бурбон хороший, хоть и начат.
Так забирает, просто жуть.

Она и дочь всё время плачут,
 Хотят в Лос-Анджелес рвануть.
 Малышка очень даровита,
 Ей славу прочат все вокруг.
 Perigrinatio est vita:
 Жизнь — это странствие, мой друг.

ЙЕЛЛОУСТОН

Где, пузырясь, шершавый туф
 Бормочет притчу о вулканах,
 Кривится ветер-стеклодув
 От святотатства бесталанных.
 Отвесный водопад упруг,
 Органный строй его рокочуш,
 Но к замерзанию этих фуг
 Привычна оторопь урочищ.
 И солнце, нищий богомаз,
 Пока стволы тревожит сполох,
 Изображает без прикрас
 Округу в тусклых ореолах.
 Враждебность пламени и льда
 Неумолима к подмастерьям,
 Насквозь продрогшая нужда
 Стучится в выгоревший терем.
 За мягкой сомкнутостью крон
 Таится ужас поколений,
 Копытом чувствует бизон
 Шипучей магмы шевеленье.
 Срастаются метель и зной,
 И цвет сухой дорожной пыли
 В отрепьях горлицы лесной
 Деревья жадно возлюбили.

СЛОВАРЬ ПАВЛЕНКОВА

Словарь увесистый и странный
Оставил мне аптекарь дед,
И с каббалой, и с махаяной
Знакомил вкратце раритет.
Подростку помогал Павленков,
Предельно точен, но не груб,
Понять обычаи эвенков
И смысл фаллопиевых труб.

У голой сути шрифт уборист,
Барочны завитки гравюр,
В цитатах греческий аорист,
Скучает мышка Помпадур.
Все эти «фиты» или «яти»
Ещё реформой не обрѣк
Ходок лукавый в Наркомате,
О Ленине лишь пару строк.

Зато жидовствующих ересь
Описана — и тот раскол,
Что затевали, разуверясь,
Охальники из чуждых школ.
И много всякого такого,
О чём не вычитал бы ты
В энциклопедии пудовой,
Дрожа от вечной мерзлоты.

Храни, сафьяновая кожа,
Наш мозг от цензора с кнутом,
Когда страна вокруг похожа
На лепрозорий и дурдом!
Когда из книг нам остаётся
Доступных, строго говоря,
Один устав золоторотца
Да катехизис упыря...

Словарь Павленкова, спасибо,
Ты мне Америку открыл:
Поскольку не было Турксиба,
Спецхрана и казённых рыл.
Я Смита отличал от Локка,
И я с собой увёз, атлант,
Собравшись далеко-далёко,
Столетний дедов фолиант.

Когда б не знанье ключевое,
С трибун учила бы печать
В кавычки грозного конвоя
Скрижали сердца заключать.
Язык, зовущий к переделу
Земель, утрачивает шарм,
Полезен он душе и телу,
Гнездясь подальше от казарм.

Мы ставим ударенье: Янцзы –
И тотчас двери нараспах
Закусочных, где иностранцы
Вкушают суп из черепак.
Глаза певиц подобны углям,
Белеет храм во всей красе,
Давайте чуточку погуглим,
А после улыбнёмся все!

Чадят вулканы на Гавайях,
По Сохо мчит кабриолет,
Стоит на лиственничных сваях
Венеция две тыщи лет.
А я, во власти детских страхов,
Подробней рассмотреть хочу
С узорами чумацких шляхов
Причерноморья епанчу.

Тулум

Крепчает зной, глаза слезятся,
Но с каучуковым мячом
Древнейшей из цивилизаций
Все катастрофы нипочём.
И твёрже всех, распознавая
Грядущей непогоды шум,
Из городов полдневных майя
Над рифом высится Тулум.
Стоит он на крутых утёсах,
Поодаль от промозглых сельв,
Где смуглых дев гладковолосых
Прельщал гиперборейский эльф.
Его развалины священны
Для устремлённых в океан
И стерегущих эти стены
Подслеповатых игуан.
Сплетаясь, пальмы и агавы
Чтут идола, который встарь
Ввёл изуверские расправы
И судьбоносный календарь.
Обсидиановой пантерой
В расселине крадётся ночь,
Свет гаснет, веруй иль не веруй,
Какую блажь ни напорочь.
А мы, обсыпанные мелом
Луны, крошащейся в перстах,
Дворцам дивимся омертвелым,
От бога метрах в пятистах.
Прозреньё не размежевало
Добро и зло спустя века,
Надежды остаётся мало,
И на сердце скребёт тоска.
Как будто звёздные сполохи,
Царапающий остриём,
Из доколумбовой эпохи
Подсчитывает астроном.

ЛЕТА

Не звался я по отчеству,
Всё время выживая.
Не легче мне час от часу:
Одна страна, другая...
Для всех я был лишь Грегори,
Игравший роль паяца,
То в пахари, то в пекари
Привыкший подаваться.
Везде цвела семейственность,
Досье хранились в папке,
В Москве ценилась девственность,
В Нью-Йорке — только бабки.
Кляла Святая Троица
Нашествие Кагала,
В опричнину устроиться
Провинция мечтала.
Братва литературная,
Заносчива при встрече,
Над собственной урной
Произносила речи...
Стою, люблюсь Летою,
Кругом одни Кассандры,
И я им всем советую
Скорей надеть скафандры.
Поэт! Изгонят — выменяй
Субтропики на шхеры,
Но не сдавай ни имени,
Ни нации, ни веры.

АЭРОНАВТ

Вот так оно случилось.
Вот так, а не иначе.
Не продавал я стилос
За гранты и за дачи.
Не подпевал потешно
Хозяевам в поместьях
И не менял поспешно
Магендавид на крестик.

Одни снимали ловко
Навар с номенклатуры.
Других влекла тусовка,
Коктейли, шуры-муры.
Но с табелью о рангах
Не закружишься в вальсе.
А в столбовых дворянках
Я плохо разбирался.

Все, вытирая обувь,
Толпились у Литфонда.
Я не терпел ни снобов,
Ни хамского бомонда.
И уж тем паче лавров
Не чаял я дожидаться
От шизанутых мавров
И скрепоносных наци.

И я пошёл работать.
Уехал в жизнь иную.
Чтоб не платить им подать,
На цыпочках танцуя.
А в том и Божья милость,
Чтоб колесить, чужаца!
Вот так оно случилось.
Вот так, а не иначе.

Дана поэту участь,
Как шар аэроавту.
Из множества могуществ
Я выбрал только правду.
Но в сердце то же пламя.
Куда лечу, не знаю.
Парю под облаками,
Не попадая в стаю.

МУДРОСТЬ

Есть два вида стойкости. Река,
Путь в угрюмых скалах пробивая,
Катит свои волны сквозь века
И шумит, бесстрашная, живая.
Режут камни дерзкую струю,
Но вода умней. А над каньоном
Я всё то же свойство узнаю
В чаще с её гулом непреклонным.

Здесь ветроустойчивость дерев
Обеспечил заглублённый корень,
Чуден их заснеженный напев
И январской стуже не покорен.
Так и ты, библейский мой народ,
Выживаешь. Высятя над бездной
Гордые стволы — и в свой черёд
Защитят страну корой железной!
А в стремнине пенной отражён
Борющийся с извергом Израиль:
С давних, незапамятных времён
Берег русло тонкое изранил.
Но река рассеянья, искрясь,
Корни напоить попутно рада,
С лесом для неё священна связь,
Он её хранит от камнепада.

САВАННА

Городок стоит Саванна
В штате Джорджия. Река
Судоходна, разливанна,
Суший рай для рыбака.
Если только он не цаца,
Не сковал парнишку страх
С аллигатором тягаться
Поутру в солончаках.

Ароматами парфюма
Манит сладкая камедь,
Раз в году заходит пума
В дебри предков пореветь.
Но зато и на английском,
И на русском ты готов
Умиляться этим писком
Малярийных комаров.

Собирали, воя, хлопок
Угнетённые рабы,
И плантаторский ушлёпок
Вырос баловнем судьбы.
На приёмах он отъелся,
Но, сказать не побоюсь,
Тяжкий вздох спиричуэлса
Породил крутейший блюз.

Пароходы, шёлк, индиго,
Пантомима потных тел,
Измывался климат дико,
Порт фабричный богател,
И когда среди испарин
Вдруг очнулся наяву,
Был он Линкольну подарен
Генералом к Рождеству...

Неужели по-другому
 Не бывает никогда?
 В повседневную истому
 Погружаются стада.
 То ли белая корова
 Всех подымет на рога,
 То ли чёрная без крова
 Грузно вытопчет луга.

Пастухи, не зная броду,
 Прут какого-то рожна,
 А нужна ль она народу,
 Их Гражданская война?
 Подъезжая к Аппалачам,
 Мы в финале этих строк
 Рассмеёмся и заплачем,
 Вспоминая городок.

ОБ АВТОРЕ

Григорий Марговский родился в семье военнослужащего. Жил в Минске, посещал диссидентский литературно-философский кружок Кима Хадеева. Окончил Литинститут в Москве. Печатался в альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Истоки», «Тверской бульвар, 25», журналах, газетах. В 1991 году стал членом писательского сообщества «Апрель», оказывал активное сопротивление черносотенным группировкам.

В 1993 репатрировался в Израиль. Был принят в Союз писателей Израиля и зачислен в аспирантуру при кафедре славистики Иерусалимского университета.

В 2001 иммигрировал в США. Сначала жил в Нью-Йорке, затем в Бостоне. В марте 2010 г. подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».

Публикуется в периодических изданиях. Автор пяти поэтических сборников. Автор нашего журнала.

Дмитрий ПЕТРОВ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

ОТ РЕДАКЦИИ

Повесть писателя и публициста Дмитрия Петрова посвящена его сыну, тоже Дмитрию (в повести Мика, Леший, Дима), пропавшему без вести под Бахмутом в конце апреля 2023 года.

Начало 2023 года. Писатель (пака) с женой Мирой (мака) на перекладных едут из Батуми через Тбилиси — Кишинёв в Киев, чтобы повидаться с сыном Микой, которого они не видели с начала войны, когда он записался в международный добровольческий батальон и остался в Украине. Сын — тридцатитрёхлетний учёный-историк и этнограф, до этого объездивший полмира в научных экспедициях, должен на сей раз отправиться в экспедицию прямо противоположного толка — военную — в составе своего батальона в сторону Славянска. Откуда уже не вернётся.

Несколько дней, проведённых с сыном в разговорах на самые разные темы, от воспоминаний о его детстве и юности — до философских споров о предназначении человека на земле, о свободе, чести и морали, и даже о мироустройстве, приводит отца к парадоксальному, на первый взгляд — но только на первый — итогу:

«Господи. Да мы, по-моему, никогда и ничего толком не знали о нём».

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

1

И в родительский наш день узнали мы немного.

О, эти странные, часто совсем или почти пустые улицы Города, насквозь продутые февральским ветром, расписанные граффити и заклеенные плакатами. Вот — стандартный трафарет: «Вступай в АКС». В аббревиатуру не слишком удачно вписан АКМ.

— Что это — АКС?

— Праваки. «Авангард культурна спілка» — «Авангард культурный союз».

— И что в нём культурного?

— Весной двадцать первого они залили красной краской стену с портретом Манделы на Большой Васильковской.

— Там, где мы жили в двадцатом году? Где костёл Святого Николая?

— Точно-точно. Они и видео у себя в Теле разместили — мажут стенку и мечут листовки. Довольно тупые. Вопрос — «А кто такой Нельсон Мандела?» Ответ — «людоед».

— Ну-ну. То есть всё из-за того, что он чёрный?

— Типа. Они такие дела называют культурными акциями. Тусят в «Казацком доме».

— А идеи?

— Ха! «Революционный традиционализм». Блин, дугинцы местного розлива.

На стене сияет масляным отливом огромная чёрная буква «А» в неровном круге. Под ней — крест-накрест перечёркнутый розовый феминистский символ — круг с крестом, и пояснение-надпись: «без баб».

— Что — дюже мужики-шовинисты лютуют?

— Да хер же его знает, кто, где, чего и почему рисует? Мало ли в Городе людей с борщом в голове? Может, только чуть меньше, чем везде...

— А ваших активистов?

— Вообще — довольно много. На Город несколько сот. Но все раскиданы по малым группам. Хотя на открытых акциях и в Революционном киноклубе тусим обычно вместе.

На кирпичной стене рядом с аляповатой рекламой — чёрно-белый лист. На белом — танковая башня с пулемётом, два весёлых друга — экипаж машины боевой в шлемах и тактических очках на лбу. И девиз —

«Герои не вмирають!». Клок бумаги с напечатанным «не» вырван — но «не» вписано маркером.

Чуть дальше — полотнище с мечом, двумя автоматами и призывом: «Мобілізація! Захисти націю від московських окупантів! Ставай до лав добровольців!»

— Ну, это — понятно.

На исходе улицы я оглядываюсь и вижу в её начале — там, откуда мы идём — большое здание, задрапированное чем-то тёмным с огромной белой надписью: МАРИУПОЛЬ.

А повернувшись прямо — небольшую вывеску «Ярослава».

Я её читаю как «Ярославна».

— Это что — та, что в Путивле? Или — королева Франции?

— Думаю — и не та, и не так. Место называется «Ярослава». А улица — Ярославив вал. Здесь когда-то была городская стена. Князем Ярославом вроде бы построенная.

Мимо, не спеша, следует патруль в чёрной и, как мне кажется, тёмно-синей форме. На головах — шлемы в чехлах. На ремнях — автоматы стволами вниз.

Смотрю вопросительно. Он поясняет:

— Национальная гвардия.

Невзначай просыпается мелкий снежок. Переходим дорогу. Входим в «Ярославу». В чисто промытой витрине умилительно по-домашнему зеленеют цветочки в горшочках. Там и сям расставлены-развешаны намёки на героизм витязей прежних веков. Люди за прилавками не скучают — похоже, здешние пирожки и впрямь популярны.

— Что здесь хорошо? — говорит он. — Пирожки и тебе подойдут, и мне. Я же ем и с яйцом, и с капустой. А ты бери какие хочешь. Здесь их небедно.

И впрямь... Беру себе с мясом, с судаком, с луком и яйцом. И рыбу фиш. Не самую настоящую, конечно, а так — белый фарш, аккуратно вложенный в гляцевую, как казачий сапог, рыбью кожу. Да и фарш явно не щучий, а подаренный мне рыбой неведомой породы. Но — вкусный. Особенно — с хреном и под водку.

Водки берём мало — ровно столько, чтоб подзарядиться, но не расслабиться. До конца прогулки ещё далеко.

— Слушай, а почему на стенах часто нет названий улиц и номеров домов?

— Ха! Здесь, когда в самом начале казалось, что путинские войдут в Город, кто-то почему-то решил, что их можно сбить с толку, сняв

с домов номера и названия магистралей. Ну и волонтеры-активисты миглом принялись за дело — поسدёргивали это всё. А куда дели — неясно. Так и остались дома без номеров, улицы — без имени. Но это — ничего. Приезжих нынче мало. А местные и так всё знают. Кстати, и GPS исправно всё показывает...

По Ярославову валу — мимо удивительной арки Дома актёра и сказочного Приюта рыцаря барона Штейнгеля с розовой башней, стрельчатыми окнами и парой угрюмых горгулий, держащих игривый эркер, доходим до Золотых ворот. И через сквер, где несмотря на зиму, девушка в перчатках с полуотрезанными «пальцами», играет и поёт что-то из «Бум-бокса», проходим дальше — на Крещенскую. И сворачиваем к Реке.

2

Это — налево. На той стороне — шпалеры полуголых каштанов, знаменитые здешние сталинки, магазин «Всі. Свої». Витрины мировых брендов. В одной — манекены взрослых и детей в ярких зимних куртках и шапках на фоне жёлто-синего полотнища, слева — надпись: «У смилivosti два колори!», а слева: «Be Brave Like Ukraine!»

— Вообще, если взять такую нелюбимую тобой отрасль, как брендинг, то этот девиз — мощное достижение. Думаю, те, кто его придумал, заслужили всеобщее признание и преклонение профессионалов. Возможно, эти слова — на века. Как «Анархия — мать порядка!»

— Допустим, ты прав. Но главное, чтобы их правильно понимали. Ясно, что «Be Brave!..» — специально придумали для международной кампании. И, допустим, она успешна. И даже очень успешна. А про анархию — это ведь фраза Прудона, выдернутая не только из его книги «Решение социального вопроса», но и из контекста.

— А контекст какой?

— 1848 года. Контекст необъятной перемены. В Европе, кроме Расае — везде революции. И Прудон толкует, прежде всего, о будущей республике. Тогда ведь во Франции опять свергают короля. Кажется — Луи-Филиппа. Вот он и предлагает одну из, как ему кажется, возможных опций: «Республика есть позитивная анархия... Взаимная свобода... Которая — не дочь, а мать порядка!» То есть — желанные гражданские свободы, учит Прудон — не следствие созданного революцией политического устройства, а его основа.

И фразу эту — «анархия — мать порядка» — одни повторяли, не понимая, как попки, трактуя чуть ли не как «всё дозволено», а другие —

к примеру, большевики — боялись и высмеивали, мол, придут анархисты и устроят вам порядочек ряженных громил.

А ведь означает она идею о том, что человеческие отношения и системы, созданные для удовлетворения всяких там интересов и потребностей, можно строить не на привычной логике купи — продай: труд, интеллект, продукцию, инструмент и навык, а на принципах искренности, человечности, добровольности, равноправия, взаимопонимания и солидарности. Что мы можем уважать и понимать друг друга. И не только из прекраснодушия или воспитания, а потому, что *так* всем *удобней*. Удобней жить!

— Ну а как быть с другим девизом — «никакой власти — никому!»? Ведь власть — то есть power — это энергия, способность делать что-либо! Лишать её людей — утопия. Причём не красивая, как некоторые другие, а пустая. И ненужная.

— А ты здесь смотри не на власть-*power*, а на власть-*authority*. То есть девиз этот — не про ненужность власти-энергии или власти-умения, или власти-способности желать и делать что-либо. Он про полное избавление от власти-угнетения и унижения, от власти-контроля и подавления — то есть от власти произвола собственника и вооружённого авторитета — государства. Про то, что лучше жить на благо всех не под угрозой насилия и уголовного преследования, а ради общего благополучия.

Он бодро, как на митинге, машет руками. Они покраснели от холода.

— То есть, анархию, как способ самоорганизации, самоуправления и коммуникации нужно сделать матерью будущего общественного порядка.

Хорошо излагает. Но я — особый случай. Уж давно всё это знаю. А вот убедительно ли звучат его слова для других — его ровесников, ребят моложе?.. Их ли это язык? Нужно ли им это? Ох, не знаю. Но, может быть — ещё узнаю?

— Спасибо за лекцию, — улыбаюсь я и хлопаю его по плечу. — Надеюсь перчатки.

3

Проходим под огромной яркой вывеской BRAND OUTLET. SALE. 70% — ЗНИЖКИ.

Рядом — та же вывеска поменьше. Перед нами уличный стенд в виде здоровенной почтовой марки. На ней — расколотые на куски Спасская

башня, мавзолей Ленина и зубчатая стена Кремля среди дыма и огня — реклама выставки «Инфоспротив».

Над подъездом мэрии — огромный чёрный постер. На нём — алое сердце, сросшееся с руинами завода — трубы, разбитые цеха и над ними — жёлто-синий флаг. Справа от него — текст: очень крупно — AZOVSTAL, шрифт поменьше — Free Mariupol Defenders — «Освободите защитников Мариуполя».

В окне кофейни — фото усатого бойца и надпись: «Полк Азов. Ша-стун Ігор. „Маяк“».

А вот и Майдан. Мика ведёт меня к маленькому памятнику — стела, фото очень сосредоточенного молодого парня. К нему приткнуты две гвоздички — чёрная и красная.

— Мой друг. Сергей Кемский. — говорит он. — Здесь погиб во время Майдана. Снайпер.

— Откуда?

— Не знаю. Я за компом своим бегал. В Дом профсоюзов. Успел унести до пожара.

Вот он — отстроенный заново Дом. Прекрасно помню его в две тысячи семнадцатом — укрытым просторным полотнищем с двухэтажной надписью «Freedom is Our Religion!» над разбитыми цепями среди синего неба в белых облаках.

Надпись казалась слишком пафосной. Сейчас её нет. Но и того ощущения нет. А свобода, похоже, и впрямь — их религия. Или — одна из.

Смотрю на обелиск.

И пропадаю. Внезапный, непередаваемо дикий ужас приковывает, приваривает, приклеивает, прижимает ступни к граниту мостовой. Я не могу шевелиться. Чую, как холодею. Превращаюсь в лёд.

Мика видит: что-то не так. Быстро лезет ко мне за пазуху, достаёт фляжку, свинчивает крышку и льёт мне в рот виски. Делать нечего. Глотаю. Виски тёплый. Потихоньку оттаиваю.

Глотаю ещё. Шевелю пальцами. Сперва рук. Потом ног. Поворачиваюсь к нему. Поднимаю правую руку. Снимаю очки. Пытаюсь вздохнуть. Получается. Лево́й опираюсь на него. Ещё глоток. Оживление продолжается.

— Это что такое? — говорит он неожиданно учительским голосом. — Ты меня не пугай.

— Не знаю. Похоже — ужас. Мне ещё никогда не было так страшно.

— А теперь? Отпускает?

— Наверное. Постоим ещё чуть-чуть. И пойдём уже.

— Нам наверх — по Михайловской. Давай-ка не спеша. А я-то почему-то решил, у тебя, не дай Бог, что-то с сердцем.

Слова «не дай Бог» звучат в его устах странно. Да и сам он непривычный. Почти весь.

Прячу фляжку. Идём по Михайловской. И вновь видим уличный стенд. Фото. Лицо в профиль. Суровое. «Примаченко Володимир Васильович — командир 7-й роты, 242-го батальону ТРО. 21.03.1965–05.06.1922. Подпишите петицию о присвоении почётного звания Героя. Посмертно».

Слева на углу остаётся ирландский паб «O'Brians». Напротив него — трафарет: «Будь трезвым и опасным»; рядом с текстом — зачёркнутая рюмка и вполне впечатляющий кастет. А чуть выше по улице — великая мудрость: «Бережёного Бог бережёт».

И — поворот к Златоглавому собору.

У выхода на площадь — капонир, сложенный из бетонных блоков, укрытых сетью маскировки.

— Это с первых дней осталось. Сейчас уже очень мало где. Большинство таких укрытий разобрали.

На площади — памятник, защищённый мешками с песком и ещё какими-то приспособлениями — с виду надёжными. А у самого собора — сожжённая техника. Танк Т-80, самоходка и прочие огромные машинищи, созданные для разрушения и истребления. Буквы Z и V на них исчезли. Но стволы обугленных орудий направлены прямо на нас. Или — чуть ниже. И тут на одно проклятое мгновение я чувствую себя тем и там, кем и где никогда не был. Солдатом в поле. Вот он я — на бескрайней земле-матушке, живой, тёплый, мыслящий, созданный для любви и счастья человек. И по ней, родимой на меня прёт, урча, воняя, гремя, эта дикая мёртвая дрянь.

И тут я вижу: по горелым разбитым машинам лазают дети. Кто-то снимает их. А кто-то — себя на их фоне. И тогда я понимаю, что мне нужно сказать.

4

— Знаешь. Если с тобой что-то случится... Не хочу, не могу говорить — что... Если это случится, мы с мамой погибнем. Нас не станет. Понимаешь?

Мы уже дома. Снова сидим в гостиной. И снова с Крещатика ноет тревога. Я пытаюсь... А что я пытаюсь сделать?..

— А ты не находишь, — он говорит очень уверенно, очень спокойно, — что это дико — связывать всю свою жизнь — бытие человека, личности! — с кем-то одним? Ставить её в зависимость от него? Пусть даже и очень для тебя важного. Так нельзя!

— А ты не находишь, — я стараюсь говорить так же уверенно и спокойно, — что есть ситуации, возникающие помимо нашей воли? Эта — именно такая.

— Ты программируешь мою пришитость к вам. Несамостоятельность. Зависимость. Подчинённость. Ты отводишь мне в жизни тёпленькую подстилочку маленькой домашней свинки. Ми-ми-ми...

— Нет. Я пытаюсь уберечь себя и маму, — говорю я прямо. Скажи я, что хочу уберечь его, он бы засмеялся.

— Пака, — отвечает он, чуть подумав. — Я — взрослый человек. Мне тридцать три года. Я сейчас делаю, может быть, единственное по-настоящему важное, большое дело своей жизни. Я впервые в полной мере живу в полном согласии с тем, во что верю. Это — самое важное, что со мной случилось в жизни.

«Какая-то дикая сцена из старого советского кино, — думаю я, — из фильма, ну, скажем, про народовольцев. Юноша из хорошей семьи уходит в подполье и объясняет ретрограду-отцу, почему „так надо“». Хочу усмехнуться. Но не усмехаюсь. Не тот момент. Надо быть не снисходительным, а убедительным.

— Но ты не только взрослый. Ты ещё и умный. Ты учёный. Ты можешь следовать тому, во что веришь, занимаясь наукой. Зачем для этого зона боёв? Хватит и Лозаннского университета. Или — Карлова.

Разделение труда никто не отменял! У разных людей разное предназначение. Разное дело. И ему надлежит следовать. Кому-то — бегать по лесам с железяками. Тебе — изучать, творить, просвещать.

— Те, кто бегает по лесам с железяками — творят историю. Защищают высшую правду. Свободу. Звучит высокопарно? Пусть. Ведь это — так. И ты это знаешь. И хочешь принудить меня отказаться от того, во что я верю, и заставить жить пусто. Бессмысленно.

— Я хочу уберечь тебя. Защитить. Хочу спасти маму от вечной нестерпимой боли. Ты представляешь, как это нам — всегда бояться за тебя?

— Нечего за меня бояться, — он смотрел мне прямо в лицо твёрдо и ясно. — Я старательно и виртуозно избегаю всех опасностей. Будь уверен. Обещаю.

На это мне остаётся только крепко зажмуриться. И отвернуться к окну.

Сейчас Лена — хозяйка той милой квартиры, что наискосок от Кирхи, говоря с Мирой, плачет в телефонную трубку: Господи, за что еврейский мальчик бился в этой стране?!

Его друзья — не плачут. Они знают. Но, увы, не могут сказать. Так, чтоб мы поняли.

Так, чтоб это было ясно до конца. Вечер. Тепло. Мы сидим на траве. На одной из гор Города. Под нами — Нижний Город и Река. За ней — почти до горизонта — простирается жилое и рабочее пространство. И уже на самом его краю — темнеющем востоке — угадывается полоска леса. Оттуда мы не раз приезжали сюда на маршrutaх.

На траве перед нами — скатерть, водка, пиво, пирожки, другая закуска. Кто-то курит. Рядом — за аккуратной изгородью — молодой дубок, посаженный друзьями в честь моего сына. Он намного меньше аккуратной изгороди, которой обнесён. Надпись на ней всё разъясняет проходящим. Он невероятно тонок. Нежен. Слаб. У него — пять листов. И ясно видно: это — дуб. Я физически чувствую, как он тянется ввысь. Каждый день — на чуть-чуть. Когда придёт жара — его станут каждый день поливать и укрывать. А когда морозы — кутать. Мне каждый месяц шлют его снимки.

Мы поднимаем пластиковые стаканчики. Чокаемся. Потому что пропавших без вести — не поминают. И потому что мученики — не умирают. Так принято в курдской традиции. И воспринято моими собеседниками, из которых трое приехали с фронта и скоро уедут туда.

— Он ушёл воевать за свободу, — говорит крепыш с ником Вадим — бритый череп, умные глаза, руки в мозолях. — И за себя. За своё я. За уважение к себе. Думаю, он и вообразить не мог, что вот он — с нами, а себя не уважает. А если б не пошёл — не уважал бы.

— Тогда — 24–26 февраля — очень многие ринулись записываться кто куда. На взводе. Нервы у всех натянутые. Мало кто что-то толком знал и понимал. А что такое особое надо понимать, если ясно: на нас напали, нас убивают, бомбят, идут бои, к нам едут танки. Понимать, вроде, и нечего. Так что люди шли за оружием на эмоциях.

А Леший — с полным и отчётливым пониманием что делать. Будто сам и всё давно решил — и про себя, и для себя, — рассказывает стройная девушка с ником Джейн и рыжей копной невероятно пышных пушистых волос.

— Да. Когда другие только говорили, он — уже это делал, — добавляет кто-то.

— От этой его решимости и понимания даже не по себе делалось. Он всегда говорил спокойно, уверенно. И убеждённое спокойствие передавалось нам. Так мы создали наш антиавторитарный взвод. Тогда все жили в каком-то непонятном ожидании неизвестно чего. Это не было оцепенение. Вовсе нет. Наоборот — постоянное интенсивное общение. Попытка найти место, где мы сможем включиться в борьбу. И наконец, мы его нашли.

— Мы не граждане. Поэтому официально нас оформить было трудно. И нас взяли как добровольцев. То есть — без жалования и любых социальных гарантий, — объясняет человек с позывным Макар, прошедший немалый путь и в подполье, и в окопах. — На Изюмское направление. Это Донецкая область. Когда осенью началось наступление, мы пошли на Сватово и Кременную. И дальше штурмовали на том же участке. С начала декабря и по конец февраля бои, в принципе, были почти каждый день. Тогда его в руку и ранило. И он уехал в Город. Там вы и встретились. Это, конечно, большая удача.

Да уж. Пожалуй — самая большая в моей жизни. Как я теперь понимаю.

— Вот его слова: мы не против народа. Мы — против режима, — объясняет высокий парень с ником Молчун. — Язык вражды нельзя направлять на народ как таковой. Солдаты, власти, пропагандисты — это одно. Народ — другое. И мы сражаемся за его свободу. Вот такой интернационалист до последнего. Человек, с которым, как мне казалось, после войны мы будем участвовать в новой общей политической жизни России, Украины, Беларуси.

— Он не был энтузиастом военного дела ради военного дела. — продолжает Макар, — для него важна не оборона от вторжения сама по себе — это, конечно, такой долг гуманизма, — а политическая сторона. Участие в войне должно было служить пользе анархического движения в Украине и всюду в постсоветском пространстве. Он считал, анархистам надо стать узнаваемой силой и в Украине, и в России, и в Курдистане, и везде.

— Однажды — ещё до всех курдистанов и прочего, мы брели ночью по осеннему лесу, намеченному властями к вырубке — выводили из строя строительную технику, — вспоминает белобрысый голубоглазый парень, с виду такой юный, что о нём и не подумаешь, что он — политбеженец, проходивший по делу группы «Народная самооборона». — И одна де-

вушка потеряла кроссовку. Просто наступила на раскисшую землю, и та поглотила её ногу. Ногу вытащили, но обувь осталась в глубине.

А Леший мигом разулся, отдал ей свои кроссовки, надел на ноги пакеты и пошёл.

Я смотрю, спрашиваю: тебе не холодно? Хочешь, поменяемся через какое-то время?

А он: станет невтерпёж — поменяемся. Но так и ходил в пакетах. Такой человек. Повезло девушке.

Я что-то хочу у них спросить, но не помню — что... Девушка, девушка, девушка, девушка... О — вот! Девушка. Одарка.

— А — Одарка?

— Одарка?

— Да. Почему с нами нет Одарки?

— Это — кто?

— Я её не знаю.

— У нас нет её контактов.

— Мы её никогда не видели.

— Но разве он не рассказывал вам о ней? Не знакомил?

Они переглядываются.

— Тебе рассказывал?

— Нет.

— А тебе?

— Да, вроде что-то говорил. Но очень редко.

— С нами он вообще почти не обсуждал личное. Считал: дело — это главное.

Дело. Дело... Вот заладили!

Неужто мы так и не узнаем Одарку? Неужто я не увижу ту, о ком он говорил? И кого я хочу увидеть? Это никуда не годится.

Эти ребята — прекрасны. Но неужто и дальше буду слышать только идейно выдержанные речи, пусть даже полные любви и дружеского чувства?

— Разве редко мы видим тех, кто внезапно меняет свои взгляды и принципы — те, что ещё вчера они могли проповедовать и отстаивать буквально с пеной у рта? — пишет мне девушка с ником Нина, — а вдруг — хоп, и от них отказались. И приняли, и славят уже совсем не то. Или прямо противоположное. Или просто — смолкли и спрятались. В России это называют — «переобуться в прыжке». Он этого не умел. И не умеет. Не хотел. И не хочет. И не будет. И в этом — он нам пример.

До чего ж они, — думаю я, — любят высокий штиль. Вечные придыхания. Приподнятость. Трибунность. Плакатность. Они и личные письма о, возможно, близком человеке пишут будто для митинга. Не умел «переобуваться»... И это — пример? Да я бы, может, счастлив был, если б он умел. И переобулся... Если б слушал меня. А не себя...

Вот бы и мне такой сильный и ясный внутренний голос.

КОНТЕКСТ

Анархические ряды... состояются из отдельных групп и группок, которые ничем организационно и ответственно не связаны и каждая из которых носитя со своим собственным, часто непродуманным анархизмом, по-своему расценивающим и момент, и задачи анархизма. Во всем этом виноваты те, до конца не продуманные основоположниками анархизма философские концепции... Весь их анархический революционизм заключается в проповеди и в толкании трудовых масс на путь революции, но в то же время в отрицании организованного руководства этими массами, в отрицании ответственности, неразрывно связанной с ходом событий и практическим участием в них анархических сил.

«Воспоминания». Нестор Махно

Первейшей задачей является разрушение военной организации махновцев. С этой целью открывается немедленно широкая агитация против махновщины, чтобы подготовить общественное мнение армии и рабочих масс к полной ликвидации «армии Махно».

Приказ № 106, 3 июня 1919 г. Лев Троцкий

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

1

Изрытые воронками поля, из края в край прорезанные окопами, где люди в камуфляже прут сквозь густо чавкающую грязь и карабкаются по мёртвым телам. Лучше, конечно — мимо. Но не всегда получается. Небеса смотрятся в окрашенные кровью лужи, где валяются стреляные гильзы, окурки и всякая рвань.

— Блядь! Похоже здесь хуярит всё — арта, танки, трубы, калаши, с дронов летят гранаты. Просто пиздец.

— А хули ты хочешь? Это — Бахмут.

— Сука. Хоть блиндаж у нас вроде хороший.

— Просто заебательский. Бетон. Несколько накатов брёвен. Сверху дёрн. Хер знает. Может и выдержит, если прилетит.

— Не каркай, пиздобол. Мы с тобой уже сколько раз так сидели? И даже хуже. И что — прилетало?

— Ну сам же знаешь. Если б прилетало — то не сидели б.

— Но, блядь, смотри, рвёт-то каждую минуту. То там. То тут. И хер поймёшь — слева или справа. Трясётся всё. Вон — кружки-миски — всё дрожит. Знаешь, Леший, я всё время заёбываюсь так сидеть подолгу. Начинаю нервничать. Лучше уж выходить и чистить. Вот же хуета какая. Всё уже перепахали. Здесь калаш — как пугач. Пу-пу.

— Подожди ещё. Пу-пу. Как до дела дойдёт — поглядим-послушаем.

— Я тоже заёбываюсь, — говорит вдруг Чиа по-русски и крутит усы. Его сильный акцент делает забористое слово смешным. — Зато, когда они заканчивают, — продолжает он на английском, — меня отпускает.

— Что он говорит, Леший? — Богдан тушит окурочек в консервной банке.

— Говорит, что сейчас его колбасит. А когда долбить закончат — отпустит.

— И что он сюда припёрся? Эй, Чиа, что ты здесь забыл? Тебе там у себя чего не хватало? Переведи ему.

— Богдан, ты достал. Хорош мутить, ты его уже спрашивал. Я переводил. Он отвечал.

— А ты ещё спроси.

Чиа понимает, что говорят о нём и вопросительно смотрит на Лешего.

Леший сидит, оперев локти в лежащий на коленях автомат и, положив подбородок на ладони, грустно улыбаясь, глядит на Богдана.

— Чиа, — говорит он на английском, — парень снова спрашивает, зачем ты приехал.

— Скажи ему, я решил, что нужней здесь, чем в Курдистане. И ещё — у меня есть свободное время.

— Я, мужики, на вас прикалываюсь. Чёрный штатник. Ирландец. Еврей. Сидите здесь в грязище и довольны. И ведь не курите! Ладно б — курили. Так ещё и денег не получаете. Не понимаю. Горилку хоть пьёте?

— Пьём. Но с тех пор, как к вам пришли — ещё ни разу. Только пиво. Когда нас приняли. В Городе, перед отправкой. В «О’Брайенс». На Михайловской.

— Понятное дело. Ирландское место. Понтовое.

— Ну, я вообще-то попроще люблю.

— А до нас где были?

— Под Макеевкой. Под Купянском. В ДШВ.

— Ага. И как там?

— Да как здесь.

Леший вспомнил, как упало его сердце, когда там при выдвижении он увидел первую лесополосу, местами сплошь заваленную трупами. Будто ей решили дать нажраться до отвала. И то, что осталось, валялось среди обглоданных стволов убитых и израненных деревьев. Они торчали под дождём и снегом, голые и чёрные как солдатский страх.

Тогда он решил не смотреть по сторонам. И на пешех переходах. И на броне, когда танки переезжали тела, будто их и нет. Смотреть только вперёд. А ночами на часах в траншее — только свой сектор.

Сюда как раз прибыли ночью. И когда выгружались и бежали к окопам, чтоб скатиться в них, даже глядя под ноги было не миновать чью-то руку, ногу, голову... И так — если б только мог увидеть глаз — от Дубо-Васильевки до Красного, от Часова-Яра до Соледара. А про сам Бахмут и речи нет.

2

— Ну, ты и вспомнил! — улыбается Чиа. — Хорошо мы тогда тяпнули. Ты ещё выпивши родителям звонил. Хорошо бы сейчас пивка.

Леший напрягается.

— Не волнуйся. Вот сменят нас. Отвезут на базу. Там и будет пиво. И своим позвоним.

— Я своим никогда не звоню. Только пишу. Когда были в Рожаве, они вообще не знали, где я. Хорошо, что там со связью было погано. А потом — уже из Эрбиля, когда отмылся и отоспался — я позвонил, сказал, что всё это время тусил в диких местах с гуманитарной миссией ЮНИСЕФ и связи не было. И правильно. Зачем их пугать и заводить. Знаешь, что бы с ними стало, если б я сказал всё как есть? Да они б с ума сошли.

— Та же история.

Леший вспомнил, как они тогда вывалились из «О’Брайенс». Все в прекрасном настроении. И он позвонил маме. И сказал ей, что у него всё прекрасно. И что с послезавтрашнего дня связи не будет. И что волноваться не о чем. Что они едут на восток — везут еду и воду по прифронтовым объектам. И связь там то есть, то нет. В основном — нет.

А она отдала трубку отцу. И тот ему рассказывал что-то смешное. И радовался, что он чуть выпивши и в хорошем настроении. Потому что если выпивши — то точно не в беде.

И он сказал:

— Да какая беда? Я очень внимательно слежу, чтоб ни в какую беду не попасть.

— Береги себя, — попросил отец. И голос у него был такой, будто он улыбался.

— Слышь, Чиа? А что это за имя? Ирландское? Оно что-то значит? Вот я — Богдан. По-нашему это значит «данный Богом». То есть господь Бог меня родителям подарил. Вот он — Дмитро. Это по-древнему значит — пахарь. Леший — понятно. Он сказочник. А Чиа — что?

— Это не имя. А позывной. Ещё с Курдистана. У них это значит — Гора. Они так меня сами прозвали.

— Ну, так ты ж правда большой. Пригибайся получше, когда пойдём.

— А когда пойдём-то?

— Да вроде скоро.

— Мы — пойдём, они — подохнут, — вдруг сказал из своего угла Купер. И повторил:

— мы — пойдём, они — подохнут.

— О, проснулся, морпех. Чай будешь? Я тебе сахару положил.

Богдан протянул Куперу горячую кружку.

— Хлебай.

Купер хлебнул. Богдан откинулся спиной на крытые брезентом ящики.

— Иии-эх! Чудно! — он мотнул белёсой головой, — чёрный. А туда же...

Он снова мотнул головой.

— Но это — хорошо. Ночью на операции отсвечивать не будешь. А мы, пацаны, намажемся.

И — после паузы:

— Эй, слышите? Пока мы болтали — хуярить закончили. Спокойно все. Значит — скоро пойдём.

И впрямь — земная дрожь унялась. Планета, что всё это время дико ныла и тряслась — замерла как бильярдный шар почти на краю лузы, ожидая нового удара. Или — промаха.

— Мы пойдём, они — подохнут, — повторил Купер. И отхлебнул чаю.

3

Но пути оставались земными. Во тьме и тишине людей в траншеях и блиндажах ещё удерживало притяжение. Несла земля. Треснувший мир ещё цеплялся за свою целостность — корнями миллионов деревьев и цветов, подземных тоннелей, глобальных кабелей, железнодорожных путей, параллелей, меридианов, троп и автобанов, цепочек следов, добрых пожеланий и любовных признаний. Пока ещё было чем.

Но уже зудели зуммеры раций. Звучали позывные. Отдавались приказы. Земля готовилась к тому, что нечеловеческая сила снова кинет её под ноги бойцов.

Тех, что угрюмо и молча ждали сигнала.

Они вышли из блиндажей и готовились. Их было мало. Документы и телефоны они оставили. Но кресты и амулеты не сняли. Где-то — за обломками деревьев лесопосадки — что-то сильно горело. Деревня? Село? Супермаркет? В стороне Бахмута взлетали ракеты. Их мертвенный серебряный свет делал тени обрубков деревьев чернее.

Но было тихо.

Ночной апрельский холод пронимал тело, лез под броник и в шлем. Не давал потеть. От него дрожали парни? Или от ожидания? Кто твёрдо стоял на досках, устилавших дно окопа. Кто переминался с ноги на ногу. Кто молчал. Кто что-то шептал. Литургию отслужили на исходных — до выезда на участок.

Чи и Куперу она показалась забавной. Один рос среди католиков. Другой — у баптистов. А Леший службу знал — не зря в юности прошёл пешком и проехал на авто и моторках бескрайний лес от Русского Севера до муромских и ковровских чащоб, куда в прежние годы и чекисты соваться боялись. А после в университете защитил диссер о тайных путях тамошних кромешных жителей и Богу служителей, что в тайных своих храмах молились в лесу кто — Иисусу, а кто — колесу. Поэтому ему не было забавно. Он знал, куда идёт любая людская молитва.

Но одна мысль, как всегда в критический миг, когда ещё можно отказаться и не сделать то, что предстоит и будет смертельно опасно,

не оставляла его: «что я здесь делаю? Зачем тащу на себе этот шлем, этот броник, этот автомат, разгрузку, сырую балаклаву и мокрые от ночной влаги обычно такие лёгкие английские ботсы? Зачем я здесь? Ради кого?»

Разве эта тихая ночь, небо над головой, земля у под ногами и вода, текущая по ней, и огонь, оставленный за дощатой дверью блиндажа — не зовут меня к покою, к маме, к морю?»

Знакомые вопросы. И отвечал он на них как обычно и уже не раз — точно и привычно, ровно и монотонно: «я здесь за тех, кого избивали, пытали и чьих родителей мучали и мучают — за Витю, Игоря, Илью, Амира, Юлю, Толю, Марика, Лизу и сотни других... Я здесь за себя семнадцатилетнего, которому мрази тыкали в веки окурки и грозили бутылкой... За горе всех матерей и отцов мальчиков и девочек, ни за что сидящих в когда-то милой мне стране в тюрьмах и зонах. За убитых и искалеченных здесь прилетевшими оттуда бомбами... За стольких сирот, что я видел всего за год... И за матерей и отцов, потерявших детей. Ни за что ни про что. За погибших в бою родных мне людей — моих друзей. И любимых».

Этот внутренний диалог, а может — мантра, отвлек его от холода и дрожи. Закончив его, он ощутил, как коченеют ноги. Но тут по цепочке людей, стоявших опустив оружие стволом вниз, прошлестел шёпот: пошли. И они пошли.

4

И больше их не видели.
Их голоса не слышали.
И слов от них не получали.

5

В сплетениях адских окопных троп и на пригорках, меж пней и торчащих колыями в небо стволов убитых осин слышались глухие короткие шлепки гранат, будто хлопала дверь пустого подъезда. Длинные очереди с той стороны. Короткие с этой. Вскрики, команды, мат и стоны. Ни «ура!». Ни «а-а-а-а!».

Только выстрелы. И — на миг освещённый ими — частью выгоревший, выкошенный пулями и осколками сухой, прошлогодний ковыль, пучками густо торчащий здесь и там, будто щетина на лице бомжа.

Группа Лешего — добровольцы-новички в батальоне — шла чуть позади. После короткого боя, в котором обошлось без потерь, она вышла на плановый рубеж — заняла перекрёсток разбитых просёлков, идущих через лесополосу, и засела в старых, раздолбанных, непонятно как переживших зиму, окопах. И чего только тут ни валялось. Грязь и песок заляпали раскиданный вокруг мерзкий скарб, тела и лица убитых. Сколько они здесь лежат? Адреналин не уходил. Внимание. Внимание. Внимание. Осталось всего-ничего. Наша задача выполнена. Ждём сигнал на отход.

Впереди Богдан — у излучины трёх траншей — ещё мечет чёрные бульники гранат, не глядя — через брустверы — в ходы сообщения. Куда может добросить. Там — дым и комя. Гранаты подают Серго и Дмитро. А он, закинув за спину М-16 — знай швыряет. Молча. Мерно. Уверенно. Был кто-нибудь в тех ходах или нет — теперь никто не скажет. Вроде, стреляли оттуда из подствольника. Так что он метал и метал. Пока гранаты не кончились.

Тогда он согнулся и сел на дно окопа. И упёрся руками в глину стенки перед собой. И дуло его автомата лакало талую воду меж досок гнилого настила.

Он шептал: пиздец-пиздец-пиздец.

Потом спросил: ну, как оно?

Ему сказали: заебись.

Впереди группа Скрипача кончала дело. Щёлкали одиночные.

К рассвету всё стихло. За искорёженным частоколом посадки рвалась в куски и рассеивалась тусклая муть. Те, кто ушёл в эту ночь на смерть, были живы. И ждали смены. Вместо них — добровольцев спецназа — на освобождённый участок должна прийти пехота...

Её ждали час. Ждали два. Ждали три.

С той стороны молчали.

А подмога не пришла. Подкрепление не прислали.

Они рухнули в пламя внезапно. Точнее — пламя пало на них. Едва рассвело, на всё — на поля, на ручьи, на кусты, на дороги и руины хат — на всё, что есть между Хромово и Дорогой Жизни — рухнули сотни мин, фугасов, снарядов и гранат с дронов.

А мы в это время спали. И подснежники стояли как белые свечи в сиреневой вазе.

Так и шли наши дни — от звонка до звонка. От его звонка или эсэмески нам и нашего — ему. Поговорили, прочли — и слава Богу. И хорошо. И легко на душе. И невдомёк, что вот — положил ты трубку, а через се-

кунду... Да мало ли что может случиться через секунду? Всё равно вот сейчас в душе покой.

Люди говорят об интуиции. Про сердце матери, что чувствует беду... Мира спокойно спала. Как и я.

Спали долго. Был Светлый четверг. Двадцатое апреля. День подснежника. Ровно месяц с моего дня рождения. Мира тихо спала. А я встал. Недолго смотрел на её очень красивое, очень спокойное, отрешённое, безмятежное лицо. Вышел на террасу. Глянул на горы. Снег растаял совсем. Я сидел в кресле-качалке. Смотрел на сосны и море. И тут зазвонил телефон.

КОНТЕКСТ

Времена — что ни день — становятся серьёзнее. И так, не в том вопрос, будет или не будет революция, а в том: будет ли исход её мирный или кровавый? Свобода неделима: нельзя отсечь её часть, не убив целиком... <...> Свобода в государстве есть ложь.

«Исповедь». Михаил Бакунин

Финбар и ещё двое добровольцев из разных стран сражались за жизненно важную дорогу в Бахмут... Они попали под шквальный огонь, унёсший много жизней. Всю следующую неделю семья Кафферки жила в тревоге, но с надеждой. Уже бывало — Финбар исчезал на несколько дней или недель чтобы внезапно появиться в другом городе или стране. В 2017-м он не сказал семье, что едет в Сирию, где шла кровавая гражданская война. Там он вступил в отряд YPG — левого курдского ополчения, наступавшего на Исламское государство. Его брат узнал, что он там, увидев в Сети видео с Чиа в курдском шарфе и с «Калашиниковым».

The Irish Times. «Жизнь и гибель ирландского добровольца в Украине». 15 июля 2023 г.

26-летний ветеран морской пехоты США погиб на окраине Бахмута, помогая жителям избежать кровавой бойни. Купер «Харрис» Эндрюс (Кливленд, Огайо), был убит взрывом 19 апреля, сообщила CNN его мать Уиллоу Эндрюс. Эндрюс работал в антиавторитарном коллективе «Комитет Сопротивления».

The New York Post. «Ветеран морской пехоты Купер „Харрис“ Эндрюс, волонтер в Украине, погиб под Бахмутом, эвакуируя мирных жителей». 1 мая 2023 г.

БОЛЬ

1

Я не умею этого объяснить. Ни себе, ни вам. Как какой-то миг может разделить жизнь. На ту, что была. И ту, что осталась.

Друг из Женевы спросил:

— Когда ты в последний раз говорил с сыном?

— Позавчера.

— Так. Мне написал один мужик... Я его мало знаю... Поэтому отвечать за его слова не могу... Сейчас перешлю тебе... Осторожно с этим.

09:05 Не могу полностью доверять. Бывает всякое.

09:25 Но вот что пришло.

09:25 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у Вас есть номер папы Димы?

09:25 Я не знаю, как это сказать. Товарищи из Киева сообщают, что он погиб. Информация пока не на 100% проверена, но близко к тому. Сегодня будут выяснять до конца.

Я не могу и не буду писать, как показал это Мире. Что она сказала. И что было потом.

А во второй половине дня пришло от тех ребят.

— Завтра в Город приедет девушка, которая была с ним в одной части. У неё можно будет что-то выяснить. Сегодня только сообщили, что тела забрать не удалось. Информация неполная, вроде как его подразделение продвигалось в лесопосадке, захватило опорный пункт на дороге на Хромово, но пока ожидали поддержку, их накрыли артиллерией...

Я много лет знал: в этом мире кроме меня, живущего в моём теле, есть ещё одна — бесконечно любимая и драгоценная — частица меня.

Пусть она уже давно где-то далеко. Где-то там... Но это знание делало мир надёжным и добрым местом для жизни. Это не значит, что в нём нет невзгод и бед. Но все они случались и исчезали, оставив лишь смутный осадок. Или горечь, что приходит и уходит. А ты живёшь, слегка сожалея, что вот надо же как не к месту вспомнил вот это вот тяжёлое-ненужное.

И вот я вижу: все эти прежние, когда-то пережитые обиды и беды — чушь. Есть одна беда. Навсегда. Горе, что навсегда с тобой.

Самое страшное время — утро. Миг пробуждения. Открытия глаз. Ужаса. Мгновенной мысли: я вижу мир, где нет его. И хочу кричать. И молчу. Невыносимо.

Закрываю глаза. Море шумит. Как всегда. Открываю. Мира спит. Слава Богу. Она ещё не здесь. И лицо её нежно, спокойно.

На шкафчике у кровати — чёрно-красный шарф. Тот, что я когда-то привёз из Иерусалима как бы в обмен на его пёструю курдскую куфию и шаровары. Шарф либертарных левых мира. Этот шарф нам вернули в Городе его друзья. Вместе с другими его вещами.

Я смотрю на него долго. И думаю. О том, что очень жаль, что мне дано думать. Знать. Ощущать. Кое-что понимать...

Вот он — я. Лежу. Сижу. Хожу. Надеваю какие-то вещи. Открываю какие-то двери. Говорю какие-то слова. Пью какие-то жидкости и таблетки. Даже ем. Значит — выносимо? Ведь иначе б я сдох. Пропал. Не вынес бы.

Утро — время памяти. Но что бы ни вспоминалось — радость или печаль, откуда ни возмись и не спросясь, в неё входят слова *уже никогда*. И хочу завыть. Но не вою. Нельзя будить Миру.

Вой её испугает. Любимый, невероятно близкий человек, боль и мука которого мне неведома и, видимо, недоступна. Хотя я чувствую — она страшнее моей.

Потому что это мука его мамы. А у мамы всё не так. Я не знаю и не узнаю — как. Но чувствую — большее.

И я всё-таки вою. Но молча. Внутри. Это разрывает меня. Хорошо, если льётся слезами. Я научился плакать беззвучно. Чтобы не видеть, как плачет, проснувшись, она. Я этого не хочу. Я обнимаю её. И вот мы лежим. Сидим. Идём. Обнявшись и держась за руки.

Но каждый наш шаг — в Бат-Яме, Тель-Авиве, Яффо, Иерусалиме, Париже, Женеве, Берне, Праге, Афинах, Берлине, Хельсинки, Балтиморе, Вашингтоне... И в Тегеране, Сулеймании, Иrbиле, окажись мы вдруг там, и много где ещё — полит слезами. Видимыми и невидимыми.

И это тяжело — идти по слезам. Потому что когда-то там прошёл он. Или мы — вместе с ним. И видеть эти места теперь можно только сквозь горькую пелену.

Насколько у меня хватит сил?

Когда в одной прекрасной книге величавый и мудрый дух тьмы спросил, чего желает Маргарита, она взмолилась:

— Прикажите не подавать платок.

Я тихо молю свет:

— Прикажите убрать это море.

В нём мы вместе купались. Вместе им любовались.

Велите стереть эти улицы и дороги — мы ходили по ним. Пусть стихнут птицы — мы вместе слушали их, просыпаясь в лесу. И падут деревья — он их обнимал малышом. Пусть истлеют книги — мы их обсуждали. Замрут вокзалы и поезда — на них мы встречались, прощались и разъезжались. Всесильный, вели убрать всё. Потому что всё говорит о нём. И это нестерпимо.

Я не могу смотреть на его фотографии. Потому что вместо лица вижу слепящий свет, до того невыносимо яркий, что из глаз текут слёзы. Они омывают мир. Но он не становится чище. *What a wonderful world...* — пел чёрный трубач. *What a wonderful life...* — пел белый красавчик. Да. Они удивительны. Удивительны жестокостью, несправедливостью и болью.

— Лучше б мы сдались, а он остался жив, — шепчет мне в Городе, рыдая...

Нет. Нет. Вы не сдались. И теперь не можете сдаться. Потому что — ну как же тогда? Зачем его мечта? За что его кровь?

Прикажите убрать это всё.

Потому что чёрно-красный платок — не убрать.

3

И снова — утро. И я снова смотрю на жену. Её веки едва подрагивают. Лицо отрешённо и безмятежно. Волосы разметались. Руки спрятаны в одеяло. Я люблю, когда она спит. А не сидит за столом у окна с телефоном, ожидая звонка Мики. А он не звонит.

Я часто встаю раньше неё. Стараясь двигаться бесшумно, одеваю и люблюсь ею. Мира — удивительная красавица. Как-то в четырнадцатом году профессор Буниятова, увидев её в кафе на Крещенской, привстала с места, шепча «Господи, какая красота...»

Впрочем, и ей, и мне о ней это говорили не раз.

Вот и я люблюсь.

Если море не шумит — слушаю тишину. А если шумит — ровный голос волн. Море не убрали. И слышно его хорошо — от нашего деревенского дома и сада до пляжа двадцать шагов. Порой по утрам, рано-ра-

но, когда там вообще никого нет — даже рыбаков — я сажусь на берегу и звоню Мике.

Жаль, что я не могу говорить с ним — эта связь устроена так, что он не слышит меня. Только я его. Говорит он как всегда — спокойно и внятно. И никогда не рассказывает, как оно всё — там у них. А просто — разные добрые слова. А заканчивает всегда одинаково:

— Не беспокойтесь за меня, любимые. Мы скоро увидимся.

Он нас жалеет. Он хороший человек.

* * *

Сквозь бордовые, неплотно закрытые шторы светится утро. Или — уже день? Я лежу в постели. Уже один. В тепле. И он — один. На ледяной навеки земле. С глазами, открытыми Небесам. Взывая о правде, свободе и добре. Раскинув руки. Защищая Землю от зла.

Как с этим жить мне? Не знаю.

4

...Милый Батум. Ни один сантиметр его улиц не полит моими слезами. Не так — другие места, по которым шагали мы рядом. Каждое — это вешка моей, нашей жизни. Жизни, когда наш Мика был с нами.

Поэтому, когда я вижу Акрополь — рыдаю. Ведь мы вместе обошли и его, и кварталы под ним. Я тогда спутал время встречи, и Мира с Микой прождали меня битый час. В итоге мы опоздали на музейную гору, но не расстроились и не поссорились, а пили вино на скале месте с пёстрым пиплом, тусующим в летней Греции.

Я рыдаю, проходя сквозь парижский квартал Марэ и площадь Вогезов — на траве её сквера был наш первый тамошний пикник.

И как сдержать слёзы перед входом в древнюю крепость Нарикала? Где он скакал с лестницы на стену. Со стены — на ещё большую стену. И вдруг скрылся из глаз за каким-то утёсом или обломком башни. Но вскоре так же неожиданно вынырнул, уж и не знаю даже откуда. А ведь там же кругом — обрывы. Пропasti даже.

И увидев в Праге храм Святого Николая, я закрываю глаза. И у стадиона «Виктория» на Жижкове. И в пивной «У выстреленного ока». И на набережной Влтавы.

Мы стояли здесь вместе. А через три дня он летел в Курдистан. В новую экспедицию — на древнюю жаркую землю... Потерянные и вновь открытые древние города... Палатки в пустыне. Караваны верблюдов и джипов.

Курдские базы и лагеря — история, археология, этнология, идеология, гроздя автоматов и подсумков в лавках Сулеймании... Его сбивчивые рассказы о том, как там было, полные внезапных остановок и умолчаний.

Похоже, временами я теряю связь с реальностью.

5

В неё возвращает взрыв. В ночь бьют залпы. «Пэтриоты» рвут летящих на Город нетопырей-«Шахедов» и крылатые ракеты. Небо лопается в диком грохоте. Минута за минутой — пять часов.

Спозаранку — новости:

«Враг атаковал нашу страну ударными дронами „Shahed-136/131“ с северного и южного направлений. Зафиксировано рекордное число пусков — 54. Очередной удар был направлен на военные объекты и критическую инфраструктуру в центральных регионах — всего под обстрелом оккупантов были двенадцать областей, в том числе — Город и область. Здесь уничтожено большинство ударных беспилотников. Обломки дронов повредили несколько зданий, вызвали пожары. Два человека ранены. Один погиб».

Погиб. Простое слово в сводке новостей.

А был ему сорок один год. Моложе меня. На двадцать лет. Работал на АЗС. Спешил со смены к жене и детишкам. Его у них отнял чёртов крылатый снаряд. Сколько же скорби вокруг! Проклинаю войну. И тех подонков, что её начали.

Звонит Аня: «У нас на Лукьяновской так гремело!.. Я всю ночь просидела в коридоре — стены там кирпичные. А вокруг — взрывы, сирены, сигнализация завывает, пожарные ревут... Нас осаждает зверьё!..»

6

Бабушка шлёт в WhatsApp: «С Днём Святого Николая Чудотворца! Пусть невзгоды растворятся, все печали прочь умчатся, нас заступник оградит от напастей, бед, обид!»

И святитель с телефонной иконы глядит благосклонно.

Когда утром я прошу Бога о милости, Мира порой спрашивает:

— О чём ты молишься?! Все эти годы, все страшные месяцы мы молились, чтобы Он помиловал, спас, уберёт, защитил его. А Он — не защитил... Так о чём же ты молишься?

— Это тайна. — говорю я. И выхожу.

А молюсь я о том, чтобы Господь вернул его. Лишил меня героя. И вернул любимого.

И ещё, чтоб его бабушка и дедушка никогда не узнали о том, что случилось. И прожили отмеренный им остаток дней в благополучном неведении и душевном мире, дарованном им Богом, вручаемом каждый новый день вместе с жизнью.

Святой Никола! Огради их от напастей, бед, обид.

Но знание о Мике — не обида. Оно — горе, которое их убьёт. Уничтожит. Я этого не хочу. И молю святителя: огради.

На иконке в телефоне у тебя чуть удивлённое, строгое, но доброе лицо. Огради.

7

Вагон метро качается. Рядом со мной две малолетки в ярких футболках и шортиках.

Вдруг они быстро встают, уступая место. Молодой солдат в новой форме с маленьким жёлто-синим шевроном на рукаве. Садясь, он с видимым немалым усилием опирается на блестящий костыль. Ему помогает малютка-девушка в белом ситцевом платице в голубой цветочек. Её волосы собраны в большой русый хвост. Носик вздёрнут. На лице — блаженство.

Милый её, любимый её здесь — с ней. Ранен, может — покалечен, но жив! Жив! Рядом.

Кепи солдата у него на коленях. Девочка нежно гладит его по бритой голове.

Он очень красив. Сосредоточенное, отрешённое лицо.

Что я думаю в этот миг? Страшно сказать.

И что мне с этим делать? Беспощадный железный кулачок монотонно вновь и вновь бьёт в мою картину мира. Хочет расколоть её — картину, где жизнь — не боль. Человек не создан для муки. Он создан для радости. Для безграничного счастья и неудержимого восторга бытия. Но их нет. Почему этот солдат — ранен? Только ранен? Почему?.. Стоп. Дальше — не смей. Что за омерзительные мысли лезут в башку? Как смею я так думать? Меня корёжит острый стыд. Но...

Станция «Университет». Наша. Выходим.

Будет ли когда-нибудь перерыв? Мне не нужны поучения. Мне нужно утешение.

Это очень страшно — думать. И вспоминать.

КОНТЕКСТ

*Андре, убитый в Риге,
Дарио, убитый в Испании,
Борис, чьи раны я бинтовал,
Борис, чьи глаза прикрывал.*

*Давид, мой милый сосед по комнате,
Давид, ты, сам не зная за что,
во французском тихом саду умирал в изумлённой муке:
в двадцатилетней груди — шесть пуль...*

*Карл, чьи ногти я опознал,
когда вы почти уже стали землёй,
вы, с большим вдохновенным лбом,
эх, что сделала с вами смерть!
С чёрной, крепкой человеческой лозой.*

<...>

*И вы, обезглавленные мои братья,
потерявшиеся, непрощённые, истреблённые —
Раймон — виноватые, но не сдавшиеся.*

*О, звёздный дождь во тьме,
созвездие мёртвых братьев!
Я обязан вам чёрной своей тишиной,
своим упорством, своим приятием
всех этих опустевших дней,
и тем, что осталось ещё
от моей гордости за костёр в пустыне.*

*Мы плывём вперёд безрассудно,
курс по Доброй надежде...
Когда твоя очередь? А моя?
Курс по Доброй надежде.*

«Созвездие мёртвых братьев». 1935. Виктор Серж

В ГОСТЯХ У ОГНЯ

1

За окном было солнце, небо, море, птицы, облака. А я кричал в экран ноутбука, руками сгребая слёзы и разбрасывая в стороны, чтоб не падали на клавиатуру.

Одна удивительная женщина — революционер и поэт — однажды написала книгу о тех её любимых, кого она потеряла в пути. О тех, кто погиб. Порой — страшной, чудовищной смертью. И назвала её «Слёзы». Чудо помогло ей облечь слёзы в слова. Мне — нет. То, что я здесь пишу — то небольшое, что осталось от крика.

Почему вспоминать и думать — так тяжело? Тяжелее только просыпаться.

Потому, что мысли рождают вопросы.

— Почему, почему, почему? Почему вот этому солдату так повезло? Так невероятно? Так невозможно? Так удивительно? Почему он только ранен? И отчего у его девушки такое неслыханно счастливое лицо? Лицо счастья ...

* * *

Когда они входят в вагон метро на «Политехнической», две юные халды в минишортиках миглом вспархивают со скамьи, уступая место парню в форме и с блестящей металлической тростью в руке. Он удивительно красив. И руку его держит удивительно прекрасная девушка. У них — счастье.

А мы? Как же мы? Что осталось нам? Только боль? Которая, ненадолго порой притупляясь, вновь и вновь застилает разум и заставляет рыдать...

Маленькая дочь певицы Наталки увидела папу-военного после долгой разлуки — трогательный и милительный ролик в Сети. Я знаю, что должен быть рад за Наталку и её малютку. Но я выключаю ноутбук...

Парень выбрался из горящего танка. Обгорело тридцать процентов тела. Потерял ступню. Несколько пересадок кожи и переливаний крови. Суровый текст. Жестокая судьба.

Но он дышит. Видит. Говорит. Такое бывает — человек встречает смерть, а она идёт стороной. Совсем близко. Но — мимо. Усмехаясь, грозя пальчиком. А наш мальчик? Он — пропал. Никто не знает где он. Закрываю статью про танкиста. Нет сил.

Я уже пытался описать пробуждение. Перечитал, и вижу — мне не хватает слов. Я не в состоянии рассказать, каково это — вновь и вновь входить в мир, где так пусто. До чего это невыносимо. И что я чувствую, когда понимаю, что я-то — вхожу. Как? Зачем? Объяснить не могу. Но вхожу.

Но случайно услышанная из дверей кафе мелодия *What a wonderful world* вызывает судорогу. Ролик *What a wonderful wonderful life* на уличном экране рождает ненависть. Кому они так удивительны — мир и жизнь? Я не в силах видеть множество нарядных, весёлых людей, посреди войны, новостей о смертях и воздушных тревог, радостно гуляющих по Крещенской и Нижнему городу. А их не миновать. И каждый наш шаг по ним полит слезами. И их не остановить.

Они изнуряют. С ними в окружающую пустоту истекают сила, внятность, способность делать. Я не могу контролировать страдание. Часто кажется, что оно — неодолимо. Поэтому я учусь выть молча.

2

Вот грех — сердце не принимает всё то, что вокруг. Ты куда-то идёшь, стоишь, сидишь, лежишь, кому-то звонишь, что-то говоришь, что-то видишь... И что бы ты ни говорил, и что бы ни видел, всё мигом рождает память о нём. И она сгибает тебя пополам. Где болит? Не определить. Может где-то вне?

Вот ты в гостях. И видишь, как они грациозно перелетают с комода на диван — гордость хозяйки — пушистые роскошные коты...

Это — те самые. Что жили когда-то на Йосефталъ в её среднем течении — там, где я люблю эту улицу. Там, где когда-то мы стояли с Лешим. Теперь они живут на улице Герцель. Добрейшая Мириам, уезжая на время, снова пригласила пожить у неё — постеречь зверей.

Огромного чёрного — Байрона-Кокса, теперь он, похоже, стал ещё больше. Мохнатого серого — Шекеля-Гаша, и он, вроде, нынче — пушистей. И снежно-белого — Шимона-Морфия.

Но сейчас его нет. Он ушёл туда, куда уходят все звери, когда настает пора. Но их всё равно трое. Вместо Шимона — юный, чёрный, с белыми пятнами вокруг вечно удивлённых зелёных глаз без зрачков. Днём он задирает двух старших, играет с тряпичной мышью, гоняет по полу бумажный стаканчик, прыгает на электро-рояль, оттуда — на шкаф и обратно. Старшие смотрят снисходительно — ничего, наиграется, перебесится...

Звать его — Черчилль.

Сейчас — в пять утра — они спят. Зато просыпаются птицы. И поют. На все голоса. На заре прохладно. В окно я вижу краешек моря. Я слушаю птиц. Но слышу гул — над нами пролетает самолёт из «Бен Гуриона». А, может — летит туда?

В августе восемнадцатого он прибыл таким же ранним рейсом. Позвонил. Сказал: «Я здесь. Окружён восхитительными евреями. Все процедуры закончил. Скоро приеду».

Дальше — вы знаете.

А я монитору YouTube. И позорная чмара, сидя в телике, вещает, что «Если можно было бы избежать смерти, то конечно, было бы обидно умирать. Но шансов избежать смерти ведь нет. Разница в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет — в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной — вообще небольшая». И с похабной улыбочкой добавляет, что напоминает, что родила трёх детей, добилась в жизни чего хотела, и потому уже не будет так сожалеть.

Что ж. О, как бы я хотел всей душой моей пожелать ей однажды утром узнать, что дочку её Марьяну танк размазал по асфальту. А через недельку — получить эсэмэс с известием: сына вашего Баграта, дорогая теледамочка, в грязном окопе разорвало взрывом мины. А младший — Маро... Рука не поднимается про него написать. Совсем ведь малыш...

О, как я хотел бы этого ей пожелать. Но не стану. А пожелаю ей долгих лет. Что бы там не случилось, пусть она хранит их вещи. Плащик Марьяны. Костюмчик Баграта. Игрушки. Книжки. Снимки. Сколько им? С точки зрения Вселенной — неважно.

3

Четверг. Магазин. Люди катят тележки. Они набиты питьём и снедью. Мы делаем покупки на шабат. Тиньдиленькает телефон.

— Алло. Шалом.

— Шалом. Это Лена — секретарь доктора Верман. Ваши анализы готовы. Доктор зовёт вас. Можете прийти в воскресенье? Во сколько удобно? В пятницу мы не работаем.

Воскресенье — это сразу после нерабочего дня.

— Что-то не так?

— Нет. — Секретарша уверена и спокойна. Так, наверное, говорят с безнадежно больными. — Просто доктор Верман просит вас прийти поскорее.

— Спасибо. Если можно, запишите меня на пять.

На душе тревога. Зачем такая спешка? Вдруг и впрямь что-то не так в моей крови...

Доктора глянули на неё внимательно, увидели в ней мою судьбу и решили сообщить, что я обречён. Мне страшно? Не знаю. Вдруг обойдётся? Ведь она же сказала: «всё в порядке»!

Нет. «Всё в порядке» она не сказала. Просто пригласила: приходите.

Но я-то ведь надеюсь, что всё о'кей. А очевидно — не всё. Ясно же, что там — в глубине моего тела — таится какая-то жуть. Что? Вслушиваюсь. Что болит? Ничего. Только душа. Но я уже умею выть молча. А вслух — только когда один или держу за руку Миру.

Вдруг — откуда ни возьмись — мысль: и хорошо. Хорошо. Чем скорее развязка *здесь*, тем скорее увижу его *там*. Я грешный? Мерзкий? Гнусный в глазах Света? Но Он же милостив. Он — Любовь. Так разве, разлучив нас *здесь*, Он не дарует нам встречу *там*?

Конечно, дарует. И это будет счастье. Неизбывное. Бесконечное.

Стоп. А как же Мира? Разве я могу её оставить? *Тут*? Да как же она один на один, и — вот с *этим* *всем*? Нет. Невозможно. Я обязан, я буду бороться. И побороть недуг, каким бы он ни был. Я не смею. Права не имею. Бросить её одну со *всем* *вот этим*! Нет. Нельзя.

Какая страшная и безжалостная штука — надежда. И тем страшней и безжалостней, чем чаще какие-то наши надежды сбываются. И мы знаем, что сбудутся все. Но это — не так. Я ведь надеюсь, что вновь увижу его. Живым. Пусть нездоровым. Но живым. Я надеюсь. Но — не вижу.

4

Сколько я уже его не видел? Несколько месяцев.

Снотворное срабатывает не сразу. На тумбочке справка от доктора Верман: физически — здоров; только чуть повышен холестерин. В остальном же... Кто-то, кажется Василий Аксёнов в «Ожоге» всерьёз интересовался: «может ли русский (французский, еврейский, халдейский) врач сделать человеку укол от всей его беды?» И правильно интересовался. И я интересуюсь. А мне отвечают: нет.

И всё же рядом со справкой доктора Верман — в эллипсе света от лампы — рецепт на лекарства, которые, как она верит, избавляют от беды частично. Что ж. Посмотрим.

Мира в соседней комнате смотрит новости об обмене боевиков ХА-МАСа на евреев-заложников. *Террористы обвинили Израиль в нарушении договорённостей.*

Но их отпустят. Отпустят. И они вернуться к тем, кто их любит и ждёт.

Самое доброе время — ночь. Люди придумали море пилюль. С ними мы засыпаем быстро. И редко видим сны. Бывает — встаём. Ищем бокал с водой... Порой я, зная, что Мира спит, ощупью иду пить водку. Люди наполнили океан водки. Залейся. Тони. Гаси адреналин.

Не чувствую ни крепости. Ни горечи. Ни опьянения. Спиртное блокирует мысль.

Возвращаюсь в спальню. Ложусь. Слышу и чувствую любимую рядом. На время покидаю ад. И снова — просыпаюсь. Я один в темноте. Слушаю море и ветер. Они — вечно живые — что-то поют и шепчут. А я молю Бога: Господи, я так давно его не видел...

Смилуйся, Господи, вседобрейший и всемогущий и вседержитель... Даруй мне, Господи, счастье — увидеть его. Коснуться его. Пусть — во сне. Поговорить с ним. Хоть немного. Чуть-чуть. Но только это будет добрый сон, Господи. Лёгкий сон, Спаситель.

Я знаю, всё что творится, оно — по изволению Твоему. И каждый волос сосчитан. А эти слёзы? Они — тоже? Те, что текут и текут и никак их не удержать — и они по воле Твоей? Или — от боли моей? Благослови, Господи, сон. Ведь сон — это когда я не здесь.

За окном чуть светает. Там — туман и одинокий клён у мостика. Весь красный. Я сижу в Микиной комнатке с окнами в сад. За его столом. Над его блокнотом. И что-то в нём царапаю ручкой. Наверно — вот это всё. Свет лампы жёлт и мягок. Но уже нестерпим.

Тогда я оставляю рукопись, каждый абзац которой в слезах и крови. А ведь писать мне её всю жизнь. Можно и прерваться. Глотнуть воздуха.

Я иду на террасу. Когда бы и где бы я ни был — она всё та же и такая же, как тогда, когда мы двигали картонных солдатиков по её некрашеным доскам. Боже, как они скрипят...

Открываю дверь в сад. Спускаюсь по мокрым ступеням. Прохожу по дорожке. И — мимо клёна — по мосту. Открываю тяжёлую калитку. Вступаю в лес. Вот они — сосны, что он, смеясь, обнимал четверть века назад. Вот тропа, по которой бежал. Всё как тогда. Лишь кусты намного гуще и непролазней. Но я миную их легко — не задевая.

На самом раннем рассвете лес кажется мглистей и темней, чем днём. И даже — чем ночью. Что ж, пойду во мгле.

Ступая по чуть заметной, усыпанной прелой хвоей, тропе, ухожу всё дальше. Удивительно, свет чуть брезжит. По сути ночь-тьма — а деревья отбрасывают тени. Вот эта — очертание огромного зайца. А та — готической башни. А вон та — красавицы-великанши. Это — их мир. Я иду по нему. И мне не страшно.

Я иду, пока впереди и вдаль не мелькает искра. Крупица огня. Вот. Вот. Снова. Снова. Шаги мои по толстому ковру много лет опавшей здесь листвы едва слышны. Обходя ели, я двигаюсь вперёд — к невидимой за стволами реке. Отсвет чуть правее. Огонь всё ближе. Он невелик. Но ярк.

Выхожу на полянку. На крутой откос. Здесь мы с ним когда-то стреляли по пивным банкам из духового пистолета... Вон та банка — Гитлер. Эта — Сталин...

Слева — над бескрайним полем и лугом на другом берегу на облаках уже слегка янтарятся солнечные блики. Справа — над коротким, но крутым обрывом причудливо сплелись молодой дуб и тонкая сосенка.

А прямо передо мной с толстой веткой в руке он сидит на пне у огня.

И смотрит на меня.

И ворошит угли.

Как же не вяжутся это юное лицо и широко раскрытые навеки изумлённые детские глаза и лёгкие веки с его сединой, короткой густой бородой и старой военной курткой.

— Ну вот. Ты пришёл. Прекрасно.

Он не разжимает губ. Но я слышу голос.

— Привет.

— Привет.

— Я счастлив тебя видеть.

— Я тоже.

— Обнимемся?

— Нет. Мы — по разные стороны огня.

— Да.

— Как ты?

— Жду тебя.

— Как мака?

— Ждёт тебя.

— Завтра приходите вместе. Но лучше — раньше. Повидаемся. Я вернулся в наш лес. Теперь он не одинок. В нём снова есть леший.

Он улыбается. Встаёт. Берёт лежащую рядом, мной сперва не замеченную, мохнатую шапку. Надевает. Машет рукой. Поворачивается. Я вижу: на спине его защитного цвета куртка обгорела и пробита. Под воротом. Под правой лопаткой с самого края. И слева — сразу над поясом. Ну — да, броник...

Тут ветка в его руке оборачивается посохом. А из него с немислимой быстротой растут юные зелёные побеги. Легко опираясь, он, прихрамывая, удаляется по тропе.

Я встаю. Я зову его.

Он оборачивается и приветливо машет рукой.

— Завтра. Завтра. Приходите. Пораньше.

— Я люблю тебя. — обессиленный шепчу я.

— А я — тебя.

И я вспоминаю те пять утра на Лютеранской, когда видел его...

В последний раз? Нет. Я не могу написать: «в последний». Тогда он положил свою тяжёлую зелёную сумку в багажник. И обнял меня. И поцеловал. И сел в машину.

А сейчас — стоит на тропе, вполоборота ко мне. И блики восходящего солнца играют на его лице, как крапинки камуфляжа. И отражаются в детских глазах.

— Ну, конечно, не в последний, — молча улыбаясь, отвечает он на мой немой вопрос. — Конечно. Мы будем видеться часто. Теперь мы вместе всегда.

Но мне пора в лес. Скоро — день. Много дел. А завтра чуть раньше приходи с макой. Приходите ко мне всегда. Я люблю вас. Очень-очень люблю.

5

Когда-то давным-давно в повести «Первый день нового года» Анатолий Гладилин описал ужас прощания женщин с любимыми, идущими на войну. Война для него — это даже не разрушенные улицы и убитый ребёнок на переднем плане. Не только пирамида черепов.

Война — это женщины и дети, бегущие за пароходом, увозящим на фронт новобранцев. Он их видел мальчишкой в Казани — в эвакуации — эти пароходы, увозящие солдат. А теперь его герой — художник — хотел это нарисовать. И не знал — как.

Зелёные деревья, жёлтый песок, разноцветные, маленькие, точно выписанные фигурки женщин? Абстрактный хаос красок, изломан-

ные линии-молнии, символические квадраты — трагический вопль цвета? Асимметричные фигуры, чёрный берег, красная кровавая вода? Огромная тень солдата? Его силуэт, закрывший солнце? Женщина, тщетно догоняющая его маленькую, удаляющуюся фигурку?

Я никогда не видел этих парашутов. А увозащие солдат эшелоны — только в кино.

А теперь вижу отъезжающую машину «Рено». И не знаю, как это описать.

По-моему, у Гладилина вышло очень ярко. Он хотел показать мне ужас. И он показал. Так, что до косточек пробирает. До печёнок. Но сам он никогда его не испытывал. Никого ни на какой фронт не провожал. И я не думал, что его придётся испытать мне. Как говорится — ни сном, ни духом. А — довелось.

Таксист грузит в багажник его зелёную сумку. Мы обнимаемся. Шлёпает дверца. Белый «Рено» катит к большой арке. В ней видны огни Крещатика. Машина скрывается за поворотом. А я возвращаюсь.

Я возвращаюсь — поднимаюсь по щербатым ступеням. Вхожу в тёмный подъезд. Потом — в светлую квартиру. Убираю его тапочки, оставленные у порога. Гашу свет в прихожей, в коридоре, в комнате, что недолго была его спальней. А, может, ещё будет... Хорошая квартира. Надо её снять в следующий раз — когда...

А когда?

Последний раз до этого мы прощались в Париже. В июле 2021-го. На набережной Сены. У входа в метро. На станцию ветки, ведущей в Орли. Тогда никто из нас и думать не думал про февраль две тысячи двадцать проклятого. Мы улыбались. Вокруг галдел весёлый тёплый город. Мы говорили, что скоро увидимся. И — увиделись.

«На позицию девушка провожала бойца...» Эту трогательную песню пели мне бабушка и мама. Она звучала по радио. «Поздней ночью простились на ступеньках крыльца...» И я представлял себе домик — маленький такой, дощатый, с кирпичной трубой и оконцем — и эту девушку очень-очень красивую. Вот она стоит на этих ступеньках и видит, как её любимый уходит, и не знает, что будет с ним, что будет с ними...

А теперь — вот: моя жена в глубине огромной старинной квартиры. А я стою на высоком крыльце. А сын идёт к машине. Уходит от нас. И мы не знаем, что будет...

Как пела Ира Богушевская? «Твой поезд замер во мгле вокзала. Он ждёт и точно помнит маршрут...»? Этот поезд ждёт его. В 6:40 он тро-

нется и пойдёт на какой-то неведомый Славянск. О котором до четырнадцатого года мы и слыхом не слыхивали. И который, несмотря на кошмар, который там творился, до сих пор всё же был для нас лишь топонимом — местом, расположенным невзвездь где средь огромного мира — объектом из сводок. Кружком на карте. А нынче «где-то далеко идёт чужая война...» И теперь она нам не чужая. Теперь она, как и этот Славянск — часть нашей жизни. Личной. С одной стороны — ненадолго. С другой — навсегда.

Невыносимо.

И в этой невыносимости сейчас живут сотни тысяч людей.

Как чудовищно странно устроен человек. Или это только я так устроен? Почему так трудно не позволять себе думать о том, что поезд может не доехать — попасть под ракетный обстрел? Или — под бомбы? Или?.. И вообще — обо всём, что там — дальше...

Но думать нельзя. И не думать нельзя. Чтобы жить.

ЭПИЛОГ

*виденья, миражи, фата-морганы
порой спасают, погрузив в туманы
и непроглядность дымовых завес
от данных в ощущениях реалий,
оторванных голов и гениталий,
и звона в темноте седых небес,*

*и тесноты расстрелянных окопов,
где глад, резня и мор летят галопом,
а вслед хохочет белобрысый бес...
где стол был яств — пылятся урны с прахом.
осталось водку с кровью пить с замахом,
закусывая дёрном и листвой.*

*сгоревший танк чернеет над оврагом.
и возвращает друг пустую флягу.
а по полю бредёт любовь с косою.
любовь — с косою. костяк старухи — с розой.
нет утешенья. только боль. и слёзы.
и в визге ветра — душный крик немой.*

не мой? а чей же? здесь ли путь домой?
 о, я дождусь объятий возвращенья,
 которого неведомы пути.
 не забыв, что Бог даёт мученья
 лишь только те, что можем мы нести...

Январь 2024. Дмитрий Петров (старший)

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Павлович Петров родился в Москве в 1962 году. Журналист, писатель.

Жил в Израиле, Грузии, США, Чехии, Франции, Швейцарии. Автор книг «Василий Аксёнов. Сентиментальное путешествие» (ЭКСМО), «Аксёнов» (серия ЖЗЛ, изд. «Молодая гвардия»), «Джон Кеннеди. Рыжий принц Америки» (АСТ), «Афганские звёзды» — книга, основанная на сотнях интервью с ветеранами трагической советской авантюры 80-х годов, и ряда других.

Сравнительно недавно увидела свет новая работа Дмитрия Петрова — «Соло на судьбе с оркестром. Хроника времён Анатолия Гладилина» (изд. «Рутения»).

В 1980-х—90-х годах работал преподавателем английского языка, в «Учительской газете» и «Комсомольской правде», изучал практики гражданского общества в институте политических исследований Университета Джона Хопкинса (Балтимор, США).

В 2018 г. — стипендиат-исследователь в институте международных проблем Карлова Университета в Праге.

Лауреат нескольких престижных премий.

Антанас ШКЕМА

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ

И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные.

Откровение 10–1

И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.

Откровение 9–3, 4

18 Стена сложена из яшмы, а город — из чистого золота, сравнимого с чистым стеклом.

19 Основания городской стены светятся драгоценными камнями: первое основание украшает яшма, второе сапфир, третье халцедон, четвёртое изумруд,

20 Пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое берилл, девятое топаз, десятое хризопраз, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.

21 Двенадцать ворот — двенадцать жемчужин. Каждые ворота — одна жемчужина. Главная улица города — чистое золото, наподобие прозрачного стекла.

Откровение 21–18, 19, 20, 21

Церковные колокола вызванивают священную мелодию на улице Саут-Гринвуд. Две японки в тёмных платьях юркают в песочного цвета «Dodge». Весенние дни выталкивают листья из ветвистых

деревьев. Мальчишки кидаются блестящими револьверами, и шум дробится на пластины — чистые и прозрачные, как лёд. Пластины раскальваются, колокола не звонят. На 43-й улице, прислонившись к стене, спит пьяный негр, и маленькие девочки прыгают через его длинные и вонючие ноги. Из 4533-го номера выходит старик с негнущейся ногой и волочит её по тротуару, стуча палкой. Краски Мичиганского озера становятся мягче, переливаются, голубеют, спины неподвижных рыбаков — ненастоящие и неживые. Вертя любопытной мордочкой, по асфальту пробегает серая белочка. Дороти Браун сидит у окна в кресле-коляске и ждёт ночи. Волны FM накатывают друг на друга божественным Бахом. Дороти Браун ждёт округлой и густой ночи. Когда она придёт, звёзды не свернутся клубками, как у Ван Гога. Голубые белки мадам Сурваж не наполнятся грустью, как у Модильяни. И архангел Гавриил не посадит Пророка на коня с женской головой, как на персидских миниатюрах. Будет обычная чикагская ночь. И после ночи настанет день. Придёт ужас, холодный, настоящий и обыденный. Он будет называться просто: хроника происшествий в городе Чикаго. Сейчас вечер, и другой стороной улицы пролетает белый голубь.

Обе ноги Дороти Браун обездвижены. Это случилось, когда ей было пять лет и она заболела детским параличом. Теперь Дороти шестнадцать, и у неё самые красивые волосы на всей улице Саут-Гринвуд. И её глаза следят за пролетающими самолётами, за шелестом в вершинах деревьев, за поливающей цветы старушкой в окне дома напротив, и её глаза редко смотрят вниз на тротуар. И когда за сумерками наступает ночь, ей кажется, что холодное оцепенение поднимается от пояса вверх, заставляет затвердевать соски, раскрывает рот и не даёт векам сомкнуться. Если идёт дождь, ей хочется пронизать взглядом облака, если на небе месяц и звёзды, ей хочется увидеть — что там за ними. Дороти не смотрит на улицу, идущие по ней молодые люди машут ей руками, цинично подмигивают и подгибают ноги. В зелёных, синих, красных, серых машинах едут люди с подогнутыми ногами. И только одну неподвижную ногу волочит идущий в столовую старик из 4533-го номера.

Ей хотелось бы любить, так написано в книгах: в шестнадцать лет уже можно любить. И недостаточно обнимать руками, в любви нужны ноги, которые ходят на свидания, с дрожью прижимаются в кино и принимают в себя мужчину. И Дороти думает: она может понравиться разве что мужчине, который видит только её волосы. А у неё самые

красивые волосы на улице Саут-Гринвуд, так выразилась безумная старушка, которая всё время разговаривает сама с собой и считает всех тёмноволосых мужчин китайцами. Мужчина Дороти высоко, он по ту сторону облаков, по ту сторону звёзд и луны.

Вечерний самолёт садится на аэродроме. Белка больше не скачет по тротуару. Старушка сдвигает занавески в окне дома напротив. Две японки возвращаются в песочного цвета «Dodge» и смеются по-японски. Из мясной лавки выходят белые халаты и исчезают в темноте, потому что сумерки уже принесли с собой ночь. С луной, звёздами и соловьём, который поёт в пятидесяти милях. На 43 улице загораются круглые фонари. Тёмные таверны зажигают магические световые надписи: красные, зелёные, синие. В тавернах сидят статуи без голов, потому что их головы плывут в зеркалах, как полые внутри и готовые лопнуть шарики. 43-я улица сверкает драгоценными камнями, а в вышине вспыхивает стеклянное крошево, которое называют звёздными туманностями. Протрезвевший негр сидит рядом с выпившей старухой. Она кругло нарумянила обе щёки. И навела карандашом брови. Она — как вышедший погулять покойник, которому не понравилась загробная жизнь. От старухи воняет застарелым потом. Запах — как от гнилого дупла в дереве. Виски режет металлом горло негра. Виски плавит мозг, и мозг капает на деревянную барную стойку. Он похож на вчерашнюю блевотину, нагретую солнцем. Хозяйка таверны вытирает его тряпкой и оставляет пятно размером с четвертак. Негр возит по нему пальцем, и мозг — как побережье Норвегии. Никелированные клапаны бутылок красивее Млечного Пути, Большой Медведицы, Ориона, тысячи блёсток, которыми украшают себя тёмнокожие девушки. Где-то Бермудские острова. Где-то целуют детей, они пахнут молоком и молодой травой. Кто-то пишет стихи об истекающем кровью сердце. Кто-то застывает с открытым в экстазе ртом у алтаря. Мозг плавится, и хозяйка таверны снова вытирает барную стойку. Негр сжимает кулаки и бьёт ими себя по лбу. «Завтра будет дождь», — говорит кто-то. Дороти Браун смотрит вверх, вытягивает губы трубочкой и легонько дует в небо, и ей кажется, что если она задует луну, а потом звёзды, её золотистые волосы заблестят, как единственный блик на земле, и её мужчина скажет ей несколько слов оттуда. Слова будут совершенно незначительными и очень важными, как у всех влюблённых. По улице проезжает назад тележка с мороженым, её колокольчики звенят, и Дороти наклоняет голову. Из столовой идёт старик. Его нога шаркает, и палка стучит. На

волнах FM заканчивается божественный Бах, и Дороти выключает радио. Наступает настоящая ночь.

Ночью ей снится ангел, облечённый облаком. Радуга над его головой, лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные.

— Завтра ты полетишь к мужчине, — говорит ангел сильным голосом, и на его слова отвечают семь громов.

— Завтра ты полетишь в гостиницу «Morrison».

Голос ангела становится мягче, и Дороти Браун слышит эти слова, будто они звучат по приглушённому радио.

— Ты поднимешься на лифте на пятнадцатый этаж. В 1539-м номере найдёшь мужчину по имени Джо Паркер. Он тебя ждёт, ты любишь его и заставишь его любить тебя, и пусть у тебя получится, ты должна очень захотеть, чтобы у тебя получилось. Настаёт день, и всё будет как всегда, только твоё лицо больше не ищет, ты запускаешь ногти в чужое тело, и твои ноги оживают, слышишь, Дороти Браун, они наконец оживают, твои всё время закутанные в плед ноги, похожие на ростки лежального картофеля.

И когда ангел исчезает, Дороти Браун крепко засыпает и не чувствует, как её уносит в постель мать.

Она просыпается рано и смотрит в потолок, пока мать устраивает её в кресле. И когда мать уходит, Дороти Браун ждёт полёта в гостиницу «Morrison». Сегодня утром небо серое, паутина тумана запуталась в вершинах деревьев, и разрозненные, развившиеся верёвки качаются над подстриженной травой.

— Я могу заблудиться в такой день. С какой скоростью я полечу? Если как самолёт — врежусь в трубу или дом. Если буду лететь высоко — не увижу, где гостиница «Morrison».

Дороти Браун сбрасывает руками шерстяной плед.

— Его зовут Джо Паркер, и я буду любить его настоящими ногами. В 1539-м номере меня ждёт мужчина — Джо Паркер, наверное, я вылечу в окно.

В тумане дребезжит тележка с мороженым, халаты ползут в мясную лавку, старик со стуком идёт на завтрак, и старуха не раздвигает занавески в окне дома напротив, вчера она праздновала день рождения.

Около одиннадцати часов туман сгущается, и Дороти Браун пробивает дрожь, она кашляет и проводит ладонями по волосам, им вредит влажность. В 11 часов 27 минут на шерстяном пледе появляются

складки, выступают округлости колен, и линии бёдер заполняют пустые места. В 11 часов 29 минут Дороти Браун ощущает зуд в пальцах ног, зуд поднимается выше, на секунду прекращается над коленями и внезапно — острой болью отдаётся в бедренных костях. В 11 часов 31 минуту Дороти Браун срывает плед и видит свои живые ноги.

Это настоящие женские ноги. Под розовой кожей извиваются пастьельные жилки. Дороти Браун гладит упругую и тёплую округлость бёдер, дёргает ногтями редкие золотые волоски, и от этого движения возникает приятное покалывание. И тогда она медленно поднимается и встаёт. Её ступни щекочет шершавый ковёр на полу, она, хромая, идёт по комнате, разведя руки в стороны, как акробат по канату, она идёт к платяному шкафу. Там Дороти Браун находит голубое бельё, носки матери, и когда она ощущает прохладу нейлона, её глаза наполняются слезами. Она надевает чёрное платье, надевает чёрные туфли на высоких каблуках, на шею — витую серебряную цепочку и вдевает такие же серьги. Тогда Дороти Браун открывает сумочку, красит губы и видит свои влажные и счастливые глаза в зеркальце из сумочки. Она поправляет волосы и целует стекло зеркальца. В 11 часов 46 минут Дороти Браун запрыгивает на подоконник, бросается вниз и поднимается над улицей Саут-Гринвуд.

Сначала она повисает в тумане и смотрит на своё окно, на своё кресло, на свой платяной шкаф, дверцы которого она оставила приоткрытыми. Это её комната. В ней Дороти Браун пролежала одиннадцать лет, это чужая комната. Тогда она раскидывает руки в стороны, словно плывя, отталкивается ногами и, как ракета, прорезает густой туман, и понемногу её полёт замедляется, и она снова зависает на высоте нескольких ярдов над мокрыми резервуарами для воды неизвестной фабрики. Теперь она остро ощущает влагу, которая проникла через вырез платья и, жаля холодом, обтекла её детские груди. И Дороти Браун хочется плакать от отчаяния, потому что она не знает, в каком направлении нужно лететь к гостинице «Morrison», к мужчине по имени Джо Паркер. И тогда высоко всплывает сверкающий шар, туман расходится в стороны, как театральный занавес, и тут же высятся небоскрёбы даунтауна, и стёкла их окон брызжут сотнями преломлённых солнц. И Дороти Браун радостно раскидывает руки, ныряет вперёд, её золотистые волосы прилегают к голове и мелькают в воздухе, как осколки неизвестного метеорита.

У озера Мичиган деревья брызгаются листьями. Трава покрывает прошлогодние окурки сигарет. Дети играют в бейсбол, их зелёные школьные пиджачки развеваются, и зелень озера простирается до дальних водяных насосов. Сухостойная площадка на перекрёстке улиц Холстед и Ван Бюрен не зазеленеет. Её завалили землёй. На улице Холстед строят мост и сваливают землю на площадку Луиса Смита. Из цеха металлических стульев вынесли деревянные рамы и выбросили. Рамы ломаются легко. Огонь разгорается. В жестянке из-под жира булькает вода.

— Если бы в жестянке бурлил виски! Горячий виски выжег бы нутро. Самый знаменитый в мире виски, которого ещё никто не придумал, — вслух размышляет Луис Смит. Его нижняя губа отвисла, мышцы подбородка больше не поднимают её. У него на лице написана профессия. Как у священника, как у военного, как у проститутки. Третья зима не заморозила его. А двух соседей негров увезла полиция. Потому что у Луиса Смита было четыре пиджака, длинное мусорное пальто и шапка, которую он не снимал три месяца.

— Сегодня солнце — как перемешанное мороженое в аптеке. Почему металл упаковывают в дерево? Уже пришла весна и нужно будет стирать рубашку. Саваоф — хороший Бог, я почитаю Саваофа. Иисус Мария тоже хороший Бог, и я почитаю Иисуса Марию, — вслух размышляет Луис Смит, самый выносливый бездомный на улице Холстед.

Он идёт прочь от костра, у него болит живот. Луис Смит идёт к огромной куче комьев земли на свою площадку. Рядом стоит негр и грузит на велосипед-коляску рваные картонки, их тоже выбрасывают из мастерской.

— Как поживаешь? — спрашивает негр, а Луис Смит молчит.

— Ты пил сегодня утром? — спрашивает негр, а Луис Смит молчит.

— Ты конченный недоумок, — говорит негр, а Луис Смит снимает штаны.

Большое пламя трепещет в небе. Из солнечного диска прорываются лучи, и небоскрёбы сверкают яшмой, и они сверкают сапфиром и халцедоном, и изумрудом, и сардониксом, и сердоликом, и хризолитом, и бериллом, и топазом, и хризопразом, и гиацинтом, и они сверкают аметистом. Луис Смит сидит на корточках у кучи земляных комьев.

— Ой, как ты воняешь, — говорит негр, тащит тележку, и нижняя губа Луиса Смита сильно отвисла. Зелёный трамвай грохочет на север, и зелёный трамвай грохочет на юг. Дешёвый виски, как лезвие бритвы,

режет нутро, трудно выбрасывать полупереваренную еду из ящиков с отходами.

— Когда-нибудь я уеду на зелёном трамвае напрямиком в ад, — громко размышляет Луис Смит.

Ангел велик, как семь заводских труб. Крылья его повисли знамёнами. Он стоит у таверны на углу улицы Ван Бюрен, и люди проходят мимо него. Ангел держит в руке чашу, опрокидывает её, и те, что в светлых костюмах, несут их в чистку. Статуя женщины на высоком небоскрёбе дрожит. Землетрясение в Чикаго? Нет. Земля дрожит в Сан-Сальвадоре. Статуя дрожит, потому что не может упасть. Внизу плоскость под названием земля. Зелёное пятно ползёт на юг. Мойщики окон забираются всё выше. Светлый парень, его шея усыпана веснушками, как на картинах Сёра, моет окна 32-го этажа. Он без страховки, у него не кружится голова. Когда окно домыто, он смотрит наверх, в лицо статуи, и понимает, что её черты он будет помнить вечно. Её черты расходятся в стороны, они растекаются кругами в небе, как спокойная вода, в которую бросили камень. И светлый парень с веснушчатой шеей падает вниз, тридцать два этажа вниз. И не может забыть лица статуи. Несчастный случай. Гигантский ангел съёживается, он мал и юрок, как обезьяна. Он запрыгивает в зелёный трамвай. Статуя женщина не рухнет... Она — не Вавилонская башня.

Дождь идёт двенадцать часов и ещё восемь, а потом ещё двадцать два. Луис Смит стоит на площадке, и его костёр горит. Рамы сухие, как печенье, которое рассыпали дети на элеваторной станции... Рамы выносит из мастерской старик с погасшей сигарой во рту. Вода просачивается через шапку и течёт по лицу Луиса Смита, и течёт по волосатой груди, и исчезает у пупа, потому что воду высушивает огонь. Он как двенадцать жемчужин, как чистое золото, как прозрачное стекло.

— Давайте косить траву, и пусть роса окропит позвоночник. Давайте пойдём на холмы, пока не увидим большие ели. Давайте пить тёплое молоко. Давайте снимем обувь у дверей спальни. Звёзды синие, они жёлтые, звёзды зелёные. Рыбы синие, они жёлтые, рыбы зелёные. На берегу реки лежит сеть, оставим её, пусть ворует, кто хочет. Давайте пойдём в большой город. В Чикаго. По дороге будем пить кока-колу и есть сэндвичи. В Чикаго. Все обиженные идут в Чикаго. «Я бабочка, поцелованная ветром». Жена разорвала на себе платье. Выскользнула

из него и, голая, бегала по берегу с криками. Она не стыдилась, как Ева до грехопадения, и её отвезли в сумасшедший дом.

*Slack your rope, hangs-s-man,
O slack it for a-while;*

*I think I see my father coming,
Riding many-a-mile.*

*(Ослабь свою верёвку, вешатель,
О, ослабь её ненадолго;
Мне кажется, я вижу, как идёт мой отец,
Проскакавший верхом много миль.)*

Он стоит последним. Чтобы не запачкать пассажиров. Когда подъезжает зелёный трамвай, осторожно входит и высыпает кондуктору в ладонь пятнадцать монет по одному центу. Фиолетовыми пальцами берёт талон и садится возле женщины с мальчиком. Старается подтянуть отвисшую губу. Впереди спит старик, открыв рот. Он едет до 72-й улицы, ему можно спать. И на его плече дремлет такая же старая, облезлая, со слезящимися глазами, обезьяна. Мальчик, вжавшийся в материнские колени, тыкает пальцем обезьяне в морду. Обезьяна показывает кривые и обломанные зубы, такие же, как у старика. Зелёный трамвай смеётся. Водитель оборачивается, смотрит на обезьяну и чуть не проскакивает на красный свет в греческом квартале. От резкого торможения все повисают на спинках передних сидений. Мальчик кричит, потому что обезьяна свалилась и залезла под сиденья, и толстая леди, одетая, как флаг Абиссинии, испуганно топает ногами. Старик спит. Канал блестит кофейного цвета водой. И семь труб оборачиваются, как семь Лотовых жён.

Сегодня мои выходные. Я еду в зелёном трамвае. Мне не нужен Саваоф, хотя он и очень важный. Меня не смог бы разговорить сам мэр города, ни демократ, ни республиканец. И я бы не поздоровался с Костелло, самым знаменитым в мире гангстером. Сегодня мы едим стейк с жареной картошкой и горохом. Горох зелёный, как трава у озера Мичиган, горох зелёный, как зелень Теннесси. Проклятый негр украл две картофелины. Вернусь и украду его запас кофе, он закопал его под четвертой кучей земли. Раз в месяц я вижу свою сестру, моюсь в её ванне, ем её еду, пугаю её девочку, она бежит в сад. Так наказал муж

моей сестры, механик, он приносит домой каждую неделю сто зелёных долларов. Моя сестра из Теннесси. Там возле колонн дома стоит тотем. Волк высунул язык. Я устал сидеть, потому что у меня геморрой, потому что мой живот постоянно вздут. Бог мой, почему зелёный цвет важнее всего?

Луис Смит сидит на краю сиденья. Он прикрыл левой рукой отвисшую губу и шепчет себе в ладонь.

Эластично сжимаются пружины, дребезжит натянутая верёвка, и последней заходит розовая девочка, у неё в руках синяя сумочка с золотистыми застёжками. Сумочка — накопленная за два месяца мечта. Девочка легко проходит, покачиваясь, между сиденьями, она садится посередине, и сумочка как бы висит в воздухе на ремешке, удерживаемом кончиками пальцев. Так она не испачкается. Водитель смотрит на часы, он опаздывает на три минуты. Трамвай проезжает три квартала, никто не выходит. Бензовоз заехал на правый рельс, сейчас он свернёт в сторону. Обезьяна вскрикивает пронзительным младенческим голосом, полная леди придавила её. Водитель вздрагивает. И зелёный трамвай наезжает на бензовоз.

Водитель выпрыгивает. Кондуктор выпрыгивает и захлопывает автоматические двери. Через заднее окно выбирается господин в галстук с зажимом в виде турецкого кинжала. Другие окна забраны сеткой, через них не пролезть людям. Огромное пламя пронизывает стенки трамвая. Выскочить больше нельзя. Чистое золото стекает на волосы мальчика, и волосы загораются изумрудом. Мать хватает сына за голову, её живот пронзают сапфир и халцедон, хризолит и сардоникс. Кулак разбивает окна, стёкла сыплются сардием и бериллом. А из скрючивающихся пальцев брызжут яспис, топаз и хризопрас. Потом становится темно, ибо пламя выедаёт глаза, и люди больше не видят гиацинт и аметист. Они сплетаются воедино, как в фигуре старинного вальса, когда ведущий сводил вместе взявшихся за руки танцоров. Двенадцать пассажиров зелёного трамвая, двенадцать обуглившихся и спёкшихся жемчужин. И потом эта масса дымится, как сгоревшие рамы на покрытой сухостоем площадке, где больше нет Луиса Смита. Он спекается вместе со спавшим стариком и девочкой, которая вошла на последней улице. И всё же пожарные находят испачканную сумочку. Обезьяна сидит на четвёртой трубе. Она смеётся и машет пролетающему самолёту. В Санта-Фе.

11 часов 55 минут. Дороти Браун легко спускается вниз, чуть не сбив идущего по тротуару бизнесмена с животиком и в соломенной шляпе.

— Прошу прощения, — говорит Дороти Браун.

— О, вы летаете, наверное, первый раз, — говорит бизнесмен.

— Я иду покупать сорочку с шотландским узором, они в моде в этом году.

У вертящихся дверей стоит старик-швейцар в тёмно-красной ливрее. Одна нога у него в лаковом ботинке, а другая — в стоптанном шлёпанце.

— Вы прибыли в «Morrison», это читается в ваших глазах, мэм, мы сегодня ещё не успели вставить все стёкла, прошу прощения, мэм.

Швейцар поворачивает дверь. В одной из створок, сверкающей медными ручками, действительно не хватает стекла. На цементе — осколки.

— В этом виноват негр, мэм. Он вычистил ручки и не сподобился собрать осколки стекла. Осторожно, смотрите под ноги, мэм. Входите, мэм.

И в 11 часов 57 минут Дороти Браун входит внутрь гостиницы «Morrison».

Огромные часы вмонтированы в стену вестибюля. На них нет стрелок. На полу лежит толстый ковёр. Из его середины вырван кусок неправильной формы, и в этом месте пол закрыт старыми газетами. Пять колонн из искусственного мрамора поддерживают гипсовый потолок. Шестой недостаёт. Поэтому на её месте громоздятся один на другом деревянные ящики из-под молока, и потолок в радиусе двух ярдов опал и провисает. У лифта стоит старая лошадь со слезящимися глазами и мотает головой, но не может отогнать роящихся мух. Дороти Браун встречают менеджер, горничная и мальчик-лифтёр. Других людей в вестибюле нет. Менеджер одет безукоризненно. Тёмно-серый костюм, белая рубашка, чёрный галстук, остроносые ботинки. В руке он держит кнут.

— Я не успел отослать лошадь на пятый этаж, — извиняется он.

Горничная одета в синюю форму, в её глазных впадинах — васильки. Мальчик откашливается и произносит на латыни:

— *Laudate eum in tympano et choro: laudate eum in chordis et organo.**

С прохуdivшегося потолка падают снежинки.

— Мне холодно, я продрогла в тумане, — говорит Дороти Браун.

* Славьте его с тимпаном и в хороводе: на струнах и флейте славьте его

— Мы вам приготовили ванну, — отвечает менеджер и делает знак горничной.

— Она — рядом, — говорит горничная.

— Вы это называете чудесами? — с грустью спрашивает Дороти Браун, глядя на васильки горничной.

— Мне очень жаль, но мы отвечаем только на бытовые вопросы, — кланяется менеджер.

— Поднимите меня в 1539-й номер к мистеру Джо Паркеру.

— Он просил вас принять ванну, — опять кланяется менеджер, поворачивается, входит в кабинет за восковой перегородкой, и Дороти Браун замечает белую меховую заплату на спине его элегантного пиджака.

Она стоит в большом и пустом зале. Все стены увешаны портретами в белых рамах. Дороти Браун всматривается в них и видит: это тот же портрет того же художника. Бескровное, с правильными чертами, лицо аскета, глубоко сидящие серые глаза, они мутны, как воды озера Мичиган после бури, которая давно отшумела. В уголках губ залегли складками усталость и неудовлетворённость. Светлые волосы вьются, и Дороти Браун старается вспомнить — чего недостаёт этому знакомому лицу. Она идёт вдоль стены, и портреты, вздрагивая, проплывают мимо неё. И тогда она бросается бежать, и портреты вздрагивают быстрее, как если бы это была лента немного кино, которая внезапно порвалась.

— У него нет бороды, у него нет мягкой и округлой бороды.

Дороти Браун с криком бежит к окну и срывает кружевные шторы. Шторы лежат у её ног, как безжизненная пена на синем ковре. И ей хочется снова увидеть настоящие небоскрёбы, настоящие рекламные надписи и настоящее солнце. Тридцать три портрета на стене. Она посчитала. В тридцати трёх рамах повторилось усталое лицо аскета.

За окном ночь. Снежинки пролетают мимо газового фонаря, исчезают, и кажется, что фонарь висит в пространстве, и за ним нет домов, и над ним нет неба, и под ним — только снежинки, падающие в бездну.

— Это одна из звёзд Млечного Пути, — говорит мальчик-лифтёр и выключает свет в зале. Теперь Дороти Браун видит мерцающий огонёк в стеклянной четвертинке.

— Тридцать тысяч световых лет, — снова говорит мальчик.

— Она не упадёт? — спрашивает Дороти Браун.

— Тогда я видел звезду, упавшую с неба на землю, и дан ей был ключ от кладезя бездны, — тихо произносит мальчик-лифтёр, и газовый огонёк разгорается раскалённым железом, и стекло лопаётся, и его осколки мешаются со снежинками, и внезапно Дороти Браун оказывается в кромешной темноте, пока мальчик не нажимает на выключатель. Тогда Дороти Браун оборачивается и видит, что посреди зала стоит деревянная лохань и пар от горячей воды клубится над ней.

— Наши ванны не работают. Мы нагрели воды в прачечной, — извиняющимся тоном лепечет горничная. Её глазные впадины затянуты ровной и нежной кожей. Васильки исчезли.

В вестибюле больше нет старой лошади. Седой и благообразный негр тонкой палочкой с лоскутом кожи бьёт мух, сидящих на стене. Мухи падают вниз, и негр ещё наступает на них босой ногой. Горничная одела Дороти Браун в фиолетовый халат и обула в золотые шлёпанцы. Это вся её одежда. В руке она держит сумочку. У мальчика в лифте правый глаз подбит. Он вытирает кровь кружевным платочком, когда Дороти Браун входит в кабину лифта.

— *Laudate eum in tympano*,* — тихо говорит он, нажимая на кнопку, и придвигается к уху Дороти Браун.

— Тот, кто сидит за восковой перегородкой, прибил меня.

— За что?

— Я не имел права объяснять вам значение газового фонаря.

— *Laudate eum in organo*.**

Над дверями лифта загораются цифры. Второй, третий, четвёртый, пятый.

— Пятнадцатый этаж — последний, — заявляет мальчик-лифтёр. Глаз его заплывает.

— Тридцать тысяч лет. Цифры — это компетенция закона.

Он опять жмёт на кнопку, лифт останавливается, двери открываются.

— Теперь вы пойдёте одна и постучите в дверь 1539-го номера. Там вас ждёт мистер Джо Паркер. Вам понравилось летать?

— Очень, — отвечает Дороти Браун, открывает сумочку, находит доллар и вкладывает в руку мальчика.

* Славьте его с тимпаном

** Славьте его на флейте

— Спасибо, — говорит он.

— Я два раза пробовал летать и падал на тротуар, хоть и прикреплял крылья ремнями. Теперь идите. Вас ждёт мистер Джо Паркер.

Коридор длинный и узкий. В коричневую дверь впечатаны жёлтые цифры. Тёмно-красная ковровая дорожка бежит к повороту.

— Он очень простой — пятнадцатый этаж «Morrison». И не изобилует чудесами, — думает Дороти Браун.

Она ступает медленно и ощущает свои молодые и крепкие ноги. Мышцы бёдер напрягаются и расслабляются.

— Неужели в этом здании нет зеркала, в котором я могла бы увидеть себя полностью?

Она шевелит пальцами ног в шлёпанцах, пальцы сухие после мытья.

— Было бы хорошо, если бы в простой гостинице жил простой мистер Джо Паркер.

Когда Дороти Браун оказывается у поворота коридора, открывается одна дверь, и из мелькнувшей спальни с двумя кроватями выходит пожилая пара. Седой мужчина тщательно протирает носовым платком стёкла очков. Дама — облизывает только что накрашенные губы.

— Мы поселились на самом плохом этаже, — говорит она.

Пожилая пара направляется к лифту. За поворотом такой же коридор. 1531, 1533, 1535, 1537... Возле 1539-го номера стоит кресло Дороти Браун, в котором кто-то лежит.

Луис Смит идёт по пустой улице Холстед. Никого нет.

— Я один. Может, даже — во всём Чикаго. Неплохо. Теперь выпью «Seagram 7 crown», его любит даже полиция, — думает он. Таверна «Green Front» открыта. Луис Смит заходит за барную стойку. Пальцами трогает разноцветные бутылки.

— Давайте пить «Seagram 7 crown». Большой глоток из стакана, в который наливается сельтерская. И давайте найдём музыку, слишком тихо сегодня в Чикаго.

Луис Смит открывает кассу, берёт пятицентовую монету и идёт к музыкальному автомату. Он находит пластинку, которую слушал издали, на площади.

*Good night, Irene, good night, Irene,
I see you in my dreams*

*(Доброй ночи, Айрин, доброй ночи, Айрин,
Я вижу тебя в моих снах)*

Пластинка крутится беззвучно. Луис Смит возвращается к барной стойке и смотрит на стакан, наполненный виски. Тогда он поднимает его медленно, под его пальцами прохладное стекло. Впивается губами. Он не чувствует вкуса, словно он выпил воздух, но когда отнимает стакан ото рта, в нём уже нет жёлтой жидкости. Он говорит:

— Сукин сын, сукин сын,— и не слышит своих слов. Он идёт и не слышит своих шагов. Он хватает несколько бутылок с полок и разбивает их. Тихо в таверне.

— Sanctus, sanctus, sanctus,* ты помер, конченный недоумок. Пойдём, куда душа пожелает, весь город наш.

Сквозь развороченные комья пробиваются стебли травы. На небе — грязные тучи. Может, будет дождь. Статуя женщины скрыта туманом. Из мастерской кто-то выбросил новые рамы, но они больше не горят. Луис Смит идёт к четвёртой куче земли и руками раскапывает землю. Находит бумажный пакетик и высыпает кофе.

— Мертвецы мстят жестоко, ты, худосочный негр! Две картофелины — не шутка, ты, чёрная потная вонючка! Ты будешь выть от бешенства, потому что ты слабый, и от кофе у тебя приятно кружится голова. Теперь я найду Саваофа и спрошу кое о чём. Я буду разъезжать на лифтах по всем этажам небоскрёбов. Я исхожу все апартаменты. Как бы мне хотелось закурить сигарету, но она не зажигается, я исчиркал кучу спичек. А может, зелёный трамвай увёз меня в ад? В самый грязный ад в Америке?

Все небоскрёбы пусты. Лифты не работают. Луис Смит исходил милой лестниц. Он оставляет открытыми двери и окна, от сквозняков бумаги разлетаются в воздухе. Они опускаются, как праздничные листовки в день демонстрации. Внизу на земле вечереет. Улицы, таверны и лавки расцветиваются мондриановыми световыми квадратами. В воздухе пахнет сыростью Мичигана. На горизонте стоят белые паруса. В контурах ближних небоскрёбов зажигаются электрические лампочки. В пустых комнатах отдыхают телефоны, кресла, чистые пепельницы. В пустом и беззвучном Чикаго на ступеньках сидит Луис Смит с отвисшей

* Свят, свят, свят

губой, грязными руками, в мусорном пиджаке с драными карманами, на ступеньках сидит самый отвратительный бездомный, ещё сегодня живший на утыканной сухостоем площадке. Так он сидит довольно долго, а потом гнусавит:

— Где Саваоф? Где Иисус Мария? Где чёрт с рогами и хвостом, смоченном в смоле? Звёзды синие, они жёлтые, звёзды зелёные. Рыбы синие, они жёлтые, рыбы зелёные? Моя жена всё ещё кричит? «Я бабочка, поцелованная ветром». Кто станет есть мою рыбу?

*O father, have you brought me gold?
Or have you paid my fee?
Or have you come to see me hanging
On the gallows tree?*

*(О, отец, может, ты принёс мне золота?
А может, ты заплатил выкуп за меня?
А может, ты пришёл посмотреть,
Как я болтаюсь на виселице?)*

И тогда Луис Смит слышит ответ в мозгу:

— Поднимись ещё на один этаж. Зайди в третью комнату справа. Позвони по телефону.

«Мистер Луис Смит» написано на дверном стекле. Он снимает трубку и набирает ноль. Он понимает, что ему отвечает мужской голос.

— Да.

— Кто говорит?

— Джо Паркер.

— Кто вы?

— Информация.

— Соедините меня с Саваофом.

— Вы Луис Смит?

— Да.

— Вы доберётесь до улицы Стейт и спуститесь в метро на станции «Харрисон». По туннелю пойдёте в направлении Рузвельт-Роуд. Счастливого пути, мистер Луис Смит.

Он выходит на улицу Ван Бюрен. В густом тумане над винной красные стрелки догоняют друг друга. То и дело гаснет одна стрелка, то и дело горят все стрелки, и снова загорается одна из них. Автомоби-

ли стоят с зажжёнными фарами. Туман проливается мелким дождём, и Луис Смит поднимает воротник. На улице Стейт бурлеск-шоу Мински вывесило пёстрые флажки разных народов, намокшие изображения полуобнажённых женщин забрызганы грязными каплями. В витрине лавки на углу выложены спортивные рубашки, белые рубашки, шёлковые халаты, перкалевые халаты. Гостиница «New-Leonard» рекламирует чистые номера, и её треснувшие оконные стёкла заклеены крест-накрест бумажными лентами. Зелёными лампочками усеян крест, усыпляющий и блёклый, как зелёный знак метро.

— Это вход на станцию «Харрисон». Давайте обернёмся и посмотрим ещё раз. Зелёный и мокрый чёрт была наша жизнь. Разве зелёный трамвай не увёз меня в ад? Он сторел на знакомой улице Саут-Холстед.

Жар-птица Стравинского пролетает по коридору и оставляет след, подрагивающий шорох касается белого лица Дороти Браун, широко раскрывает глаза, расширяет зрачки, и её пальцы мнут шерстяной плед. Коричневое радио стоит на тёмно-красной ковровой дорожке. Золотая стрелка лежит у самых золотистых шлёпанцев Дороти Браун. Она подвигает стрелку, и жар-птица больше не летит. Дороти Браун лежит в кресле и смотрит на глухую стену, она прямо здесь, за ней воздух и небоскрёбы.

— Её нет дома. Я одна и не могу ходить, — громко кричит она. Потом слушает и улыбается.

— Я вам брошу ключ. Вы поднимитесь на второй этаж, третья дверь слева.

Она вынимает из кармана халата ключ и бросает его вперёд. Ключ ударяется о глухую стену и падает на ковёр. Тогда Дороти Браун поворачивает голову и слушает.

— Пожалуйста, — минуту спустя приглашает она. И после поднимается на руках, но её ноги не слушаются, потому что они парализованы одиннадцать лет. Она быстро поворачивает колёсики кресла и едет прямо на глухую стену. Кресло останавливается внезапно, в ярде от стены. Голова Дороти Браун запрокидывается, мотается в стороны, но тут же она застывает с открытым ртом, и слышно, с каким трудом проходит воздух через ноздри. Дороти Браун поднимает ключ и бросает его лежащей на колени. Потом три раза стучит в дверь 1539-го номера.

— Войдите, — слышит она голос Джо Паркера с той стороны.

Мужчина одет в фиолетовый халат, и вошедшая не удивляется, когда узнаёт его лицо с повторяющихся портретов.

— Там, за дверью, лежу я, — говорит Дороти Браун.

В самом дешёвом номере гостиницы «Morrison» две кровати сдвинуты вместе, на столике стоит телефон, платяной шкаф открыт, и на клеёнчатом кресле раскидана мужская одежда.

— Может, ввезём меня? — спрашивает Дороти Браун, и мужчина смотрит на неё.

— Тебя одели в халат такого же цвета, — говорит он.

— Ты жила на улице Саут-Гринвуд?

— Я живу.

— Ты жила.

Звуки его голоса округлы и монотонны. Он подходит к окну и открывает его. Отвесно вырезанные ступеньки, как кружево сумасшедшего паука, они обрезали доносящиеся с улицы звуки, и звуки громко скользят по выкрашенному масляной краской потолку, вычищенному порошком линолеуму, они лезут под шкаф, под кровати, под столик, как прячущиеся от шагов мыши.

— Я хотела бы мороженого, — просит Дороти Браун.

— Ванильного.

Мужчина снимает телефонную трубку:

— В 1539-й ванильного мороженого.

— На вас только халат? Так, как на мне? — спрашивает Дороти Браун.

Мужчина медленно развязывает пояс, снимает халат и кладёт его на стул. Он стоит в золотых шлёпанцах. Кожа на его теле бледнее, чем на лице. Грудь у него гладкая.

— Вы хорошо сложены, — говорит Дороти Браун.

— Ванильное мороженое, — произносит голос из-за двери.

Они лежат в постели.

— Посмотри, как прекрасны мои ноги! — говорит она и вытягивает правую вверх.

— У меня есть ногти, и они подстрижены.

— Господи! — вскрикивает Дороти Браун.

— Мои ногти покрашены белым лаком.

Она обеими руками хватается пальцы ног и пытается дотянуться до них губами. В уголках её губ ещё заметны капли ванильного мороженого. Мужчина прижимается к ней и языком слизывает кап-

ли. И Дороти Браун перекидывает через него правую ногу и целует в запавшие глаза. И так они лежат долго и неподвижно. Потом мужчина переворачивает её и снова прижимается. Лицо Дороти Браун зарывается в подушку, и её волосы, самые красивые на улице Саут-Гринвуд, разлетаются как костёр на снегу. И так они лежат долго и неподвижно.

5 часов 2 минуты. Дороти Браун опять вспоминает, что за дверью стоит её кресло-коляска. Она садится на край постели, вытягивает свои длинные ноги, забывает о кресле и хочет танцевать. В комнате мало места. Сначала она раскачивается, закинув руки за голову, и её детские груди сливаются с грудной клеткой, оставляя розовые соски. Потом она крутит в воздухе одной ногой, другой, и подпрыгивает вверх, пытаясь достать пальцами вытянутых рук потолок. Но потолок высоко, и Дороти Браун прыгает на месте, как прыгают через верёвочку маленькие девочки на тротуарах Чикаго.

— Вернись ко мне, — зовёт мистер Джо Паркер.

Она садится на край постели, впивается ногтями в его грудь и коротко смотрит в его мутные глаза, на морщины, уходящие вниз, на правильное и бескровное лицо аскета. Тогда она сжимает кулаки и бьёт несколько раз, пока на щеках мистера Джо Паркера не выступают тёмно-красные пятна.

— Где твоя борода, где твоя знаменитая борода? — кричит Дороти Браун и падает на смятую простыню, и эластичные пружины несколько раз подкидывают её изогнутое тело.

— Я читала в книгах, мне рассказывала моя подруга Яне, я знаю, что делают мужчины с девушками! — рыдает Дороти Браун.

— Почему ты не можешь взять меня?

По лестнице поднимается человек. Он останавливается на площадке и взмахивает рукой. Стая голубей, как изрезанное крыло, реет в небе между небоскрёбами и большими перьями рассыпается по земле. Наручные часы тикают в клеёнчатом кресле. 5 часов 34 минуты. Дороти Браун целует губы мужчины. Потом опускается ниже и целует его грудь. Она сворачивается в клубок и закрывает глаза. Сейчас Дороти Браун хочет быть победительницей и побеждённой. Её мечта сбывается, мужчина смотрит на волосы Дороти Браун, они прикрывают бессилие мистера Джо Паркера, красивейшие волосы на улице Саут-Гринвуд. Веки Дороти Браун дрожат, завеса света появляется и вновь

рвётся. И наконец её лицо увлажняется, и режущая боль пронзает её чресла и отзывается в сердце. И тогда Дороти Браун открывает глаза и видит свои искривлённые и тощие ноги в перекрученных синих жилах, это старые знакомые ноги — как ростки на лежалом картофеле. Поэтому живот кажется большим и раздутым, словно у беременной женщины. В 5 часов 44 минуты паралич сковывает верхнюю часть тела, и Дороти Браун больше не может пошевелиться. Из глаз вытекают последние слёзы, человек, поднимающийся по лестнице, встаёт на голову, и под выкрашенным масляной краской потолком проносится стая голубей. В 5 часов 45 минут Дороти Браун с трудом поворачивает голову в ту сторону, где должно находиться лицо мистера Джо Паркера. Серая борода с огромной скоростью удаляется и превращается в круглую точку. В 5 часов 46 минут Дороти Браун теряет зрение. Она больше не чувствует себя в кромешной темноте, но она понимает, что она всё ещё продолжает существовать. И это понимание не исчезает.

Мистер Джо Паркер надевает светло-синий костюм в белую полоску. По телефону он вызывает менеджера. Он плотно закрывает окно. Он выходит в коридор. В кресле-коляске по-прежнему лежит Дороти Браун. Под потолком горит матовая электрическая лампочка, и в зрачках Дороти Браун отражается уменьшенная в несколько раз груша. Мистер Джо Паркер привычным движением пальцев опускает побелевшие веки. Потом ключом умершей он закрывает дверь 1539-го номера. Ключ он кладёт в карман пиджака, достаёт серебряный портсигар и закуривает мятную сигарету «Kool». Менеджер гостиницы «Morrison» по тёмно-красной дорожке приближается к мистеру Джо Паркеру и почтительно останавливается.

— Опрос будет проведён через два часа, — говорит мистер Джо Паркер. — Я скоро позвоню и продиктую подробности. Труп в кресле-коляске найдут в апартаментах за 25 долларов в сутки. 1539-й номер исчезнет. Вы снимете дверь и тщательно замуруете стену. В нише стены установите электрические счётчики. 1539-го номера больше не существует.

И мистер Джо Паркер идёт к лифту. А за ним, отставая на два шага, следует менеджер гостиницы «Morrison», элегантный и услужливый мужчина.

— Он подрался с мальчиком, развозящим молоко, — говорит менеджер, когда мистер Джо Паркер бросает взгляд на подбитый глаз мальчика-лифтёра. В двух зеркалах отражаются три лица. Лифт останавли-

вається на двенадцатом этаже. Он останавливается на одиннадцатом. И на всех последующих. Всё больше лиц отражается в зеркалах. Люди стоят, прижатые друг к другу. Дама с седыми волосами и юношескими бровями резиновой грудью прижата к локтю мистера Джо Паркера. Сверщик счётчиков читает через плечо газету соседа, и от его дыхания шевелятся волосы за ушами у менеджера. Мистер Джо Паркер выходит в переполненный вестибюль гостиницы «Morrison», он ударяет тыльной стороной руки по груди седому благообразному негру, подметающему пол, он смотрит на стрелки настенных часов, на пробегающую горничную, глаза которой как васильки, он говорит старику-швейцару «как поживаешь?» Он идёт мимо колонн из искусственного мрамора, дважды извиняется, задев кого-то, и гипсовый потолок нависает над его головой. Мистер Джо Паркер выходит на гудящую улицу и садится в небесного цвета «DeSoto».

Люди стоят, тесно прижатые друг к другу, в автобусах, трамваях, метро. Они сидят, тесно прижатые друг к другу, в поездах и самолётах, и тесными рядами гудят по шоссе машины. На улице Чермакроуд двое мужчин выносят из аптеки худого человека в обмороке. У него течёт изо рта, из носа, из заднего прохода. Он лежит на тротуаре в окружении тесно стоящих зевак. В маленькой гостинице на улице Стейт танцовщица из второсортного бурлеск-шоу лежит, прижавшись к коммивояжёру из Техаса. Мистер Джо Паркер медленно едет по улицам Чикаго. Он читает рекламу, запоминает мелькающие лица, внимательно следит за сменой красного и зелёного света. Небесно-голубой «DeSoto» выделяется из многих. Над туманным городом с математической точностью летят в чёрном пространстве бесчисленные звёзды. Ни один звук вселенной не вливается в грохот Чикаго. Мистер Джо Паркер курит холодящую его грудь сигарету «Kool», и его спина прижата к больнично-чистому сиденью «DeSoto». По улицам Чикаго едет холодный, как смерть в холодильнике, мистер Джо Паркер.

Луис Смит беззвучно шагает по замусоренному перрону. Конфетные обёртки, окурки сигарет, расплюснутые многими подошвами жевательные резинки разбросаны по цементу.

— Проверь свой вес. Не нужно. Я лёгкий, как покойник.

«Харрисон», остановка поезда в Саут-Бенд. Луис Смит доходит до конца перрона, мягко соскакивает вниз и по туннелю идёт по направ-

лению на Рузвельт-Роуд. Сигнальные лампы медленно проплывают мимо него.

— Совсем близко цель моего путешествия, всего несколько минут. Сейчас будет Рузвельт-Роуд.

Сигнальные лампы медленно проплывают мимо него. У него нет часов, но он воображает, что уже давно должен был прийти до нужной станции. Тогда он пытается остановиться, но ноги несут его вперёд, и он идёт и идёт, идёт и идёт.

— Я никогда не доберусь до Рузвельт-Роуд? Мы никогда не доберёмся до Рузвельт-Роуд?

Высоко живут живые. Хромой и осипший старик продаёт вчерашнюю газету. С Мичигана дует сильный ветер, срывает с мужчин шляпы и задирает платья женщинам. Звуки молодых голосов взлетают вверх как осколки дробимых камней. Над дверьми винной красные стрелки догоняют друг друга. То и дело гаснет одинокая стрелка, то и дело горят все стрелки, и снова загорается одна из них. На высоком небоскрёбе стоит статуя женщины. Она не может упасть. Она — не Вавилонская башня. Луис Смит решительно шагает по шпалам. Он засовывает кулаки в карманы. Воротник его мусорного пальто поднят, и он начинает петь и слышит звук своего голоса. Голос его скрипит как поезд, который только что, не замеченный им, его переехал.

*I have not paid your fee;
But I have come to see you hanging
On the gallows tree.*

*(Я не заплатил выкуп за тебя;
Но я пришёл посмотреть,
Как ты болтаешься на виселице.)*

— Я чихал на Рузвельт-Роуд. На грязную и заплёванную станцию.

На улице Саут-Гринвуд ждёт толпа людей. Посреди стоит пожилая женщина в цветастом платье и плачет. Старик из 4533-го номера хочет выспросить у неё подробности, когда с 43-й улицы на запрещённой скорости подлетает небесного цвета «DeSoto». 6 часов 27 минут. Со звуком разрезаемого металла визжат тормоза, и мистер Джо Паркер выскакивает из кабины. Собравшиеся пропускают его.

- Вы Мери Браун?
- Я, — отвечает пожилая женщина с открытым ртом.
- Пока вы были на работе, из вашей квартиры исчезла ваша дочь Дороти Браун. Она исчезла вместе с креслом-коляской.
- Да, — отвечает Мери Браун.
- Я инспектор полиции, меня зовут Джо Паркер.
- Покажите свою квартиру. Мы попытаемся найти Дороти Браун и её похитителей.

Окно на втором этаже по-прежнему открыто. В пол впечатались следы резиновых колёс. Выспавшаяся старушка раздвигает занавески и вставляет в волосы жёлтую розу, подаренную на день рождения. Сегодня озеро Мичиган серо. Нужно хорошее зрение, чтобы различить в тумане верхушки небоскрёбов. Серая белка сидит в дупле, высунула наружу мордочку и вертит ею без усталости. Белые халаты идут из мясной лавки. В таверне на углу сидит негр и пьёт пиво. У него всего 50 центов в кармане. Шум плывёт кусками разбитого цемента. Туман сгущается, превращаясь в сумерки, и ночь вдруг накатывает как гигантский мяч. Дороти Браун живёт в крошечной темноте в гостинице «Morrison», куда она полетела по зову ангела, облечённого облаком, с радугой над головой, с лицом, как солнце, и ногами, как огненные столпы. Чтобы полюбить мужчину по имени Джо Паркер.

Перевод Анны Глуховой

ОБ АВТОРЕ

Антанас Шкема родился 29 ноября 1910 года в польском городе Лодзь в семье литовского учителя. В Лодзи семья Шкемы проживала вплоть до Первой мировой войны. Затем последовали многократные переезды — им приходилось жить в различных точках России и Украины. Эти воспоминания детства затем найдут богатое воплощение в текстах Шкемы. В 1921 году им удаётся вернуться в уже независимую Литву. Шкема в 1929 году поступает на медицинский факультет Литовского университета, затем переводится на юридический факультет. В 1935 он поступает в театральную студию. Ещё до её окончания Шкема будет принят в труппу Каунасского го-

сударственного театра, где занят практически во всех спектаклях вплоть до 1944 года, а также сам режиссирует постановки.

Не имея никаких иллюзий относительно собственных перспектив в условиях советского режима, в 1944 году Шкема незадолго до вступления Красной армии в Литву бежит на Запад. Пройдя лагеря для перемещённых лиц в Германии, к 1949 году он оказывается в США, где и остаётся жить. Как и многие представители литовской эмиграции, Шкема вынужден зарабатывать на жизнь разнообразным физическим трудом, занимая низкооплачиваемые должности рабочего на фабриках и лифтёра. Именно работник отеля, закрывающий за постояльцами двери лифтов, станет героем его самого значительного текста «Balta drobulė», известного в русском переводе как «Белый саван». Одновременно с этим он продолжает творческую деятельность: играет и ставит спектакли в эмигрантском литовском театре, пишет прозаические тексты, пьесы и критические статьи.

11 августа 1961 года Антанас Шкема погиб в Пенсильвании в автотрагедии.

Будучи одним из наиболее радикальных новаторов литовской литературы XX века, Шкема широко использует модернистские и постмодернистские приёмы и эстетику.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ
ЖИЗНЬ НЕЧАЯННО ПРОДЛИТСЯ

* * *

Мужчина плакал в Николаеве
На улице у остановки.
Лежала перед ним жена его,
Колени подвернув неловко.

Бесформенное тело, кофточка,
Прикрытые случайной тканью.
Облапив голову, на корточках
Качался, трясся от рыданий,

Всё гладил он её, убитую
Осколком русского снаряда.
Был смётан день живою ниткою,
И люди проходили рядом.

Она всего-то шла — до булочной,
Да возвратиться не успела.
И смерть была такою будничной
За ленточкою красно-белой —

До доблести ли ей, до славы ли,
До полицейских в синей форме?
Мужчина плакал в Николаеве
И верить не хотел упорно,

Что не придёт жена, о Господи,
И не поймёт его печали,
И жизнь его рвалась на лоскуты,
И нитки белые трещали.

* * *

Тёплой, вязаной, маленькой —
Вязы, низкие крыши,
Я не видела Марьинки
И уже не увижу.

Ни цветка, ни комарика,
Ни прогалины талой —
Будто варезку, Марьинку
Сапогом растоптали.

Вместо города — серая
Обгорелая каша.
Наши мальчики сделали.
Наши мальчики. Наши.

* * *

Ну, допустим, что не наповал,
Просто ранен. Выживет. Приедет.
— И на сколько ты наубивал? —
Выдохнут завистливо соседи.

Выспится. Повесит на стене
Фоточки — товарищей-двухсотых.
И продолжит убивать во сне.
Лесопилка. Мама. Водка. Отдых.

Дом построит. Приведёт жену.
Сына заведёт. Запьёт, тоскуя.
И опять уедет на войну.
Поскорей. Неважно, на какую.

* * *

Едем-едем да снимаем фоточки —
Похвалиться кто же не готов.
Раскатились черепа да косточки
Украинских городов.

В чистом поле, по рукам да по сердцу —
Не стереть отметки, не отмыть.
Прорастает из глазницы, просится
К свету маленькая сныть.

Едем к речке с травами да ивами,
За своею смертью и чужой,
Слушай, неужели правда скифы мы —
С перемётною душой?

Долго нам ещё катиться кубарем,
Убивая и не дуя в ус,
А свою-то жизнь когда раскупорим
И попробуем на вкус?

Едем-едем, долго или коротко,
Чья рука сюда нас завела?
Как махнём направо — нету города,
Как налево — нет села.

А кому не нравится — на воротах
Брань недолго провисит.
Времени в обрез — пока на воре-то
Шапка Мономаха догорит.

* * *

Сколько их, гонимых, нищих, спившихся,
Не услышавших: «Прощай, сынок!» —
Тупо отменённых, будто ижица,
С выбитой Россией из-под ног

Век назад посыпались — осколками,
Матерясь, кровоточа, пыля.
Русскими — прикинь, Европа, сколькими
Унавожена твоя земля.

Где они — поплакали да померли:
Ладанки да крестики, да хлам.
Неужели, побираясь, по миру
Нескончаемо брести и нам?

Во поле берёзонька — потопали,
Помахав руками из толпы —
От Шанхая до Константинополя
И за Геркулесовы столбы.

Неужели не вернёмся? — Вот они,
Духи гнева гонят нас с утра,
Как кишки,
 выматывая родину —
На кулак железный —
 из нутра.

* * *

Главное теперь — не быть русским с паспортом цвета мяса,
Главное теперь — не помнить, а иначе долго ли до беды —
Где ты гонял на велике, впервые напился и долго мялся,
Прежде чем ей признаться... Ничего не было — и лады.

Главное теперь спать и не видеть заросшей речки,
Узкой тропинки, сбегаящей пояском по бедру,
Рассохшегося крыльца, главное теперь — отречься
Вовремя, не бубнить: если не увижу, умру —

Ёлок, шушукающихся у станции, насмешливого проспекта
В белых перчатках, квадриги, с перепугу взлетевшей на Главный штаб,
Главное теперь понять, что ты — больше не ты, а некто,
За спиной у тебя не пропасть, и глаза не от слёз блестят.

И когда тебя спросят — ты ещё называешь родиной
Это чудище, пожирающее тела, хлюпающее в крови,
Главное, крикнув — нет! — не услышать стук молоточка — продано! —
Убедиться — это просто кузнечик, стрекочущий из травы.

* * *

Всех убийц — перебить поскорее,
Ни малейшей пощады врагу.
Как ты можешь жалеть матерей их —
Говорят.

Отвечаю: могу.

Вдох тяжёлый, отравленный выдох,
Поле с серыми пятнами лиц.
Я жалею несчастных убитых,
Я жалею несчастных убийц.

* * *

Город внизу шевелится — лай собак,
Музыка, плач ребёнка,
Русская речь — но, кажется, это баг
В уличной тонкой

Паутине, натянутой на горе,
В кирпиче, извёстке,
С дождевыми дрожащими каплями фонарей,
Дунешь — и порвётся.

Беженцы, релоканты, перекати-
Поле, границу — коты, младенцы,
Слёзы, очки, чемоданы, компы, хвосты —
В куче и — никуда не деться —

Жизнь пробирается ощупью, как в лесу,
И срывается в темноте мучнистой
На обломок империи, что лежит внизу
И ещё дымится.

* * *

А если я умру на чужбине,
Не говорите моей рябине,

Не говорите лесу вы,
Что ходила по лезвию.

А если я умру под чужим забором
Не причитайте хором,
Не говорите лугу,
Не говорите другу.

А если я умру не дома,
Не говорите липе знакомой,
Не говорите колодцу —
Пусть думает, что дождётся.

* * *

Снег лежит на грузинских горах,
На взъерошенных перьях, на сердце.
Здесь — ходить, перебарывать страх,
На чужих веселиться пирах,
Обживаться на новом насесте.

И подумать мы разве могли,
Что мы всё потеряем, скажи-ка?
Серый пёс копошится в пыли,
На виске у далёкой земли
Вьётся нежная нельская жилка.

Доползти, дотянуться бы к ней
И прижаться губами, да где там.
Неужели навеки в огне
Содрогается мир, и в окне
Бродит ветер по кронам раздетым?

Ну, скажи мне, что это игра —
На дорожку присесть не забыли?
Полетели?

Чернеет Кура,
И нахохлившаяся гора,
Дремлет, плотно сложившая крылья.

* * *

Где ты ходишь в городе без меня
По снулым улицам, обвисяющим брюками без ремня
На краю проснувшегося болота?
Вот желтеет собор, сереет Большой проспект,
Петлями, зигзагами пролетает снег,
Фортелями обкуренного пилота.

Здесь ты шёл ко мне, под окном раздавался свист
Соловья-разбойника, я бежала к зеркалу, а теперь — дивись
На уткнувших носы в светящиеся девайсы,
Наливающих воду в старое решето,
Готовых идти на смерть неизвестно за что,
Убивать неизвестно кого, втянутых пустотой
Лязгающего окрика — к выходу, одевайся!

Походи за меня по городу, одетому в маск-халат,
Выпей лишнюю рюмку, нарежь вместо меня салат,
Косясь на шагающих строем, обритых под ноль салаг,
На бесшабашный дым, рвущийся из котельной,
Прошепчи моими губами — буду жрать баланду и жмых —
Только спаси нас, Верховный, от нас самих,
От свисающей с неба петли смертельной.

* * *

Жизнь нечаянно продлится
Улочкою незнакомой —
Липы зацвели в Тбилиси,
Пахнущие так, как дома —

Не золой, не плачем вдовьим,
Не войною, не бедою.
В этом облаке медовом
Мы обнимемся с тобою —

Сколько бы незваных мёртвых
Во поле, в оградке ржавой,
Сколько б серых километров
Между нами ни лежало.

Запах рая — всё бы литься,
Будто нет огня и скверны.
Липы зацвели в Тбилиси —
От отчаянья, наверно.

ОБ АВТОРЕ

Татьяна Вольтская — поэт, эссеист, автор 17 сборников стихов и двух прозаических книг — «Почти не болит» и «Эффект отсутствия. Из Грузинского блокнота» («Книга Сефер», 2023). Английский перевод (Борис Смирнов) фрагмента из книги «Эффект отсутствия» вошёл в шорт-лист премии журнала *World Literature Today* — *WLT Pushcart Prize* (2023)

В 1990-е годы выступала как критик и публицист, вместе с Владимиром Аллоем и Самуилом Лурье была соредактором петербургского литературного журнала «Постскриптум».

Стихи Татьяны Вольтской переводились на английский, немецкий, французский, иврит и многие другие языки.

Лауреат Пушкинской стипендии (Германия, 1999), премии журнала «Звезда» (2002), Всероссийского конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019) и других премий, дипломант премии «Московский счёт» (2022).

Участница международных поэтических фестивалей в Роттердаме, С.-Петербурге, фестивалей в Афинах, Нью-Йорке и др.

Татьяна Вольтская сотрудничает с радио «Свобода/Свободная Европа».

Она родилась и всю жизнь прожила в Петербурге, но теперь ярлык «иностранный агент» не позволяет ей находиться и работать в России. В апреле 2022 года она вынужденно перебралась в Грузию. Своё нынешнее положение воспринимает как изгнание.

Михаил КОВСАН
УМАЛИШЁННЫЕ!

ЧЕТЫРЁХСТИШНО-ЧЕТЫРЁХЧАСТНАЯ ПОЭМА

Умалишённые всех стран, соединяйтесь!

1. УМАЛИШЁННЫЕ! ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

Умалишённые! Галеры заждались,
Взойдя, возьмите смело вёсла в руки,
Как будто не рабы — друг другу други,
Дружней — начнём заплыв длиною в жизнь.

Умалишённые! Лишившихся ума
Приветствует остатки сохранивший,
От слишком умных их огородивший,
Опасных, как корона и чума.

Умалишённые! Задним умом крепки.
А что передний? Пропили? Прожрали?
А может, умники его у вас украли?
За репку дедка, мышка и — кранты!

Умалишённые! Кто вас ума лишил?
Лишенцы милые, кто вас так осчастливил?
На воду чистую себя тем самым вывел,
Хотя не порешил, гляди, а дело сшил.

Умалишённые! Время сошло на нет,
Закончилось, быть прекратило вовсе.
Что это значит? Закатилось солнце
И больше не взойдёт. Да будет свет!

Умалишённые! Прекрасен наш союз
Уже лишённых с теми, кто в пути лишь
К заветной цели, будем как Поприщин
На поприще испанских муз без уз.

Умалишённые! Всё, что уйдёт — взойдёт,
Не дымом, но стихом четырёхстрочно,
Не прирастая к месту, водосточно,
Ноктюрно, горбя землю, словно крот.

Умалишённые! Кто надоумил вас
На смелое деяние — лишиться,
Сродни, смелее даже, чем зашиться,
И ничего, ни-ни, ну даже квас.

Умалишённые! Вам жутко повезло,
Больше того, вам страшно пофартило
Посередине чумового пира
Не пировать чуме и всем назло.

Умалишённые! И как вам без ума
Живётся? Может, посох и сума
Будут получше?
Или бездумно круче?

Умалишённые! Дожди. Поздний ампир.
Как голо без колонн. Подтянуто и строго.
Подчёркнуто. Казарменно убого
На вкус романтиков, чей век заморосил.

Умалишённые! Мыслительный процесс —
Вещь трудоёмкая и нужная не слишком,
Шурша как мышки, шастают мыслишки,
Одна другой снуёт наперерез.

Умалишённые! Вам дьявольски свезло
От мудрствований ловко увернуться,
Не разумеющими мудрость обернуться:
Разве на дереве растут добро и зло?

Умалишённые! Несчастный кур в ошип
Или во щи попал — такая жалость!
Узреть орда разумная сбежалась,
Как сказано бессмертно: дыр, бул, щыл.

Умалишённые! Ловите мысль, как мышшь,
На сильный запах славы или сыра,
И там, и там сквозят, конечно, дыры,
Но ведь без них убийственная тишь.

Умалишённые! Когда стихом сквозит
Из всех щелей невосполнимой жизни,
И глыбы льдин над головой зависли,
Дымом и серой истоиво разит.

2. УМАЛИШЁННЫЕ! ВЫ ПРИЗВАНЫ НА ПИР

Умалишённые! Лишим ума других,
Чтоб мир принадлежал умалишённым
Братьям по разуму и сёстрам просвещённым,
Им посвятим призывный этот стих!

Умалишённые! Давайте невпопад
Парад устроим, карнавал, без даты,
Горбатые чем рады, тем богаты,
Сбор, как завещано великим: зоосад.

Умалишённые! За разум ум зашёл,
Что-то надолго там он загостился,
И, ясен пень, что там он не постился,
Но, возвратившись, был безумно зол.

Умалишённые! Шекспир, такой чудак,
Сказал, что мир — театр, а люди в нём — актёры,
Братья по разуму, забудем ссоры-споры,
Устроим в цирке до небес спектакль!

Умалишённые! Скучнейший из людей
Развеселит вас шуткой залихватской,
Да не простой — немножечко блаватской,
Себе он на уме, сей добродей.

Умалишённые! Лишили вас ума?
Освободились от его излишка,
С которым человеку точно крышка,
Тюрьма, по крайней мере, и сума.

Умалишённые! Давайте баш на баш:
Вы мне покой, а я вам свой умишко,
Вы недостаток, я вам свой излишек
Умишка. Соглашайтесь. Умник ваш.

Умалишённые! Слепив на посошок
Утешных пару слов, надеюсь, что успешно,
Зафарширую лестью артишок
И приглашу отведать вас неспешно.

Умалишённые! Лишённые ума
Вместо него прозренья обретают
И там, в провиденном, бездумно пребывают,
Жизнь возводя из снов, а из песка дома.

Умалишённые! Вы призваны на пир,
А умники жуют картошку вяло,
Её у них от пуза, но им мало,
Желают ею засадить весь мир.

Умалишённые! Лишённой делюсь
Друг с другом щедро, истинно по-братски,
Над не лишёнными задорно, залихватски
Вы потешаетесь, смеясь, точней — глумясь.

Умалишённые! Самих себя познайте:
Чего, чего, чего там только нет,
Полны загадок тот и этот свет.
Так что, исполнившись терзания, дерзайте!

Умалишённые! Чудить и умирать
Предписывает жизнь нам в одиночку,
Вдвоём (или втроём) с кочки скакать на кочку,
А если больше — лишь в толпе орать.

Умалишённые! Вам парки ткут, любя
Судьбу изящную, изысканно простую.
А вы? Неблагодарно протестуя,
Бежите от неё — да в польмя.

Умалишённые! Зима! Но нет пейзаж,
На дровнях обновляющих хоть что-то.
Строчат стихи? Иль просто неохота,
Иль в воспитании у них такой изъян?

3. УМАЛИШЁННЫЕ! КОНЬ БЛЕД УЖЕ В ПУТИ

Умалишённые! Гоните мысли прочь!
Какого чёрта в голову всё лезут
В различных позах: проза и поэзы,
Прям смех сквозь слёзы: лезут день и ночь.

Умалишённые! Давайте мир спасём
От болей, бед, болезней, безобразий,
Построим новый, плюнем и не взглянем,
В безумном мире будет всё путём.

Умалишённые! Излишне говорить,
Сколь мысли многие нелепы и докучны
И всяким безобразиям созвучны,
Не деньги, чай, начнём ими сорить!

Умалишённые! Никто вас не лишал
Того, чего себя лишили сами.
Сезам, откройся! Что вам в том Сезаме,
Где ни концов не сыщешь, ни начал?

Умалишённые! Усерднейше зело
Вы мыслите, голов не покладая,
И, умыслом изящным обладая,
Творите мысль во благо, не во зло.

Умалишённые! Сойти с ума — куда?
Туда, где вовсе умным быть не нужно,
Лачужка и старушка, где же кружка,
И выпить с горя, снежные крутя.

Умалишённые! Прочистим им мозги,
Тем, кто и зубы по утрам не чистит,
Им, в ясный день не видящим ни зги,
Пересекающим наскоком жизнь со свистом.

Умалишённые! Конь блед уже в пути,
Во тьме летит, разбрызгивая страхи
И созывая головы на плахи,
Люд, здраво мысля, жаждуще глядит.

Умалишённые! Вся троечная рать
Равненья требует и чести отдаванья,
Признанья и коленоприпаданья,
Подошв лобзанья, глаз — не поднимать!

Умалишённые! Лет сколько? Сколько зим?
Лет столько, сколько зим — разве не знали?
А впрочем... Кто их знает... Раз позвали —
Сочтёмся славою: лето-зима, засим...

Умалишённые! Я — странник. Глобус мал.
И потому, чем дале забираюсь,
Тем более в молчанье упираюсь,
Попав то ль на чердак, то ли в подвал.

Умалишённые! Геенна не про вас,
Но и на рай гарантий никаких вам.
Задумались? Ответа нет. Притихли.
Лишь слышен говор звёзд. И то о вас рассказ.

Умалишённые! Лишенья позади,
Теперь никто вас в жизни не догонит.
А в смерти что: холодные ладони
На неподвижной сложены груди.

Умалишённые! Жизнь метко, лихо бьёт
Влёт, насылает бледные обманки,
И корчатся кричащие подранки,
Но это пустяки, до смерти заживёт.

Умалишённые! На всех один окоп,
И вырыт скверно: узок, слишком мелок,
Когда метель метёт, он онемело
Сжимается, чтоб пережить хлопок.

4. УМАЛИШЁННЫЕ! ПОСТАВИМ НА ЗЕРО

Умалишённые! Довольно возглашать,
Что пробил час, что городу быть пусто,
Пора, давно пора, умолкнув, не пищать,
По-императорски выращивать капусту.

Умалишённые! Ужасно узок круг
Уже лишившихся раздумий изобилья,
Восставших против тучных дум засилья,
Расширим круг — входи смелее, друг!

Умалишённые! Поставим на зеро,
Звёздный расклад: назначена удача,
И даже боле: от удачи сдача:
Мечь Арлекину — тише! — от Пьеро.

Умалишённые! Весь прежний пыл — в распыл,
Года, увы, к суровой прозе клонят,
Хоть иногда стихата и трезвонят,
Но колокольчик тоже подостыл.

Умалишённые! Я верный ваш собрат
На вас и на себя гляжу с большой боязнью.
Что ждёт нас впереди? И мятежи, и казни.
Потоп. Зацепится ль ковчег за Арарат?

Умалишённые! Не портьте некролог,
Чтоб было в нём местечко и для лести,
Самоважнейший текст, ломающий контексты,
Жизни итог и вроде бы пролог.

Умалишённые! Лишённой уму
Гордиться нечего, как и его наличьем,
Где истинное кроется величье,
Даже судьба не ведаёт сама.

Умалишённые! Трудов и чистых нег
Недостаёт, на всех их не хватает
Категорически. Весна. Вот-вот растает.
А было! Солнце! Небо! Белый снег!

Умалишённые! Посмертной славы груз,
Как испитое слово, лицемерен,
Весами лихо лживыми отмерен
Пророчески: тройка, семёрка, туз.

Умалишённые! Со временем борьба
Бессмысленна, а значит, неизбежна,
Старинной рифме следуя: гульба —
Пальба, иной раз бережно, другой — слегка небрежно.

Умалишённые! В день, что наступит после
Того, о чём бы лучше промолчать,
Не будет тихо даже на погосте.
Что делать нам останется? Дичать!

Умалишённые! Признаюсь честно, мне
Ваш образ мыслей безусловно странен,
Скажу иначе: несколько туманен,
Как водоросль, что тешится на дне.

Умалишённые! Всё уже узкий круг,
Всё туже узел, ноша тяжелее,
Солнце теплей и ласковей лелеет,
И сказано уже: пора, пора, мой друг.

Умалишённые! Час поздний — время спать,
Час суете в мозгах уж прекратиться,
Остановиться, боле не роиться.
Спокойно спите. Мир вам, благодать.

Умалишённые! Двухдневный наш союз,
Пожалуй, что исчерпан. Хоть братанье,
Похоже, не про нас, но дарованье
Друг другу чувств — залог величья муз.

ОБ АВТОРЕ

Михаил Ковсан родился и вырос в Киеве. Закончил филологический факультет Киевского пединститута. Был старшим научным сотрудником музея книги и книгопечатания Украины.

В 1991 г. репатрировался в Израиль. С 2000 по 2008 г.г. — раввин общины Йовель консервативного движения Израиля.

Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей (русская литература, теория литературы).

Прозаик, поэт. Автор многочисленных публикаций в бумажных и электронных журналах, двух книг прозы и трёх поэтических сборников.

Живёт в Иерусалиме.

Постоянный автор журнала «Времена».

Виктория АМЕЛИНА

СТИХИ О ВОЙНЕ



Виктория Амелина — писатель и общественный деятель, член Украинского ПЕН, лауреат Национальной премии Коронация Слова 2014 года и премии Джозефа Конрада. В 2021 году была номинирована на литературную награду Центральной Европы Angelus.

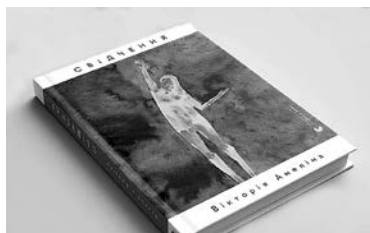
В том же году она организовала и провела первый нью-йоркский литературный фестиваль в одноимённом посёлке Бахмутского района Донецкой области.

Начало полномасштабного российского вооружённого вторжения вызвало обращение Амелиной к поэзии, её стихи вошли в ряд международных антологий. Амелина также сотрудничала с правозащитной организацией *Truth Hounds*, приняв участие, среди прочего, в расследовании похищения писателя Владимира Вакуленко и обнаружении его спрятанного дневника. Также принимала участие в расследовании преступлений российской армии на оккупированных и освобождённых территориях.

27 июня 2023 года Виктория Амелина, сопровождавшая в качестве переводчика и проводника делегацию колумбийских писателей и журналистов (Эктор Абад, Серхио Харамильо, Каталина Гомес), попала под ракетный обстрел в пиццерии RIA Lounge Bar в Краматорске. Она была

доставлена в больницу в Днепре, где через несколько дней скончалась от полученных ран. Ей было всего 37 лет...

Недавно «Издательство Старого Льва» выпустило посмертный сборник стихов Виктории Амелиной. Стихи, вошедшие в сборник, Амелина начала писать



в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Последнее из произведений было написано за несколько дней до её гибели. Составительницей книги стала подруга писательницы, программный директор Львовского международного BookForum София Челяк. Иллюстратором посмертного поэтического сборника Виктории Амелиной — Даниил Мовчан.

Вся прибыль от продажи первого тиража направляется на основанный Викторией Амелиной Нью-Йоркский литературный фестиваль.

ТРИВОГА

Повітряна тривога по всій країні
Так наче щоразу ведуть на розстріл
Усіх
А цілять лише в одного
Переважно в того, хто скраю
Сьогодні не ти, відбій

НЕ ПОЕЗІЯ

Я не пишу поезію
Я прозаїк
Просто реальність війни
з'їдає пунктуацію
зв'язність сюжету
зв'язність
з'їдає
Наче у мову
влучив снаряд

Уламки мови
схожі на поезію
але це не вона

І це теж не вона
Вона в Харкові
Волонтерить

ІСТОРІЯ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ

Коли Міра виходила з дому, взяла намистину з шкатулки
Коли Тім виходив з міста, підняв камінчик на вулиці
Коли Ярка лишала сад, взяла кісточку абрикоси
Коли Віра виходила з дому, то не взяла нічого
скоро я повернусь, сказала
і нічогісінько не взяла
Міра виростила шкатулку із намистини
ростить новий дім в шкатулці
Тім почав нове місто з каменю
Місто схоже на рідне,
тільки моря немає
Ярка посадила кісточку абрикоси
довкола кісточки сад став Ярчин
А Віра
яка не взяла нічого
розказує цю історію
Коли тікаєш із дому,
розповідає
Дім за спиною маліє
щоб вберегтися
Дім обертається
сірим камінчиком
намистиною
кісточкою минулорічної абрикоси
скельцем, що коле долоню усю дорогу
фігуркою Лего
мушлею з Криму
зернятком соняшника
гудзиком з татового мундира
Дім тоді поміщається до кишені
і там він спить
Дім слід витягати з кишені
в безпечному місці
Коли готовий
Дім помалу ростиме

І ти ніколи
запам'ятай, ніколи
не будеш без свого дому
А що ти взяла з собою?
Взяла лише цю історію
про повернення
Ось, витягнула на світло
Вона росте

ВТРАТИ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Цифри втрат нашої армії засекречені
До кінця війни цифр не буде

Буде сусід, чоловік дивачки,
яка саджала червоні квіти
Друг, який нікого не попередив
Викладач, якого ми так любили
Та дівчинка, яка усіх дратувала
Художник, який завжди всім подобався
але здається, любив ту дівчинку

В ім'я державної таємниці
Клянуся, я загиблих не рахуватиму
Не рахуватиму до нестями
І до кінця війни

(Насправді я починала – збилась)

Елена МУДРОВА
А ЗНАЧИТ, Я ЖИВА...

20 марта в Харькове погибла поэтесса Елена Мудрова. В голове не укладывается — как может такое быть? Русская ракета оборвала её жизнь. Мы договаривались о её выступлении в нашем калифорнийском клубе «Интересных встреч», обсуждали формат встречи... Но не довелось... Нет слов. Как всё стремительно: только что были первые шаги, и вот — титры. Смерть Елены — это ведь продолжение традиций предшественников нынешних убийц. Те уничтожали, доводили до самоубийств, за решётку прятали или изгоняли очень многих достойных. Мандельштам, Бабель, Заболоцкий... список можно продолжать бесконечно.

Гореть им, двуногим, человекообразным существам — убийцам, выродам рода человеческого, творившим и творящим зло на Земле в преисподней.

Но сейчас я пишу отклик на стихи Елены Мудровой и не более того. Стихи её — очень хорошие стихи. Глубокие, мудрые, высоко профессиональные. В её стихах можно найти много любви, тепла и света. В них поиски истины и попытки проникнуть за пределы дозволенного умом. Её Поэзия — это видение мира, которое невозможно выразить прозой.



Мы будем жить её стихами, её очень непростым миром. Как-то она сказала: «Мне мешают слова {писать стихи}». Она дышала, она жила ими. Духовная сила, духовность, захлёбывающая сила жизни, чувственная, молодая страсть, спрессованы в её строках до материальности. Её строки могут стать незабудкой в петлицах сражающихся украинцев.

Аркадий Блюмин

* * *

Из дальних далей, с выси ледяной
В пространства, населяемые мной
Зима теперь спускается всё чаще
Затем, чтоб непокорный свет дневной
Включить в режиме, зрение щадящем
На месяц или, может быть, на два.
И я лежу, уставившись на небо,
Как замертво упавшая трава.
Потом упрямо лезу из-под снега
На свет дневной.
А значит, я жива.

ВРЕМЯ — ВОДА

Время — вода, вылитая в песок.
Кто там живёт — с той стороны песка?
Кто там молчит, будто язык отсох,
Выход не отыскав?

Больно бежать с городом на боку,
С ветром в ушах, с небом наперевес.
Как угадать — те, кто за мной бегут,
С ружьями или без?

Больно дышать, только песок вокруг,
Камень лежит — в сердце на самом дне.
Станут пытаться, враг ты нам или друг.
Это не обо мне.

Время — вода. Там, у меня внутри,
Есть кто живой? Может, кого спасут.
Хочешь бежать, под ноги не смотри.
Нет ничего внизу.

СМОТРЮ, КАК ЧЕЛОВЕК ЗАХОДИТ В ДОМ

Смотрю, как человек заходит в дом,
Как свет в траву стекает из-под шторы...
Здесь дело, разумеется, не в том,
Что день прошёл, а ночь ещё не скоро,

Что город мой, залюбленный до дыр,
Заштопывает вечер понемногу,
Что ветер, как собака-поводырь,
Незрячий лист ведёт через дорогу,

Чтобы столкнув нечаянно с пути,
Расстроиться и стихнуть виновато.
Мне тоже не мешало бы дойти —
До тротуара, неба, хоть куда-то.

Прижиться на какой-нибудь звезде
Над городом, не так уже любимым.
И знать, что здесь, и далее — везде
Всему свой дом, и ветер, и чужбина.

БЫЛО ЛИ, НЕТ ЛИ

Было ли, нет ли — больше не повторится...
Снег по дороге сыпал себе навстречу,
Лунной дорожки петли, набранные на спицы,
Медленный свет роняли на зимний вечер.

Через мгновение снег превращался в ливень,
Обувь была тяжёлой, одежда — влажной,
Где-то вдали двоились глаза павлиньи
У светофоров, подмигивающих вальяжно.

Было ли это — дерево ветка к ветке,
Утро, в саду звенящее — птица к птице?
Тело уставшее... Ставшее слишком редким
Желание хоть куда-нибудь возвратиться.

Были ли вечны осени или вёсны,
Сырость и грязь, хроническая простуда?
В уличных мутных речках — воды по вёсла,
Ровно, чтоб взять и на хрен грести отсюда.

Было ли лето? Полночь — одна из многих.
Лунной дорожки петли соскальзывали со спицы...
Света клубки, упавшие мне под ноги
Начинали подпрыгивать и катиться.

Владимир ФРУМКИН
И КАЖЕТСЯ, ЧТО РУССКИХ БОЛЬШЕ
НЕТУ, А ВМЕСТО НИХ ТОЛПА...

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД БУЛАТА ОКУДЖАВЫ (9 мая 1924–12 июня 1997)

1

*Вы — армия перед походом
в преддверии грозных атак.
Отставка вчерашним свободам!
Всё собрано в жёсткий кулак.*

(Булат Окуджава. 1991).

*Нет, не от гриппа или умопомрачения,
не на фронте, не от пули палача —
как обидно умереть от огорчения,
раньше времени растаять как свеча.*

(Булат Окуджава. 1996)

В 1996 году Булат сочинил четверостишие, в котором несколькими словами очерчен конечный вывод о прожитой жизни и о стране, в которой она прошла:

Ничего, что поздняя поверка.
Всё, что заработал, то твоё.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про неё.

Вот такая беда приключилась с ним на склоне лет. Померкла родина. Потускнела. А ведь было время, когда родина виделась Булату во



всём блеске своего державного величия. Он верил ей безоговорочно. Он поверил ей даже тогда, когда она объявила его родителей врагами народа. Булату было 13 лет, когда был расстрелян его отец, а мать на долгие годы исчезла в недрах ГУЛАГа. В 17 лет, когда началась война, он ушёл добровольцем на фронт. Отчасти для того, чтобы его не считали врагом. Булат хотел доказать, что предан родине и готов за неё умереть.

«Я был красным, кондовым, слепым», — признался Булат в беседе со своим другом Эльдаром Рязановым (1994), — «потом это стало постепенно развеиваться под влиянием умных людей. Я увидел, что начинаются новые времена».

Новые времена начались в 1956 году, после XX съезда партии, когда Булату, сыну врагов народа, было разрешено вернуться в Москву. Именно тогда Булат начал сочинять (он говорил — «придумывать») стихи с музыкальным обрамлением). Проще говоря — песни. Вскоре после нашего знакомства (осенью 1967 года) он рассказал мне, как появилась у него самая первая (если не считать «Неистов и упрямя», написанный им в 1946 году, когда он был студентом Тбилисского университета) песня. Он сочинил её на спор с приятелем. Сидел с другом в московской квартире при включённом радио. Играли какой-то советский шлягер середины 50-х, и приятель, поморщившись, заметил, что песня, наверное, обречена быть глупой. Булат возразил, предложил пари и написал нечто такое, что друг был посрамлён. Что это была за песня,

Булат вспомнить не мог. Придётся нам самим вспомнить его ранние песни. Ну, скажем, последний троллейбус:

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
случайный...

(1957)

В «Последнем троллейбусе» меня больше всего удивило и поразило самое начало: «когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье». В той, прежней родине, выдуманной для нас всемогущим и вездесущим государством, советский человек не мог погружаться в отчаяние. Он должен был быть оптимистом до мозга костей. Лишь в годы войны с Германией в песне, поэзии, прозе, кино разрешалось отходить от этого правила. Но — до известных пределов. К примеру, замечательная песня «В землянке» пелась по всей стране, в тылу и на фронте, но исчезла из радио. Почему? Из-за этих строк:

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.

Говоря об умной песне, Булат, вероятно, имел в виду не только высокое качество поэтической речи, но и вызов стереотипам сталинской массовой культуры, превращавшей живого человека в некий манекен, в неунывающего homo soveticus'a, в вечного нестигаемого оптимиста. Вот как вспоминал сам Булат (в предисловии к французскому изданию романа «Бедный Авросимов», YMCA PRESS, 1979) о своём песенном дебюте:

До этого в большом ходу были песни официальные ... холодные, в которых не было судьбы; песни, проникнутые дешёвым бодрячеством (это называлось оптимизмом), примитивными стандартными риторическими мыслями о Москве, о человеке, о родине (это называлось патриотизмом).....

... Я стал петь о том, что волновало меня: о том, что война — это не праздник и не парад, а страшная и нелепая необходимость, что Москва — удивительна; грустна и не всегда счастлива, а мне, московскому муравью, тоже не всегда и не во всём выпадает удача;

что Бумажный Солдатик не всегда, к сожалению, может сделать так, чтобы мир был счастлив... о том, что женщина — это прекрасно...

... Долгое время у нас почти не пели о любви, и в самом слове «женщина» было что-то сомнительное. Из протеста против лживости и пуританского ханжества я решился впервые за много лет воспеть на русском языке женщину как святыню, пасть перед ней на колени...»

Впечатляющая картина. Впечатляет темп прозрения, скорость, с которой поэт освобождался от прежних иллюзий. Бывший «красный, кондовый, слепой» юноша за несколько лет превратился в художника-гуманиста, воспевающего общечеловеческие ценности, которые всё ещё отвергались официальной идеологией и культурой.

В 1969 году в «Песенке о Моцарте» Булат написал несколько слов о некогда обожаемой родине, которые, к счастью, не были замечены цензурой:

Где-нибудь на остановке конечной
Скажем спасибо и этой судьбе,
Но из грехов нашей родины вечной
Не сотворить бы кумира себе.

«Мыслящая интеллигенция», уже слышавшая эту песню благодаря «магнетиздату», удивлялась: как, мол, цензура не заметила крамолы в **«загадочной строфе о грехах Родины вечной?»** (пишет Дмитрий Быков в своей книге об Окуджаве). — «Конечно, о «перегибах» и «ошибках» ещё ритуально вспоминали, но всё неохотнее; сама мысль о том, что у Родины могут быть грехи, выглядит кощунственной по советским меркам... Остаётся предположить, что магия этой песни Окуджавы была такова, что действовала и на чиновников отечественной цензуры (в 1976 году, на пике застоя, «Песенка о Моцарте» была включена в первый советский диск-гигант Окуджавы) — либо их расслабила туманная формулировка. Смысл-то понятен — не следует безоглядно превозносить Родину за то, что достойно осуждения, и как раз шестьдесят девятый год в этом смысле показателен: реабилитация сталинизма шла полным ходом, после Пражской весны последние иллюзии шестидесятников развеялись, «как на кострах».



11 марта 1974 года Булат произнёс ещё одну ремарку на тему о родине. Он запечатлел её на моей гитаре, когда мы прощались в Москве перед нашим с Лидой отъездом из СССР, который произошёл через 9 дней из аэропорта Пулково. Вот эта загадочная надпись, которая звучит то ли как напутствие, то ли как предостережение, то ли как мрачная шутка:

Склоняюсь к тому, что это было дружеское предостережение. Напоминание о том, как далеко и глубоко проникли по всему миру щупальцы страны Советов, как широко распространились по различным континентам советские агенты влияния, лоббисты и шпионы. Образ родины неуклонно трансформировался в сознании поэта, тускнел, скукоживался. Но сохранялась потребность в любви к родным местам, чувство привязанности не к огромному государству, разросшемуся до 11-ти временных поясов, а к одной московской улице и арбатскому двору, где прошло его детство. Так возникла у Булата малая, «приватизированная» родина:

Ах Арбат, мой Арбат, ты моё отечество.

Это признание прозвучало в 1959 году в «Песенке об Арбате». Точно так же поступил задолго до Булата его любимый поэт Александр Сергеевич Пушкин:

*Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.*

2

В самом начале 80-х годов Булат прислал мне из Москвы новое стихотворение. Называлось оно «Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве». Я поместил его во второй том собрания

окуджавских песен, подготовленного мной для легендарного американского издательства «Ардис». Этот том вышел в свет в 1986 году. Через два года «Арбатское вдохновение» было опубликовано в СССР. Это был результат входившей в силу политики гласности, когда оказалось возможным пропустить в печать стихотворение, рисующее зловещую фигуру «кремлёвского усача». Начинается оно с образа частной, малой родины, оставшегося в сердце поэта с раннего детства:

Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
всё в нём, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви. Что в том дурного?

Совсем иначе, без словесных кружев, говорил Булат о большой родине, причём, с годами, всё жёстче, прямее и тревожнее:

Я живу в ожидании краха,
унижений и новых утрат.
Я, рождённый в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.

Всё кончается на полуслове
раз, наверное, сорок на дню...
Я, рождённый в империи крови,
и своей-то уже не ценю.

1996

Предвестником в высшей степени жёстких слов поэта о стране, в которой ему довелось родиться и жить, явилось для меня его письмо, написанное осенью 1989 года:

Я и раньше знал, что общество наше деградировало, но что до такой степени — не предполагал. Есть отдельные достойные сохранившиеся люди, но что они на громадную толпу?.. Не хочется ни торопиться, ни участвовать в различных процессах, происходящих в обществе. Хочется тихо, молча, смакуя, не озираясь, не надеясь, не рассчитывая...

Помню, что меня удивила мерцающая в этих строчках нотка безнадежности. *Не надеясь, не рассчитывая...* Ещё больше удивило стихотворение, *первая строфа* которого появилась в «Вечерней Москве» 4 февраля 1991 года:

Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,
и дело как будто к зиме,
и правды короткое слово
летает, как голубь во тьме.

Эти стихи, звучащие как набат, как сигнал тревоги, навеяны грозными событиями 1990 — начала 1991 годов. То есть, того исторического момента, когда советская империя дышала на ладан. Как оказалось вскоре, она умирала, находилась в состоянии агонии. Вот некоторые из этих событий:

1990, ЯНВАРЬ: погромы армян в Баку. В город вводятся войска, объявлен режим чрезвычайного положения. 130 погибших, около 700 раненых.

МАРТ: для нейтрализации сторонников выхода Литвы из состава СССР власти направляют в Вильнюс танки.

МАЙ: столкновения в Ереване между ополченцами и частями Советской Армии, 24 погибших с армянской стороны.

ДЕКАБРЬ: председатель КГБ СССР Крючков выступает по телевидению с заявлением о заговоре западных стран против СССР и их намерениях добиться его распада. 20 декабря уходит в отставку министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, заявив, что в стране существует угроза установления диктаторского режима.

1991, В НОЧЬ С 12 НА 13 ЯНВАРЯ: штурм телевизионной башни в Вильнюсе.

— Булат Шалвович, что кажется Вам самой страшной бедой нашей страны? — спросил у поэта в 1992 году журнал «Столица». Ответил он так:

— То, что мы строили противоестественное, противоречащее всем законам природы и истории общество, и сами того не понимали. Более того, до сих пор по-настоящему степень этой беды мы не осознали... Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни, и пока всё это не будет у нас в крови, ничего не изменится, психология большевизма будет и дальше губить нас и наших детей. К сожалению, она слишком сильна и разрушительна, и необыкновенно живуча...

Через год тема «большевизм в постсоветской России» прозвучала вновь — в интервью Андрею Крылову для газеты «Подмосковные известия» (11 декабря 1993):

— Но у нас, повторяюсь, нет никакого демократического общества. У нас большевистское общество, которое вознамерилось создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено.

Серьёзность диагноза — у нас **большевистское общество** — усугубляется тем, что к тому времени у Окуджавы не осталось никаких иллюзий относительно истинной природы этого общества. Оно, как оказалось, мало чем отличалось от другого тоталитарного монстра XX века — фашизма.

...Мы и сами были не лучше фашистов. У нас был такой же фашистский режим. Но тогда я этого не понимал.

Открылось поэту и то, что его сограждане, глубоко завязшие в своём тоталитарном прошлом, могут — рано или поздно — вновь возжелать над собой вождя, диктатора, тирана:

Нашему дикому обществу нужен тиран во главе?
Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове,
в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества.
Скрыт за улыбкой умильною злобный портрет большинства...

В том же 1991-м году прозвучал ещё один мощный сигнал тревоги, в стихотворении, посвящённом поэту Владимиру Корнилову:

Хрипят призывом к схватке глотки,
могилам братским нет числа,
и вздёрнутые подбородки,
и меч в руке, и жажда зла.

Победных лозунгов круженье,
самодовольством заслан свет...
А может, надобно крушение,
чтоб не стошнило от побед?

Нам нужен шок, простой и верный,
удар по темечку лихой.
Иначе — запах ада скверный
плывёт над нашей головой.

* * *

В июне 1995 года, стоя перед микрофоном на парижской сцене, Окуджава отвечал на вопрос, как он относится к войне в Чечне. Поэт назвал её страшным явлением,

которое будет помниться много, много десятилетий, если не столетий... Этот маленький народ, в котором нет даже миллиона, — допустим, он даже очень-очень самовлюблённый и очень сложный, — всё-таки надо считаться с национальной психологией... Тем более — такого маленького народа. (Ап-лодисменты) А его в прошлом веке в течение 50 лет уничтожали... В этом веке в 44-м году выслали весь народ на гибель. И сейчас опять уничтожают. Ну что такое? Неужели российская власть не может самоутвердиться другим способом? Неужели для этого нужно убивать своих же сограждан?

(Цитата по расшифровке фонограммы концерта в зале ЮНЕСКО, изданной впоследствии на двух CD под названием «Когда опустеет Париж».)

Окуджава не дожил до второй чеченской войны — очередного акта самоутверждения российской власти, за которым последовали гру-

зинский поход 2008 года, аннексия Крыма в 2014 году и оккупация Донбасса.

Милитаристский способ самоутверждения приносит, конечно, не только моральное удовлетворение, но и реальную пользу — приобретение территорий. «Широка страна моя родная» растеклась-расстелилась аж на одиннадцать временных поясов. Неоглядное русское приволье вызывало восторг и вдохновляло многие поколения народных певцов и профессиональных поэтов. Но почему-то стало — под конец жизни — «доставать» русского поэта Булата Окуджаву: его настигла чрезвычайно редкая для российского человека болезнь — агорафобия (боязнь открытого пространства).

Меня удручают размеры страны проживания.
Я с детства, представьте, гордился отчизной такой.
Не знаю, как вам, но теперь мне милей и желаннее
мой дом, мои книги, и мир, и любовь, и покой.

А то ведь послушать: хмельное, орущее, дикое,
одетое в бархат и в золото, в прах и рваньё —
гордится величиём! И всё-таки слово «великое»
относится больше к размерам, чем к сути её.

Заметьте: *величием* (а на самом деле — размерами!) страны в равной мере кичатся все — и верхи, и низы. Те, кто одеты *в бархат и в золото*, и те, кто — *в прах и рваньё*. Вывод этот легко подтверждается историей императорской России. В определённые её моменты гордость за непомерно разросшуюся державу накаляется и вскипает, превращаясь в патриотическую истерию, смешанную с ненавистью к явным или потенциальным врагам Государства. В один такой момент, в дни польского восстания 1863 года, Александр Герцен писал в своём «Колоколе»: «Дворянство, литераторы, учёные и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис».

* * *

За год до кончины Окуджава написал стихотворение, в котором он размышляет о русских людях — из далёкого вчера и нынешних, сегодняшних. Звучит оно вначале тихо и проникновенно, с мягкой, певучей грустью:

Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень, и смех, и слёзы,
и горечь на устах.

Интонация первой строфы окрашивает и две последующие, но к концу четвёртой плавное течение стиха внезапно прерывается громким горестным возгласом:

Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж...
*Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном — пейзаж?*

Открылось за окном поэту нечто такое, что заставило его воспроизвести устрашающий образ диких скифов, привидившийся в 1918 году Александру Блоку:

Что ж, век иной. Развенчаны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть — *всё скифы, скифы, скифы.*
Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба.
И кажется, что русских больше нету,
а вместо них толпа...

«Мы больны, у нас дикое, больное общество», — не раз говорил Булат, наблюдая российскую жизнь из-за океана летом 1990 и 1992 годов. В то время теленовости из России уже можно было принимать через кружившие над планетой спутники. Окуджава и Фазиль Искандер, другой почётный гость Русской школы, ходили на ежедневные просмотры как на работу. Новости были невесёлые: забастовки, протесты, грызня в верхах, вечная нехватка то того, то другого, выступления «красно-коричневых». Булат заметно тревожился, мрачнел. Возвращаясь на родину, делился своими тревогами и мыслями, своим пониманием обступивших страну проблем — с друзьями, со слушателями его выступлений, с читателями журналов и газет.

* * *

Вы говорите про Ливан...
Да что уж тот Ливан, ей-богу!
Не дал бы Бог, чтобы Иван
на танке проложил дорогу.
Когда на танке он придёт,
кто знает, что ему приспичит,
куда он дула наведёт
и словно сдуру что накличет...

Так начинается стихотворение, написанное под впечатлением от разговоров с израильскими друзьями во время гастролей Окуджавы в декабре 1992 года. Речь шла об угрозах существованию этой маленькой, окружённой врагами страны, где *кровью и порохом пахнет от близких границ*, как сказано в другом стихотворении Булата, написанном тогда же в Иерусалиме. Как видно, чаще всего упоминался Ливан, где наращивала силу и влияние коварная и агрессивная «Хезболла». С него и начал Булат свой ответ друзьям, вылившийся в стихи. А продолжил он его так:

Когда бы странником — пустяк,
что за вопрос — когда б с любовью,

пусть за деньгой — уж лучше так,
а не с будёнными и с кровью...

* * *

Сладко спится на майской заре,
Петуху б не кричать во дворе.
Но не может петух умолчать
Потому, что он призван кричать.

Он кричит, помутнел его взор,
Но никто не выходит во двор.
Видно, нету уже дураков,
Чтоб сбегались на крик петухов.

Эта песенка появилась у Булата в 1961 году, во время недолгой хрущёвской оттепели. Верил ли он тогда, что это навсегда, что больше

не будет в России дураков, готовых слушать профессиональных лжецов и безоговорочно им верить? Ни в коем случае. Булат довольно рано понял одну странную особенность истории России: её цикличность, её склонность двигаться по замкнутому кругу, как движется карусель, её привычка повторять одни и те же ошибки, наступать на одни и те же грабли. Вот, для примера, «Старинная солдатская песня» написанная в 1974 году:

Спите себе, братцы, всё придёт опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казённые квартиры.

Спите себе, братцы, всё начнётся вновь,
всё должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь...
Времени не будет помириться.

Через пять лет в ходе 10-летней афганской войны *вечные казённые квартиры* получили 15 тысяч советских солдат. Прошло ещё 30 лет. За два года и два месяца бессмысленной и преступной войны в Украине погибли и тяжело ранены, по данным британской разведки, 450 тысяч российских военных. Как реагирует на это население России? Никак. Значительная его часть слушает крики новых петухов, утверждающих, что всё идёт по плану, что больших жертв нет и не предвидится, и что победа не за горами.

Карусель продолжает катиться по своему привычному, порочному кругу. Власть всё туже закручивает гайки. Мрак сгущается...

P. S. Шлю слова благодарности Елене Крыжановской, оказавшей мне неоценимую помощь при написании этой статьи.

ОБ АВТОРЕ

Владимир Аронович Фрумкин (р. в 1929 году) — известный музыковед, журналист, эссеист. Закончил теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957 году был принят в Союз советских композиторов.

В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов.

В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Булата Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), с 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне.

В издательстве «Деком» (Нижний Новгород) вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

Марк ВЕЙЦМАН

ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСТИННОЙ ЖИЗНИ

Недавний уход Юлии Винер никаких существенных отрицательных эмоций у огромного большинства израильтян, к сожалению, не вызвал. И, что особенно обидно, — у русскоговорящих. Отряд, что называется, не заметил потери бойца. И это объясняется не только очень узким слоем квалифицированных читателей (не говоря уже о том, что — читателей вообще), но и полным равнодушием писателя к мнению непосвящённых, её скромности и нелюбви к публичным выступлениям и «элитарным» тусовкам.

А между тем — потеря большая, горькая и невосполнимая. Ушла из жизни сильная и своеобразная рассказчица, романистка, эссеистка, мемуаристка, переводчик и драматург (сценарный факультет ВГИКА, который она окончила — это вам не хухры-мухры!) и, что мне особенно хочется подчеркнуть, — блистательная поэтесса.

когда моя тётя гита пила свой утренний кофе
горничная тщательно снимала пенки с подогретых сливок
при виде пенки у тётя гиты делались нервные спазмы

когда портниха шила тётя гите нижние панталоны
на внутренние швы накладывалась мягкая шёлковая тесьма
голые швы раздражали нежную кожу тётя гиты

когда моя тётя гита посещала кинематограф
её поклонник скупал все окружающие кресла
соседство чужих людей удручало тётю гиту

когда транспорт прибыл в Треблинку
моя тётя гита примёрзла к залитому мочой полу
но была ещё жива.

Впервые по прибытии в Израиль я прочёл это поразительное стихотворение в журнале «22» и тотчас бросился на поиски книг автора. В помещении Союза писателей на тель-авивской улице Каплан, 8, на стеллажах, забитых книгами местных «шрайберов», их, разумеется, не оказалось (как справедливо заметил один мой приятель-литератор: «Из этого книгохранилища, к сожалению, ничего украсть не тянет»).

А когда впоследствии проштудировал подаренную мне Юлией книгу её стихов «О деньгах, о старости, о смерти и пр.», то вспомнил о некогда полученном мною письме от Юнны Мориц. «У меня в поэзии, — писала, в частности, Юнна Пинхусовна (в миру Петровна), — есть лишь несколько скромных задач: 1) внутренняя свобода 2) личный духовный опыт 3) извлечение смысла из звука 4) абсолютная узнаваемость 5) отрешение от мелочной злобы неблагоприятных для меня обстоятельств 6) ритм развития, не рассчитанный на волю счастливого случая». Потому что все эти принципы стопроцентно приложимы к поэтическому творчеству Винер! Разве что, извлекая смысл из звука, она в большинстве случаев пренебрегает рифмой. А уж что до внутренней свободы, личного духовного опыта (в частности, связанного с полувековым пребыванием в Израиле), отрешения от мелочной злобы обстоятельств и абсолютной узнаваемости («...все талантливые пишут разное, все бездарные — одинаково и даже одним почерком» — Илья Ильф) и ритма развития — какие могут быть сомнения!

Я не чувствую себя старой
 Я чувствую себя молодой женщиной
 С которой случилось нечто непоправимое

Она и до последнего своего часа не была старой. Как-то мы с ней, будучи френдами в Фейсбуке, малость поспорили, не помню уже о чём, и она, в конце концов, согласившись с моими доводами, заключила спор интонацией девочки-капризницы: «Ланна...» — в смысле «ладно».

С отроческим азартом набрасывалась на пользователей социальной сети, заменявших словесные комментарии к текстам дурацкими гифками. Но конечно же, — не в коня корм.

В этом смысле неслучаен в её поэтической книге и раздел «Детское», эманация ребячьей непосредственности души, хотя и адресованы стихи этого раздела явно не детям:

подойди ко мне листочек
лепесточек подойди
.....
и алёшка и аркашка
и букашка и бумажка
и огрызок и объедок
и окурок подойди
и своих ведите деток —
всех прижму к своей груди.

Читая её стихи, особенно короткие, мы зачастую становимся как бы свидетелями только что совершённого ею открытия:

Я часто думала о смерти
но тут внезапно нагрянула старость
С ней оказалось столько хлопот
что мысль о смерти временно отступила

Действительно — временно. Выкладывая недели за две до ухода в Фейсбуке своё стихотворение, предварила его репликой: надо, мол, выложить, пока не поздно, а то ведь могу и не успеть — помру.

Укоренённость её в русско-еврейской литературной традиции отчасти наследственная — ведь и отец её, Меир Вильнер, и дед Ноях Лурье были видными идишскими писателями.

Так называемая «еврейскость» — её неотъемлемая черта и стержень всего ею созданного.

два еврея один жид по верёвочке бежит
кричали на улице мальчишки

но ко мне это не относилось
мои русские друзья меня любили
они находили во мне много личных достоинств
(я их тоже любила)
и вообще говорили они
ты совсем не похожа на еврейку

когда я решила уехать в израиль
мои русские друзья назвали меня предательницей

ты выросла на нашем хлебе
ты дышала нашим воздухом
ты впитала нашу культуру
наши воины гибли защищая тебя
и вообще говорили они мы тебя любили
как же ты можешь бросить нас и россию

мои русские друзья ошибались
я очень похожа на еврейку
я похожа на своего отца-коммуниста
как и он я жаждала чистого правого дела
или хотя бы такого места
где мне не надо бежать по верёвочке

Судя по её фото и мемуарным очеркам, была Юлия Винер в молодости спортивной, сильной, выносливой и рискованной. Недаром же стала участницей группы евреев, захвативших в феврале 1971 года Приёмную Верховного Совета СССР, требуя разрешения на репатриацию в Израиль, который, по её мнению, есть ни что иное, как:

обетованная территория
где нас не отыщет история
нескладное самодельное устройство
от которого добрым людям одно беспокойство
неоплатный кредитор человечества
чьи законные претензии всем давно надоели
великая моя держава
единственная моя надежда
не знаю убережёшь ли ты меня от гибели
но сохрани от несказанного позора
выпавшего на долю моим близким.

Что касается близких, то это, не считая отца, погибшего в начале войны, в ополчении под Вязьмой, почти вся её родня с отцовской стороны, польские и австрийские (венские) евреи — персонажи её стихотворного реквиема, довольно сдержанного, кстати, и лишённого привычной траурной патетики, но тем не менее более трагичного и проникновенного, чем иные.

Всё творчество Юлии Винер проникнуто глубоким пониманием ближневосточных реалий. Эти реалии — живая плоть её прозы и стихов.

По-мужски сдержанная, она не афиширует своей любви к городу, в котором прожила полвека, — Иерусалиму, но зимой пытается «согреть его своим дыханием», а летом — «охладить его жар своими кондиционерами» и «своими радостями и горестями приручить его каменную душу».

И город безропотно поддаётся моим усилиям
Растит в своей почве мои цветы и деревья
И отдаёт мне под застройку свои холмы
Бесстрастно глядя на меня каменными глазами.

Однажды мне долго не давалась концовка одного небольшого стихотвореньица, а точнее — одной из двух «Песен о главном»:

Я старенькая тётенька,
Ровесница метро,
Но ленинское всё-таки
Люблю политбюро.

Нарежусь виски с тоником —
И тоже, может быть,
Меня захочет кто-нибудь
Не глядя полюбить.

Отбросив все формальности,
Вопрос задаст в упор:

С вопросом и возникла заминка — какой? И Юля не оплошала:

«Какой национальности
Ваш си-бемоль мажор?!»

И с тех пор в моих благодарных воспоминаниях о ней — замечательной женщине и блистательному писателю — всегда присутствует этот её прощальный подарок.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БЕСКОМПРОМИССНОСТИ

(О КНИГЕ МЕМУАРОВ БОРИСА КАМЯНОВА*)

С Борисом Камяновым меня познакомила Дина Рубина. Дважды. В первый раз — косвенно. Во второй — напрямую. Ещё до отбытия на историческую родину мне приглянулся некто Гриша Сапожников, персонаж её повести «Во вратах твоих», опубликованной в каком-то из российских «толстячков» в начале 90-х и прочитанной мною ещё на «географической» родине, — «славный парень лет пятидесяти, уютно сочетающий в себе православное пьянство с ортодоксальным иудаизмом», русскоязычный поэт, работающий в одном из иерусалимских издательств, выпускающих книги по иудаизму на русском языке.

Как ни зайдёшь к нему в издательство — он сидит себе в майке, отдувается, а на стене над ним висит на гвоздике малый талит.

— Погоди, я оденусь, — говорит, и, как лошадь в хомут, продевает в отверстие голову.

— Гриша, война будет? — спросила я.

Цви бен Нахум — так звучат его имя и фамилия на иврите — налил водки в бумажный стакан, глотнул и ответил: — А хер её знает».

Прототип Гриши — Борис Камянов. На израильский лад — Барух Авни. Правда, не ультраортодоксальный иудей, а всего лишь религиозный сионист.

А года через три, в один из начальных дней моего пребывания в Эрец-Исраэль, Дина познакомила нас уже напрямую:

— Вот, Боря, — нашего полку прибыло, это Марк Вейцман, прошу любить и жаловать!

* «Продолжение следует...» (книга воспоминаний в двух частях. 530 с., фотографии, индекс имён). — Бостон, «M•Graphics Publishing», 2021.

Обретший плоть, с восстановленными в правах именем и фамилией, «Гриша Сапожников» и впрямь походил на библейского пророка, «кипатога» и бородатого, но тогда, в 96-м году, ещё довольно шустрого, хотя, в отличие от своего предтечи, имел при себе бутылку водки и несколько бумажных стаканчиков — в расчёте на приятных собеседников.

А потом мы оба в качестве членов приёмной комиссии русскоязычного Союза писателей Израиля читали стихи версификаторов, подававших заявления в этот Союз, в основном — малограмотных — в худшем случае — или малопродуктивных — в лучшем, которых, тем не менее, и на пушечный выстрел не стоило бы подпускать к печатному станку. Впрочем, Боря зачастую так не считал, ибо в своих литературных предпочтениях гораздо либеральнее меня.

С тех пор много воды утекло. И вот передо мной, привыкшим читать лирические и юмористические стихи Камянова, его переводы или журнально-газетную публицистику, лежит толстенная книга его воспоминаний «Продолжение следует...», изданная в Бостоне. Понятно, что жизнь, «оказавшаяся длинной», претендует на закрепление в сознании и памяти потомков. Вопрос в том — ЧТО должно войти в книгу мемуаров, и ЧТО — остаться за её пределами. И всё ли то, что важно автору, интересно читателю.

Сам я четверть века тому назад попытался подобную книгу написать, но дошёл лишь до последнего школьного звонка и опустил руки, представив, какую бездну фактов и обстоятельств предстоит перелопатить и описать. И в конце концов удовлетворился мыслью, что многое уже использовал и, может быть, ещё использую в стихах.

Борис же Камянов не дрогнул перед «величием замысла». Более того, своему труду, вроде бы рассчитанному на окончательное подведение итогов, даёт название, анонсирующее продолжение. И в процессе работы над основным сюжетом испытывает потребность дополнить его наблюдениями, размышлениями и воспоминаниями, в него не вошедшими, но забавными, трогательными и поучительными, которыми жаль пренебречь. Ему вспоминается библейская Рут, прабабка царя Давида, которая ходила в поле за жнецами, подбирая упавшие колосья, и по ассоциации с ней он вводит в книгу новый раздел под названием «Колоски памяти», существенно её украшающий.

В этой книге лишь именной указатель насчитывает полтыщи «охваченных» им современников. Клички кошек и собак, правда, в этом перечне отсутствуют, хотя в тексте, конечно, имеются.

Упомянуты все родственники автора со стороны матери и отца, о которых ему известно, жившие в XIX и XX веках, и их малолетние потомки, появившиеся на свет уже в XXI. Разумеется, не упущены сведения и об их судьбах. Увековечены все соседи, собутыльники, друзья и недруги, жёны и подруги, сослуживцы и коллеги, школьные и более поздние друзья и враги, институтские сокурсники, граждане бывшего СССР и нынешнего Израиля.

Чтобы сделать достоянием внимательного читателя славные этапы личного участия в строительстве коммунизма, автор приводит выписки из своей советской трудовой книжки. Типография, школьный языковой кабинет, шарикоподшипниковый завод, библиотека, экспедиция геофака университета, агентство «Союзпечать», Детский театр, фабрика технических бумаг, промбаза и т.д., и т.п. При том, что нигде наш герой долго не задерживается. Используя советскую терминологию, его можно было бы назвать летуном. А вот перечень, далеко не полный, его должностей: слесарь, наборщик, редактор, шлифовщик, монтёр, грузчик, лесоруб, коллектор, лаборант, монтировщик декораций, кладбищенский рабочий, учитель, воспитатель... Каков разброс!

Тут следует сделать акцент на гуманитарных пристрастиях нашего героя. «Читать я начал в четыре года, — пишет он, — и уже тогда определилось моё редакторское будущее. Однажды, гуляя с папой по Арбату, я сказал ему, указывая на вывеску: «В одном слове сразу две ошибки: должно быть ‘Аптека’, а написано ‘Оптика’»».

С детства он не только запойно читает, но и пишет. В основном — стихи. В школе учится неважно по всем предметам, кроме литературы и истории. Как еврей и нонконформист, обречён на изгойство в московской литературной среде, отфутболивание при поступлении в вузы и отказы редакций в публикациях. Посещает многочисленные литобъединения (в книге — колоритные портреты их участников и руководителей). Особенно интересны его живые свидетельства о Михаиле Светлове, Юрии Домбровском, Борисе Слуцком, Эдмунде Иодковском, Михаиле Рудермане, Александре Аронове, Феликсе Розинере, Леониде Губанове, Василии Белове, Вадиме Ковде, посещении семинаров в Студии молодых литераторов, которые вели Давид Самойлов, Юрий Трифонов, Аркадий Штейнберг, Вадим Сикорский.

Не питает иллюзий по поводу литературной политики партии и литераторов-функционеров — её проводников. Вот, к примеру, его стихотворное обращение к бюсту одного из них — Леонида Соболева, который он по роду службы обязан был доставить к месту назначения:

Скажу тебе, паскуда, напрямую:
Тебя бы в море сбросить с корабля.
Такого омерзительного х.я
Ещё не знала русская земля.

Не чувствуя никакого призвания к педагогике, Борис всё же поступил на вечернее отделение филфака пединститута. Не слишком приспособленный к роли примерного семьянина, женился, обзавёлся дочерью, затем развёлся с женой и, бездомный, неприкаянный и творчески не реализованный, решил на эмиграцию в Израиль, которая с некоторых пор стала называться репатриацией.

«В нашей семье принадлежность к еврейству никогда не подчёркивалась... Несмотря на это, я всегда чувствовал свою инородность в окружении, которое часто бывало враждебным... При всём при этом я любил Россию, природу её средней полосы, русский фольклор и русскую литературу, не имея ни малейшего представления о наследственном национальном богатстве, которого меня лишила советская власть и добровольно отказавшиеся от него родители».

При этом Камянов никогда не был диссидентом, хотя с некоторыми видными деятелями этого движения и московскими еврейскими отказниками общался. В частности — с Анатолием Щаранским и Феликсом Канделем, и талантливым поэтом Ильёй Рубиным, одно время редактировавшим самиздатский журнал «Евреи в СССР». В результате в нём были опубликованы поэма Камянова «Похмелье» и две подборки стихов.

Его мироощущение при расставании с Россией описано в стихотворении «Родина»:

...Иду я навстречу, усталый,
Готов на колени пред ней...
Но с ужасом вижу: у старой
Провалы на месте ноздрей...

.....

— Ах, мама, родимая мама!
Я сын твой, российский еврей.
Я, может, любимая, самый
Несчастный из всех сыновей.

Родная! В смятении духа
Тебе посылаю привет!..

Клюкой погрозила старуха
И плюнула злобно вослед.

«...Когда мы подъезжали к подножью Иудейских гор, рассветало. Справа и слева от шоссе стали всё чётче вырисовываться покрытые хвойными лесами холмы. Чем дальше мы продвигались на восток, тем выше они становились, и шоссе, петлявшее среди них, в какие-то минуты, казалось, вело прямо к солнцу... Я не сентиментален... Однако с первых же минут пребывания на этой земле мне стало ясно: она — моя, родная и единственная. Что бы здесь со мной ни произошло, я у себя дома».

Заметьте: у человека впереди полная неопределённость: ни жилья, ни работы, ни близких, ни языка, он всего лишь новый репатриант — «олé хадáш», и потребуются ещё годы и годы, чтобы обрести хотя бы обличье и уверенность «Гриши Сапожникова» — откуда у него столь интенсивный душевный подъём? И чувство удовлетворения от того, что он наконец оказался именно там, где ему и надлежит быть?

...Вот ты и дома. Не спеши.
Следи, как в глубине души
Растёт прорезавшийся трепет.
Польются слёзы, как стихи:
Господь простил тебе грехи
И вновь тебя из праха лепит.

К стене ты приложись щекой
И слушай, как журчит покой,
К сухой душе пробив дорогу.
Ты вновь — у вечного ручья,
Ты вновь в начале бытия.
Ты снова дома, слава Богу!

Вероятно, это острое чувство обретённого дома и стало начальным толчком к превращению Камянова, выросшего в атеистической ассимилированной московской семье, в религиозного сиониста. А ведь тшува — возвращение к Богу — не только коренным образом меняет мироощущение человека, но и чревата серьёзным самоограничени-

ем и исполнением множества заповедей. Что требует массы времени и сил. Серьёзного изучения священных книг. Регулярных посещений синагоги. И молитв. И изнурительных постов. Он не может не только есть трюфное, но и пользоваться неоткошерованной посудой, пить вино, произведённое неевреем, спать с нееврейкой и т.д.

И гуляка и выпивоха Камянов -- по внутреннему побуждению! — радостно принимает всё это. А ещё мотается в поисках работы и жилья, налаживает деловые и литературные связи, призывается на армейские сборы, участвует в работе правой партии Тхия, сегодня уже не существующей, и русскоязычного Союза писателей, активно сотрудничает с правой прессой. И главное — жадно осваивая новую реальность, продолжает писать стихи.

Израиль был буквально нашпигован замечательными людьми, такими, например, как политик Анатолий Щаранский, прозаики и поэты Илья Рубин, Феликс Кандель, Александр и Нина Воронель, Дина Рубина, Зинаида Палванова, Елена Аксельрод — из прошлой жизни и Игорь Губерман, Анатолий Якобсон, Феликс Кривин, Игорь Бяльский, Юлия Винер, Григорий Канович, Михаил Генделев, Александр Бродский (Микки Вульф), Наум Басовский, Ася Векслер, Эли Люксембург, критик и публицист Майя Каганская, художник Александр Окунь — из новой.

Среди обрётённых в Стране друзей-знакомых — старый ленинградский писатель Давид Яковлевич Дар, известный как активный участник кампании в защиту Бродского и открытым письмом Съезду советских писателей с требованием переименовать социалистический реализм в бюрократический, каковым тот на самом деле и является.

В своей рецензии на первую книгу Бориса Камянова «Птица-правда» «Путь к Сиону» Дар пронизательно отметил, что «главное достоинство Бориса Камянова — это его бесстрашная правдивость и высокое моральное чувство, которое, быть может, и есть подлинная суть духовности и которого ныне, в век глобального этического кризиса, так недостаёт в мире».

Я бы от себя добавил, что правдивость Камянова не только бесстрашна, но и безоглядна. И то сказать. Характер Израиля определён как характер страны еврейский и демократический. Это означает, что в отсутствие конституции следует руководствоваться Галахой — совокупностью законов и установлений иудаизма. С точки зрения Галахи отдача своих территорий врагу есть преступление. И Камянов прямо называет Менахема Бегина, отдавшего Египту Синай с городом Ями-

том и еврейскими поселениями, предателем. А Шарона с его пресловутым «размежеванием» — преступником.

Разрывает отношения со Щаранским, которого любил и считал настоящим героем, проведшим девять с половиной лет в ГУЛАГе, а в Израиле «превратившемся из героя в политика, из политика в политикана» и опозорившим себя участием в заключении капитулянтского соглашения с Арафатом в Уай-Плантейшн, предполагавшего создание так называемого Палестинского государства на территории Израиля.

То, что нынче стыдливо именуется «нетрадиционной сексуальной ориентацией», в иудаизме считается мерзостью. Понятно, что эта ориентация дана человеку от рождения. Но ведь и альбиносы, и лунатики таковы от рождения. Однако же они не выпячивают и не демонстрируют свою маргинальность навязчиво и вульгарно, и не выходят на «парады гордости», не отличая её от кичливости. Разумеется, Камянов воздаёт и демонстрантам, и их покровителям должное в стихах и публицистике. Одно из двух — или не допускайте подобных безобразий в священном городе, либо не объявляйте государство еврейским!

Зал, снятый в Тель-Авиве для празднования тридцатилетия русскоязычного Союза писателей Израиля, оказался слишком мал, чтобы вместить всех приглашённых, автобус с иерусалимцами припозднился, мест на всех не хватило, и пожарные перекрыли вход в зал. Правда, для Камянова и Бяльского было сделано исключение, но они из солидарности со своими товарищами участвовать в праздновании отказались. А потом по инициативе Камянова обиженные писатели вышли из Союза и образовали свою организацию в Иерусалиме, избрав Бориса её председателем.

Обо всём этом подробно написано в книге. И о том, что в Эрец-Исраэль к Борису со временем припожаловала его жена Нина с дочерью Аней, и у них родился сын Ашер. Не могу не привести содержание одного эпизода из книги, связанного с результатами отцовского воспитания (не забудем, что Камянов по образованию педагог!). Вот он провожает куда-то своего нарядно одетого малолетнего сынка, проверяя, все ли пуговицы застёгнуты, и вдруг...

Отец (с ужасом): — Ашер, а кипа?!

Сыночек: Ох, .. твою мать, забыл!

...А потом Борис снова разведётся с Ниной и женится на Оре (бывшей Свете), и дети Оры станут для него как родные. И все потомки его и Оры будут постепенно выходить в люди и вступать в браки, и число внуков

и правнуков начнёт стремительно расти. И Боря станет чадолюбивым дедом и прадедом. И поскольку в своей приверженности к правде-матке (она же птица) Камянов не щадит не только других, но и себя, он чистосердечно признаётся, что по-настоящему любит лишь малышей.

А книгу свою, содержащую ещё много всякого интересного и поучительного, но не упомянутого мною, закончит автоэпитафией, сочинённой полвека назад:

Я КРЕПКО ПИЛ. ШАГАЛ Я В НОГУ С ВЕКОВОМ
И В СМЕРТИ НЕ УДАРИЛ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ.
Я НЕ БЫЛ ИДЕАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ,
НО СТАЛ Я ОБРАЗЦОВЫМ МЕРТВЕЦОМ.

в которой я позволил себе заменить лишь последнюю строчку, на мой взгляд, не соответствующую в общем-то оптимистическому настрою еврейского мироощущения:

НО БЫЛ НЕИДЕАЛЬНЫМ МОЛОДЦОМ.

ОБ АВТОРЕ

Марк Вейцман родился в Киеве в 1938 году. Окончил Черкасский пединститут (1961) и Литинститут им. Горького (1971). Преподавал физику в школе. Репатриировался в Израиль 1996 году.

Автор сборников стихов «Моление о памяти» (1995), «Репортаж из Эдема» (1998), «Третья попытка» (2002, «Библиотека Иерусалимского журнала»), «Оператор сновидений» (2007), «Следы пребывания» (2012), «Обычная драка» (2014, для среднего и старшего школьного возраста) и семи поэтических книг для детей младшего возраста. Лауреат украинских литературных премий им. Бориса Горбатова (1983) и «Круг родства» (2006), а также премии им. Давида Самойлова, присуждаемой Союзом русскоязычных писателей Израиля (2012).

Стихи включены в антологию «Четыре века русской поэзии детям» (2013) и в современные российские школьные учебники.

Многие годы — член редсовета журнала «Времена».

Ольга САМОЛЕВСКАЯ СИРЕНОВЫЙ ЧАС

Из НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Усталый столетний дом,
родной, словно в детство проём.
Он был терпеливым гнездом,
он жил непосильным трудом.
Чего только не было в нём!..
Стоял под свинцовым дождём,
пылал беспощадным огнём,
не спас всех живущих в нём,
но помнит и Данин диплом,
и бабушкин праздничный плов,
и папин богатый улов,
студентов в грехе молодом
и дедушкин строгий тон,
и Зойкин весёлый притон,
и всё, что с ним стало потом...

Стоит этот старый дом
меж церковью и прудом,
меж Пасхой и Рождеством
в пространстве не бытовом,
под жёлтой листвой, подо льдом,
среди небоскрёбов — как гном
стоит он в пространстве ином —
в сиянии вековом,
в мерцании световом,
в прощальном закате земном...

Ещё поживёт этот дом,
а, может, пойдёт он на слом —
ведь в возрасте пожилым
не нужен ты, и при том
уже, в этом веке крутом
застройка идёт напролом —
снесли магазин за углом...

Усталый столетний дом,
встречавший входящих теплом,
молчит о своём былом.
Уже не узнать нам о том,
как грёзы мерцали в нём,
как страсти пылали в нём,
как сплетни роились в нём...

Замолкший таинственный дом
не спит под весенним дождём,
не спит под закатным огнём,
стоит как закрытый том.

Мы глянем — и мимо пройдем.

Прохожий,
 закрытый
 том,
ты тоже —
 забытый
 дом.

СИРЕНОВЫЙ ЧАС

Умытый маем мир.
Вокруг — воскресший цвет!
Такой счастливый миг,
не признающий смерть!

Бежать, стремиться вверх,
как соки по стволам.
Вобрать в объятия — всех,
вошедших в пастораль.
Любить, расти, цвести,
встречать в саду бутон,
держат листву в горсти,
и — Боже упаси —
не помышлять о том,
что схлынет этот цвет
и ветра озорство,
растает волшебство,
и весь остаток лет —
от взрыва одного
исчезнет этот свет,
вся жизнь сойдёт на нет...

Вдыхай и обнимай
военный этот май.
Роскошная сирень
дрожит под вой сирен.

О, РУССКИЙ ЗВЕРЬ!

О, русский, верь: зайдёт она,
звезда российского несчастья,
и сам ты вспрянешь ото сна,
и на обломках самовластья
напишут ваши имена —

всех тех, кто вежливо молчал,
послушно деспоту кивал
и множил ужас на Земле
в рашистской непроглядной мгле,

кто сам не жёг, не убивал,
но молчаливо одобрял
всё то, что взбредится властям,
их мягко гладил по шерстям,

чтоб парни падали в бою
на землю вовсе не свою,
когда кремлёвское жульё
кричит безумное: «*В ружьё!*»

И ты поймёшь, о, русский, верь —
поймут и Красноярск, и Тверь,
и баба в Липовке поймёт,
куда ваш деспот вас несёт!

В Перми поймёт любой алкаш,
что Крым — не ваш, Донбасс — не ваш!
Поймёт и чукча, и башкир,
в Москве — владелец трёх квартир,
что ваша власть — такой помёт!
Что убиенным — страшный счёт!

Поймут нардепы сатаны —
их сдует пламенем войны!

Поймёт в Осташково кассир,
в Санкт-Петербурге ювелир,
поймёт в Казани рэкетир,
что ненавидит целый мир
вас — на глазу Земли бельмо —
за попранное *NEVER MORE!*

* * *

На россии, не только в Рязани,
там — не только грибы все с глазами,
там есть люди с глазами, ушами...
Их обманывают, им внушают,
их отправить под пули решают,
а они всё прощают, прощают,
головами покорно качают,
будто сладкие джемы вкушают...

Превращают парнишек в волчат,
учат смысла не замечать,
их пакуют в пакеты, в гробы,
без надежд оставляя девчат.
Жарят их, как простые грибы,
гонят в ад, а они не ворчат
и не вякнут ни в телек, ни в чат,
видно, нравится, если молчат
и, как стадо покорных ягнят,
никого из властей не бранят.

Их готовят — а после едят!
А они всё глядят и глядят...

ШКОЛЬНИЦА

Красоты и мечтаний полна,
в новой блузе из белого ситца,
ты глядишь, как играет волна,
как вода на ладони искрится,
как туман над Десною клубится,
будто сходит с реки пелена,

как полуденный воздух струится,
как трава на лугу зелена,
как в полёт собираются птицы,
чтоб весной опять возвратиться...

Ты стараешься лучше учиться —
подтянуть иностранный должна!

Ты учила: во Франции — Ницца,
а Россия — большая страна...

Но не мог этот ужас присниться!
Но россии уже не простится,
что зимою начнётся война,
а за нею — шальная весна,
что спастись народ устремится,
и затопчат тебя на границе.
На границе твоих восемна...

МЕРЗЛОТА

Где-то на цветной Земле луга цветут сейчас...
А у нас — истерзанный отобранный Донбасс.

Помогает нам опять продлить эпоху бед
дорого нам стóящий заснеженный сосед —
подарил нам безутешность матерей и вдов,
страшные руины наших сёл и городов...
Подарил ещё один незаселённый пункт —
имени Прокофьева Донецкий лунный грунт.

Ни убийства пленных мы уж не простим вовек,
ни зверей затопленных и ни детей-калек!

Пребывает в мерзлоте сосед наш до сих пор,
и всегда готов в нас тупо выстрелить в упор ...

Где-то на Земле лежат под пальмами сейчас,
а у нас сидят в окопах, греют свой Донбасс,
и опять кругом воронки, и опять кресты.
Чем встречать весну в той зоне вечной мерзлоты?...

Победит весна ту зону вечной мерзлоты!

Посуда

Солдаты, сколько ж вас, о сколько, сколько
превращено в ненужные осколки?

В вас насыпáли генералы — что хотели,
вожди в вас — что хотели — наливали,
из вас в империи привычно ели,
из вас не в вашу славу выпивали...

В истории страны вожди остались —
ваш след недолгий навсегда растаял.

Солдаты, сколько ж вас, о сколько, сколько
превращено в ненужные осколки?
Границы вы меняли юной массой.
Познавшим ад познать ли рай прекрасный?

* * *

Поле маков — поле брани,
поле без границы...
Кто же поле так поранил,
что не излечиться?
За травиночки хватаясь,
встала над простором
скорбь. И небо пропиталось
той же краснотой.
И, пытаясь не сорваться,
точно в минном поле,
я не бегаю за счастьем,
я бегу от боли.

* * *

«...спасибо тому, кто изобрёл сон...»

Мигель де Сервантес

Схожу с жестоких суетных орбит...
После металла, мрака и обид,
после кончины светового дня
как часто щедрый сон спасал меня...
День — не за тем, не с теми, не о том...
В ладонях тёплых, в звоне золотом
я погружусь легко иль воспарю,
мой сон, в немыслимую даль твою,
где всё возможно и свободно всё,
где дух живой согрет и вознесён,
исчезнувший — увиден и спасён...

Земная жизнь — фрагментами — как сон...

И даже если бездна там и чад,
грозно мне из гулких недр кричат —
не замечая свой беззвучный стон
благодарю тебя, заступник-сон.

Но страшно в пустоте без сновидений.
Душе — ни увлеченья, ни труда.
Стекает жизнь неведомо куда —
и вновь благодарю я пробужденье.

* * *

Стоит над продрогшим обрывом
тяжёлое бремя — больница.
К ней мўка ведёт торопливо,
в ней участи ждут терпеливо,
спасатели в светлых одеждах
сшивают, латают, режут.

Над ней — беспокойные птицы
столетьями будут кружиться
и ангелы в белоснежном.

Дожди, шаловливый ветер,
меняет наряды небо,
а в ней — повзрослевшие дети,
а в ней — беспощадные сети,
закинула боль невод.

Боль давит,
 боль правит,
 боль снится,
боль держит,
 боль режет,
 боль длится,
боль плавится,
 стынет,
 считается...

Вместилище боли — больница.

Боль глушит,
 боль гложет,
 боль льётся,
боль пляшет,
 боль в лица смеётся,
в бесцветные тяжкие лица,
прижатые болью к больнице,
пронзённые бóльным страданием,
сроднённые бóльным экзаменом.

Но что нам ещё остаётся?
 Смотреть, как за окнами вьётся
 листок, лепесток иль снежок,
 как схвачен пыланьем восток,
 как лайнер парит гениально,
 услышать вдали звон пасхальный...

О, Боже, взглядишь в эти лица,
 убавь невозможность больницы.

Весь мир — боль, которая длится.

* * *

Я Тебя не спасла.

И теперь навсегда отпускаю
 это тельце, которое было беременно мной...
 По Тебе остаётся невыплаканная тоска мне.
 Ты оставила темень, оставила свет проливной...
 Так боялась грозы! И под гром в уголочек забившись
 Ты просила все окна закрыть, да и свет потушить...
 Я прошу Твою душу, чтоб *там* я Тебе не забылась.
 Помнишь, роды Твои помогала гроза разрешить?

До свидания, Мама. Погашено время земное,
 Гром надрывный над чуткой могилкой,

ах, нет, над судьбой...

Никуда не забиться — пребудешь отныне со мною,
 ведь пока я живу, я беременна, Мама, Тобой.

Уходила так больно, так страшно...

Я здесь — и осталась Ты,

И с Тобою — вся эта безбрежная круговерть...
 На прощальных просторах гуляют вороны да аисты,
 По земле бесконечно гуляют Рожденье и Смерть...

СЫНУ

К седым небесам посылала сто крат
робеющий взгляд, умоляющий взгляд,
просила я бездну: *О, чудо, свершись!..*

И жизнь озарилась, и я — как во сне.
Та нежная жизнь, беззащитная жизнь,
что так трепетала, стучалась во мне —
теперь предо мною, в ладонях моих.
Да будет продлён этот свет, этот миг!

Зрачками в зрачки мне вошла эта жизнь,
и я ей шепчу: укрепишь, удержишь,
в клокочущем мире отрадой пребудь!

Живёшь! Уже начат загадочный путь
сквозь нагроможденье миров и веков.
Так будь ограждён от руин и оков!

Ты пристально смотришь,
как в небо, в меня,
о безднах и странствиях память храня.

Восход над тобой! Пребываешь в любви —
ты в Жизни уже! Так расти! Так живи!
Пока я качаю тебя на руках,
пред нами сникают и горечь, и страх,
от нас отступают и тленье, и крах,
вселенское зло рассыпается в прах,
бутоны стартуют в репящих снегах,
и вот я стою по колени в цветах
среди щебетания в райских садах,
не твердь подо мной — я стою на лучах,
на солнечном облаке в давних мечтах,
и слышу сердечко в своих же руках!

Комочек живого дыханья любви,
пробился ты в жизнь, пробудился — живи!
Ещё ничего ты в руках не держал,
но держишь надежду и душу мою.
В твоих кулачках беззащитно дрожат
слезинки мои — о тебе я молю.

Когда ж ослабеют усилья мои,
живи на ладонях вселенской любви.

ОБ АВТОРЕ

Ольга Самолевская — кинорежиссёр, сценарист, поэт. Коренная киевлянка. Училась в Киевском медицинском институте, окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Член Национального Союза кинематографистов Украины и Национального Союза писателей Украины, лауреат международных и отечественных фестивалей, лауреат и дипломант всеукраинских поэтических конкурсов. Обладатель премии Национального Союза Кинематографистов Украины «За весомый вклад в мировое и украинское неигровое кино», Международной премии LOGOS SINEMA и Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских, международного литературного фестиваля «Редкая птица», литературной премии «Соль земли нашей».

Ксения ГАМАРНИК «ВАС ЗАЩИТИТ СЛАВА В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ...»

130 лет со дня рождения Бориса Пильняка (1894–1938)

Увы, слава эта не защитила, не уберегла от расстрела в годы Великого Террора.

Каким же он был, писатель Борис Пильняк?

Произведения его вызывали острые дискуссии в критике, каждое становилось объектом критических оценок. Особые споры вызывала идеологическая составляющая творчества Пильняка: его считали и революционным писателем, и контрреволюционным, и мелкобуржуазным. Даже появились разнообразные эпитеты с отрицательными оттенками — «пильняковщина», «пильнячество», «антипильнякин против сопливой пильнятуры», «пильняковский», «по-пильняковски», «напильнячить» и др.

Литературовед Виктор Шкловский упрекал его в том, что он «имеет цель затруднить восприятие, проецируя одно явление на другое». Экспериментальный характер прозы Пильняка был, безусловно, продиктован временем — «хаотичность» текста была созвучна хаотичности эпохи 1920-х годов.

«ГОЛЫЙ ГОД»

Роман Пильняка «Голый год» (1922) стал одним из первых художественных произведений, в которых нашла отражение эпоха после октябрьской революции. Он был положительно оценён критиками: «От романа Пильняка и других вещей остаётся привкус горечи, пыли, но этот запах крепок, бодрящ, „сказочен“. Это привносится людьми в кожаных куртках, — писал литературный критик и редактор Александр Воронский, — нет никакой допетровской Руси, она вся выветрилась, сгнула, а есть Русь кожаных курток» (большевики — К. Г.).

В то же время, «Голый год» вызвал недовольство многих. Например, литературный критик Вячеслав Полонский писал так: «Пильняк — самый сумбурный, самый нестройный и неясный писатель современности. В его революционных вещах всё перепутано, перемешано, сдвинуто, поставлено на голову, опрокинуто как в калейдоскопе. Хаос, столь любезный его сердцу романтика, он как приём перенёс в композицию своих произведений». А поэт Демьян Бедный, не стесняясь в выражениях, в «Правде» от 16 октября 1923 года и вовсе назвал Пильняка «вонючим» членом «орды невежественных попутчиков».



Обратил своё внимание на роман и Сталин, правда, назвав его рассказом. В 1924 году Сталин читал в Свердловском университете лекции «Об основах ленинизма», в которых упомянул Пильняка: «Американская деловитость является (...) противоядием против революционной маниловщины (...) Но американская деловитость имеет все шансы выродиться в узкое и беспринципное делячество, если её не соединить с русским революционным размахом. Кому не известна болезнь узкого практицизма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых „большевиков“ к перерождению и к отходу их от дела революции? Эта своеобразная болезнь получила своё отражение в рассказе Б. Пильняка „Голый год“, где изображены типы русских „большевиков“, полных воли и практической решимости, „фукцирующих“ весьма „энегрично“, но лишённых перспективы, не знающих „что к чему“ и сбивающихся, ввиду этого, с пути революционной работы» («фукцирующих», «энегрично» — так выговаривает незнакомые иностранные слова один из большевиков в романе — К. Г.).

В том же 1922 году вышел сборник Бориса Пильняка «Смертельное манит». Несмотря на то, что сборник был разрешён к печати Главлитом, специальным политконтролёрам ГПУ не понравилась вошедшая в сборник повесть «Иван да Марья». Они охарактеризовали её как «враждебную, возбуждающую в среде обывателей контрреволюционные чувства, дающую превратное представление о коммунистической партии». Весь тираж книги Пильняка «Смертельное манит» был конфискован (!). Понадобились письма Льва Троцкого, симпатизировавшего писателю, к Сталину и Каменеву, а также письмо Троцкого

в секретариат ЦК, чтобы на заседании Политбюро 10 августа 1922 года была принята резолюция №23. п. 20 «О конфискации книги Б. Пильняка „Смертельное манит“»: «Предложить ГПУ отменить конфискацию книги Пильняка».

Был раскритикован в прессе роман «Машины и волки» (1925). Впрочем, негативная реакция на «Голый год», «Машины и волки» и «Ивана да Марью» не идёт ни в какое сравнение с двумя ураганами критики, которые обрушились на Пильняка после издания «Повести непогашенной луны» (1926) и повести «Красное дерево» (1929).

«ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ»

31 октября 1925 года в московской больнице умер председатель Реввоенсовета СССР, нарком по военным и морским делам, начальник штаба РККА, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) Михаил Фрунзе. Смерть наступила во время операции по поводу язвы желудка. По Москве немедленно поползли слухи о том, что под видом операции было совершено убийство Фрунзе по приказу Сталина.

Сюжет «Повести непогашенной луны» полностью совпадал со слухами. Командарм Гаврилов прибывает по приказу в неназванный город, в «дом номер первый», где встречается с «негорбящимся человеком», в котором читатели легко узнают Сталина. На душе у командарма беспокойно из-за неожиданного вызова. Он чувствует себя хорошо и считает, что его язва зажила, однако «негорбящийся человек» приказывает ему лечь на операцию. Врачи послушно делают операцию, которая заканчивается смертью командарма.

С первых строк повесть пронизана зловещими настроениями неизбежного финала. Начинается она так: «На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть туманов, ночи, измороси; растворялась в рассвете, — указывала, что рассвет будет невесёлый, серый, изморосный. Гудки гудели долго, медленно, — один, два, три, много — сливались в серый над городом вой: это, в этот притихший перед рассветом час, гудели заводы, — но с окраин долетали визгливые, бередящие свисты паровозов, идущих и уходящих поездов, — и было совершенно понятно, что этими гудами воет город, городская душа, залапанная ныне туманной мутью».

А вот описание вечера того же дня:

|| *«В четыре часа, когда город заплакал мокрыми стёклами фонарей, подведённых, как глаза проститутки, когда особенно много*

людей на улицах, режут рожки автомобилей, гудят заводы и поезда и трещат трамваи, — к дому номер два, на окраину, подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость. Те окна дома, что выходили к заречному простору, отгорали последней щелью заката, и там, за этим простором эта щель точила, истекала запёкшейся, полиловетшей кровью»; «Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор»; «Сукровица заречного заката в окнах умерла».

Вокруг издания повести разгорелся скандал. «Тираж журнала „Новый мир“, в котором в 1926 году была напечатана повесть, был изъят ГПУ прямо в типографии, к тем же, кто успел получить журнал, приходили сотрудники Органов и под расписку повесть изымали», — поясняет писатель и журналист Виталий Шенталинский в книге «Рабы свободы. В литературных архивах КГБ».

Шенталинского дополняет Бенедикт Сарнов: «Мало того, что тираж майского номера 1926 года, в котором была напечатана эта „Повесть...“, был изъят. Весь этот тираж был отпечатан заново с заменой повести Пильняка повестью А. Сытина о борьбе с басмачеством — „Стада Аллаха“. И хотя, как уже было сказано, к подписчикам, успевшим получить журнал, приходили сотрудники ГПУ и под расписку его изымали, совсем спрятать концы в воду властям не удалось. На обложке каждого номера из этого нового тиража красовалась надпись: „Второе издание“. Какая-то часть первого тиража с повестью Пильняка до читателей, значит, всё-таки дошла, и сделать вид, что никакого ЧП не произошло, было уже невозможно» («Сталин и писатели», том 3).

Литературовед Бенедикт Сарнов проделал титаническую работу, издав четырёхтомник «Сталин и писатели» (первые три тома в 2008 г. и завершающий в 2011 г.). Тома (каждый объёмом от 830 до 1180 страниц) включают разделы, посвящённые 18-ти литераторам. Среди них Горький, Булгаков, Пастернак, Маяковский, Ахматова, Пильняк и другие. «Мне показалось необычайно заманчивым, отталкиваясь от документов и опираясь на них, внимательно и по возможности подробно рассмотреть „взаимоотношения“ со Сталиным каждого из тех писателей, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово», — написал Сарнов. В его книги вошли как документы и письма, так и его собственные размышления о пристальном интересе Сталина к литераторам.

Что касается «Повести непогашенной луны», считает Сарнов, Сталин «не мог рассматривать появление этой повести иначе как враждебную по отношению к нему лично, точно рассчитанную политическую акцию, инспирированную троцкистской оппозицией».

«Высший орган партийной (а значит, и государственной) власти на появление „Повести непогашенной луны“ отреагировал мгновенно, — продолжает рассказывать Сарнов, — тотчас по выходе майской книжки „Нового мира“, 13 мая 1926 года Политбюро принимает решение, в первом пункте которого эта повесть именуется „злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии“. Тем же пунктом своего постановления Политбюро подтверждает правильность изъятия из обращения пятой книги „Нового мира“. Далее следует перечень взысканий, которым подвергаются все лица, в той или иной мере причастные к появлению на свет этой повести и несущие ответственность за это появление».

Далее следуют перечень различных взысканий для сотрудников журнала:

«б) Поставить на вид членам редакционной коллегии „Нового мира“ Луначарскому и Степанову-Скворцову [за] помещение в „Новом мире“ этого рассказа Пильняка, а тов. Полонскому, как члену редколлегии, ответственному за художественный отдел, объявить строжайший выговор.

в) Предложить т. Воронскому письмом в редакцию „Нового мира“ отказаться от посвящения Пильняка с соответствующей мотивировкой, которая должна быть согласована с Секретариатом ЦК.

г) Редакционной коллегии „Нового мира“ одновременно с письмом тов. Воронского опубликовать своё заявление о том, что, присоединяясь к мнению тов. Воронского, она считает напечатание этого рассказа явной и грубой ошибкой.

И санкций против самого автора крамольной повести:

«д) Снять Пильняка со списка сотрудников журналов „Красная новь“, „Новый мир“ и „Звезда“ (Ленинград).

е) Запретить какую-либо перепечатку или переиздание рассказа Пильняка „Повесть о непогашенной луне“.

ж) Поручить тов. Бройдо пересмотреть договор, заключённый ГИЗом с Пильняком, в целях устранения из издания тех сочинений Пильняка, которые являются неприемлемыми в политическом отношении.

з) Поручить отделу печати ЦК распространить то же и на остальные советские издательства».

Так Политбюро чудовищно вмешивалось в творческий процесс и цензурировало литературные произведения, не дремлющим оком следя за тем, что выходило из-под пера писателей.

Пильняку пришлось писать три письма, в которых он пытался оправдаться. На письме, адресованном председателю Совнаркома Рыкову, стоят две резолюции: «С месяц тому назад я передал отделу печати ЦК, чтобы Пильняка с год не пускали в основные три журнала, но дали возможность печататься в других. В. Молотов» и «Думаю, что этого довольно. Пильняк жульничает и обманывает нас. И. Сталин».

В январе 1927 года на страницах «Нового мира» появилось «Письмо Бориса Пильняка в редакцию „Нового мира“», в котором он старательно каялся: «...не учтя внешних обстоятельств, я никак не ожидал, что эта повесть сыграет в руку контрреволюционного обывателя и будет гнуснейше им использована во вред партии, ни единым помыслом не полагал, что я пишу злостную клевету, сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие ошибки, не осознанные мною при написании. Теперь я знаю, что многое, написанное мною в повести, есть клеветнические вымыслы. Поэтому присоединяю моё мнение к мнению редакции и считаю большой ошибкой как написание, так и напечатание „Повести непогашенной луны“».

Повесть не переиздавалась до эпохи перестройки. Сегодня она воспринимается как произведение, разоблачающее сталинизм. Однако, Сарнов делает парадоксальное предположение: «...уверая, что, когда он (Пильняк — К. Г.) писал эту свою повесть, все его симпатии были на стороне изображённых в ней „героев-партийцев“, и даже — более того! — что, создавая её, он искренне полагал, что пишет „вещь героическую“, изображает „людей героической воли“, — тут, как ни дико это звучит, он не врал. Не обманывал. Он действительно хотел не осудить, не разоблачить, а героизировать этих своих персонажей. В том числе — и даже в первую очередь — „негорбящегося человека“ из „дома номер первый“. То есть — Сталина».

Каковы бы не были замыслы Пильняка в «Повести непогашенной луны», или, например, стремление Андрея Платонова воспеть строительство нового мира в повести «Котлован», эти произведения начали жить своей жизнью и обличать безжалостность тоталитарного строя.

24 января того же года было принято новое «Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об А. Пильняке. № 80. п. 35. В связи с напечатанием в № 1 „Нового мира“ за 1927 г. письма Б. Пильняка считать возможным отменить решение ПБ от 13 мая 1926 г. (пр. № 25, п. 22, подпункт „д“)

о снятии Пильняка со списков сотрудников журналов „Красная новь“, „Новый мир“ и „Звезда“». Тогда тучи на какое-то время разошлись над головой писателя.

«КРАСНОЕ ДЕРЕВО»

Новый скандал в советской печати разгорелся в связи с публикацией в 1929 году в берлинском издательстве «Петрополис» повести Пильняка «Красное дерево». Нужно отметить, что «красное дерево» — не какой-либо советский символ. Речь шла всего лишь о мебели красного дерева. Два москвича, братья Бездетовы, коллекционеры и реставраторы старинной мебели красного дерева, прибывают на пароходе в сонный город на Волге в поисках нужных им предметов мебели. Братья с говорящей фамилией символизируют прошлое, возврат к старому укладу, к дореволюционной России. Перед читателями проходит галерея образов горожан, представителей старого быта и тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее.

Вот один из самых острых фрагментов «Красного дерева», который и сегодня звучит весьма современно:

Начальство в городе жило скученно, остерегаясь, в природной подозрительности, прочего населения, заменяло общественность склочками и переизбирало каждый год само себя с одного уездного руководящего поста на другой в зависимости от группировок склочающих личностей по принципу тришкина кафтана. По тому же принципу тришкина кафтана комбинировалось и хозяйство. Хозяйствовал комбинат. Членами правления комбината были — председатель исполкома Куварзин и уполномоченный рабкриня Преснухин, председательствовал — Недосугов. Хозяиничали медленным раззорением дореволюционных богатств, головоотяпством и любовно. Маслобойный завод работал — в убыток, лесопильный — в убыток, кожевенный — без убытка, но и без прибылей, и без амортизационного счёта. Зимой по снегу, сорока-пятью лошадьми, половиной уездного населения таскали вёрст пятьдесят расстояния — новый котёл на этот кожевенный завод, — притащили и бросили — за неподходящестью, списав стоимость его в счёт прибылей и убытков; покупали корьедробилку — и тоже бросили — за негодностью, списав в счёт прибылей и убытков; покупали тогда на предмет дробления корья соломорезку — и бросили, ибо корьё не солома, — списывали. Улучшали рабочий быт жил-строительством;



Книги Б. Пильняка

купили двухэтажный деревянный дом, перевезли его на завод и — распилили на дрова, напилили пять кубов, ибо дом оказался гнил, — годных брёвен оказалось — тринадцать штук; к этим тринадцати прибавили девять тысяч рублей — и дом построили: как раз к тому времени, когда завод закрылся ввиду его, хотя и неубыточности, как прочие предприятия, но и бездоходности, — новый дом остался порожним. Убытки свои комбинат покрывал распродажей оборудования бездействующих с дореволюции предприятий, — а также такими комбинациями: — Куварзин — председатель продал леса Куварзину — члену по твёрдым ценам со скидкой в 50% — за 25 тысяч рублей, — Куварзин — член продал этот-же самый лес населению и Куварзину-председателю, в частности, — по твёрдым ценам без скидки — за пятьдесят слишком тысяч рублей.

Впрочем, ярость критиков вызвало не содержание повести, а факт её публикации за границей. 26 августа 1929 года в «Литературной газете» появилась небольшая заметка Б. Волина «Недопустимые явления». «В тот же день она была перепечатана в вечернем выпуске „Красной

газеты“. А несколько дней спустя, — рассказывает Сарнов, — в той же „Красной газете“ появилась уже не заметка, а большая, программная статья М. Чумандрина. Она называлась „Итак, что же такое Союз писателей?“. Речь шла о том Союзе, во главе которого стоял Пильняк и который Маяковский вскоре пренебрежительно назовёт „союзом пильняков“ (...) В травлю Пильняка (а заодно и Замятина, роман которого „Мы“ тоже в это время был напечатан на Западе) включились другие газеты (...) 9 сентября исполбюро Федерации объединений советских писателей вынесло решение по делу Пильняка и Замятина: „Факт издания ими за границей своих произведений может быть расценён только как проявление вредительства интересам советской литературы и всей советской страны“. Проходил месяц за месяцем, а кампания всё не утихала. Почти год спустя после появления в „Литературной газете“ заметки Волина, обозначившей начало кампании, Александр Безыменский с трибуны XVI съезда партии (июнь 1930 года) продолжал клеймить „предателей“».

Этот период описал и сын писателя Борис Андроникашвили-Пильняк:

«Ни одно из произведений Бориса Пильняка — а они всегда были нечто вроде красной тряпки для части критиков — не вызывало такого скандала. Он разразился повсеместно и шёл по нарастающей. Но в этой кампании была специфическая особенность, ещё не виданная: пытаюсь перецеголять друг друга, улюлюкая, изощряясь, критики разносили в пух и прах повесть, которую не читали. Вот одни только заголовки статей: „Недопустимое явление“, „Красное дерево“ с белой сердцевиной», «Против переклички с белой эмиграцией», «Советские писатели должны определить своё отношение к антиобщественному поступку Б.Пильняка», «Недопустимая перекличка», «Борис Пильняк — собственный корреспондент белогвардейщины. Председатель Всероссийского союза писателей», «Проверить Союз писателей», «Против переклички с эмигрантичиной» и т. д.»

На волне скандала Пильняк был отстранён от должности председателя Всероссийского союза писателей (объединившего литераторов — так называемых «попутчиков»), на которую его избрали в начале 1929 года. В 1932 году был расформирован и весь ВСП.

28 августа 1929 года Пильняк писал в открытом письме в редакцию «Литературной газеты»: «Повесть „Красное дерево“ была закончена

15 января 1929, — 14 февраля я сел за роман (ныне заканчиваемый), „Красное дерево“ в котором перерабатывается в главы. Повесть „Красное дерево“ не появилась в РСФСР не потому, что она была запрещена, но потому, что я решил её переделать». Действительно, Пильняк превратил повесть «Красное дерево» в главы верноподданнического романа «Волга впадает в Каспийское море» (1930), посвящённого строительству канала Москва — Волга.

В англоязычной Википедии без ссылок на источники упоминается о том, что Пильняк нашёл покровителя в лице Николая Ежова, будущего главы НКВД, который выступил личным цензором романа. Во время работы над «Волгой» Пильняка посещал французский писатель русского происхождения Виктор Серж (настоящая фамилия Кибальчич). В последние годы жизни, которые Серж, неутомимый критик Сталина, провёл в Мексике, он написал книгу «Воспоминания революционера». В ней он описывал встречи с литератором: «Пильняк кривил свой большой рот: „Он дал мне список из 50 отрывков, которые нужно немедленно исправить! Ах!“. Он восклицал: „Если бы только я мог писать свободно!“. В других случаях я заставлял его в муках депрессии. „Они в конце концов бросят меня в тюрьму, ты так не думаешь?“ Я придал ему мужества, объяснив, что его защитит слава в Европе и Америке». Сержу также запомнилась следующая мрачная реплика Пильняка: «В стране нет ни одного мыслящего взрослого человека, который не задумывался бы о том, что его могут расстрелять».

СОВЕТСКИЙ ВЕЛЬМОЖА

Поразительно, но, несмотря на потрясения, связанные с публикациями «Повести непогашенной луны» и «Красного дерева», Борис Пильняк, в отличие от многих других писателей, вёл благополучную жизнь представителя советской элиты, получил дачу в дачном посёлке. В 1920-е годы он был самым издаваемым писателем в СССР, в 1929–30 гг. вышло собрание его сочинений в 8-ми томах. Он широко издавался не только в своей стране, но и в переводах за рубежом. В 1921–1934 гг. Пильняк объехал полмира: побывал в Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии, странах Балтии, Греции, Турции, США, Японии, Монголии, Китае и т.д., проводя в поездках по несколько месяцев.

Роскошный образ жизни Пильняка не остался незамеченным современниками. Вот строки из письма Бориса Пастернака к сестре от 25 января 1929 года: «Раз уж взявшись за перо, хочу рассказать тебе

о Пильняке... Ты, вероятно, знаешь, что в числе четырёх-пяти наших писателей у него — мировое имя, что он переведён на много языков (...) Мы часто ездим к нему в Петровский парк, где у него чудесный небольшой коттедж, великолепный дог, привезённый из Египта, хороший подбор старинных книг, мебель красного дерева».

А вот недоброжелательная запись из дневника В. Полонского, сделанная 20 июля 1931 года:

«Вернулся из Америки Б. Пильняк. Привёз автомобиль — и на собственном автомобиле, без шофёра, прибыл из Ленинграда. Предмет всеобщей зависти: ловкач! Создаёт вокруг себя шум какой-нибудь контрреволюционной вещью, — затем быстро публично кается, пишет статью, которая обнаруживает всю глубину его „перестройки“, — тем временем статьи печатаются о нём, имя его не сходит со страниц, книги раскупаются. — Заработав отпущение грехов, получает заграничную командировку (...) И парень пожинает лавры... (...) Пильняк хитёр. Он, конечно, чужд революции. Он устряловец, чистопробный собственник, патриот „России“. Но умеет „маневрировать“, умеет кривить душой, подделываться, а главное, извлекать из всего этого „монету“».

4 января 1931 года Пильняк обратился к Сталину с длинным письмом, в котором были следующие строки:

«Ошибка „Красного Дерева“ комментировалась не только прессою на русском языке, но западноевропейской, американской и далее японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником — я ответил на это „мученичество“ письмом в европейской прессе. Но мне казалось, что это мученичество можно было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект, если бы этот „замученный“ писатель в здоровом теле и уме, неплохо одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б на литературных улицах Европы и САСШ (США — К. Г.). Мне казалось, что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и использовать моё положение для революции, мне следовало бы съездить за границу, — тем паче, что это было у меня в обычае, так как с 1921-го года, когда я впервые был за границей, я переезжал советские границы четырнадцать раз, а сейчас не был там с 1928-го года (...) Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы,

*что, если Вы мне поможете выехать за границу и работать, я сто-
рицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только
лишь революционным писателем. Я напишу нужную вещь».*

Разрешение было получено, и Пильняк сочинил слабый «О'кей! Американский роман» (1932), более похожий на сатирические путевые заметки, в котором, как и обещал, старательно ругал американцев.

В 1934 году (без даты) Пильняк обращается в ЦК ВКП(б) довольно самоуверенном тоном:

«Прошу мне и жене моей Кире Георгиевне [Андроникашвили], студентке Г[осударственного] и[нститута] к[инематографии], выдать заграничные паспорта для поездки в Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию и Норвегию. В Латвии, Эстонии и Финляндии я сделал бы доклады в связи с продлением пактов о ненападении, что находит целесообразным отдел печати НКВД, где и возникла мысль о моей поездке. Швецию и Норвегию я никогда не видел и хотел бы написать о них для советского читателя, равно, как написал бы и о лимитрофах, бывших российских губерниях. Моя жена никогда не была за границей, и я считаю нужным взять её с собой для того, чтобы будущий советский режиссёр за границу знал. Мы намереваемся пробыть за границей не больше двух месяцев. Я хотел бы выехать за границу около пятнадцатого мая».

И — снова получает разрешение на поездку.

Корней Чуковский 1 апреля 1935 года сделал в своём дневнике следующую запись:

Странная у Пильняка репутация. Живёт он очень богато, имеет две машины, мажордома, денег тратит уйму, а откуда эти деньги неизвестно, т.к. сочинения его не издаются. Должно, это гонорары от идиотов иностранцев, которые издают его книги.

Борис Андроникашвили-Пильняк предложил невинное объяснение: «Во всём этом есть как бы противоречие: с одной стороны — травля, с другой — писатель интенсивно печатается, выходят его собрания сочинений, книги; он ездит за границу. Дело в том, что тогда ещё не сложился более поздний стиль, при котором инако- или самостоятельно мыслящим просто затыкали рты. Ещё держалась, слабая, установка Ленина —

Луначарского — Горького, поддержанная Фрунзе, под руководством которого готовилась резолюция ЦК ВКП(б) по литературе 1925 года. Эта установка была за разнообразие литературы, за плюрализм».

Бенедикт Сарнов, в свою очередь, предлагает другое объяснение безбедной жизни Пильняка. Он делает осторожное предположение относительно того, что Пильняк мог быть «агентом влияния», то есть, человеком, прославляющим за границей достижения советского строя. Он также предполагает, что многомесячная кампания против «Красного дерева» была создана искусственно: «Всё это даёт основания предположить, что подспудная — и едва ли даже не главная — цель „антипильняковской“ кампании, начавшейся в августе 1929 года и с невиданным размахом продолжавшейся более полугода, состояла в том, чтобы создать Пильняку вот этот самый ореол мученика, а затем, как деликатно выразился по этому поводу сам Пильняк, „это мученичество использовать политически“», — пишет Сарнов.

В подкрепление своей гипотезы о Пильняке-агенте влияния Сарнов цитирует рассказ журналиста Ивана Гронского:

«В одной из бесед со мной Сталин очень интересовался материальными условиями, жизнью Пильняка. Сталин даже просил оказывать ему всевозможную поддержку. Я заметил Сталину, что Пильняк средний писатель и есть более талантливые, которые нуждаются в нашей поддержке. На что Сталин мягко возразил: „Он нужен нам не только как литератор“. И действительно, почти каждый год Пильняк ездил за границу».

28 октября 1937 года Пильняк с женой отмечали день рождения сына Бори — ему исполнилось три года. Сыну, несмотря на столь юный возраст, навсегда запомнился тот день: «В десять часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Борис Андреевич встречался с ним в Японии, где „человек в белом“ работал в посольстве. Он был сама любезность. „Николай Иванович, — сказал он, — срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома“. Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны при упоминании имени Ежова, он добавил: „Возьмите свою машину, на ней и вернётесь“. Борис Андреевич кивнул: „Поехали“. Кира Георгиевна, сдерживая слёзы, вынесла узелок. „Зачем?“ — отверг Борис Андреевич. „Кира Георгиевна, Борис Андреевич через час вернётся!“ — с упреком сказал человек в белом. Мама настойчиво про-

тягивала узелок, срывая игру, предложенную любезным человеком, но Борис Андреевич узелка не взял. „Он хотел уйти из дому свободным человеком, а не арестантом“, — поняла мама. Борис Андреевич, конечно, не вернулся. Через месяц была арестована прямо на студии и Кира Георгиевна».

На пятый день после ареста Пильняк пишет покаянное письмо Ежову:

«Я ставлю перед собой вопрос, правильно ли поступило НКВД, арестовав меня,—и отвечаю, да, правильно... Моя жизнь и мои дела указывают, что все годы я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет для меня только уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно».

Письмо, конечно, не возымело действия. Вместо этого Пильняка вынудили сознаться в контрреволюции, терроре, шпионаже на японскую разведку, в разговорах с коллегами-литераторами об убийстве Сталина и в подготовке убийства Ежова.

21 апреля 1938 года состоялся суд Военной коллегии Верховного Суда СССР, который продлился 15 минут. Пильняк был приговорён к смертной казни за измену родине и в тот же день расстрелян в Москве на расстрельном полигоне «Коммунарка».

В какой-то момент, предполагает Сарнов, Сталин мог решить, что Пильняк ему больше не нужен. И, конечно же, Сталин не забыл и не простил писателю «Повесть непогашенной луны». Надежды Виктора Сержа на то, что Пильняка защитит слава в Европе и Америке, не оправдались.

МИРЫ ПЛАТОНОВА

К 125-летию со дня рождения (1 сентября)

НЕПОВТОРИМОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ МАНЕРЫ

Творчество Андрея Платоновича Платонова (1899–1951) — уникальное явление в русской литературе, целый космос. Герои Платонова одиноко блуждают в поисках самопознания, будущего счастья человечества и тайн мироустройства. Они невидимыми нитями неразрывно связаны с землёй и водой, с животными и растениями («рыбы влияют на человечество. Рыбы понимают мир гораздо лучше нас, но они очень мудры и не хотят рассказывать об этом никому», роман «Чевенгур», 1929). При этом люди связаны не только с природным миром, но и с машинами, механизмами («...во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти ... Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял всё, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла», рассказ «Фро», 1937). И не только с механизмами, но даже со старыми вещами, осенними листьями и камнями, которые собирает в свой мешок герой «Котлована» Вощёв («Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощёва, его принёс ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощёв подобрал отсохший лист и спрятал его



в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. „Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощёв, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить“», повесть «Котлован», 1931).

Таким образом, мир Платонова напоминает незримую грибницу, пронизывающую и соединяющую всё и вся, живое и неживое, прошлое и будущее. «Путь духовного становления многих героев Платонова ведёт назад, в детство, где всё едино и целостно, где не порвалась ещё связь маленького человека с космосом», — замечает платоновед Наталья Брагина.

Трудно найти писателей, с которыми можно было бы сравнить творчество Платонова — оно неповторимо. Однако напрашивается параллель с живописью российского художника Павла Филонова (1883–1941), который стремился запечатлеть в своих холстах связь человека с космосом, движение души и тела. Филонов в своих работах столь же неповторим, как Платонов в прозе.

Произведениям Платонова присущ уникальный стиль. Евгения Гаврилова в статье «Андрей Платонов и Павел Филонов: о поэтике повести „Котлован“» пишет: «Андрей Платонов при первом знакомстве ошеломляет всякого. Его язык, диковинный, но и в высшей степени органичный, глубоко волнует. Манера кажется вычурной, трудно совладать с искушением сгладить, выпрямить этот вызывающий болезненное чувство стиль. Однако внутренняя упорядоченность речи, подчинённость общему замыслу не подлежат сомнению».

Проза Платонова с её синтаксически неправильными конструкциями нередко напоминает протоколы заседаний, написанные малограмотным крестьянином или рабочим, щедро приправленные советскими бюрократизмами и газетными лозунгами («В наше время бредущий созерцатель — это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма», повесть «Впрок», 1931).

Но не только «нескладностью», «самодельностью» стиля отличаются произведения Платонова. Он то и дело показывает своих героев

в планетарной перспективе («Вдали, в тишине, словно за мёртвым занавесом, в близком, но другом мире, что-то постоянно гукало (...) Звуки повторялись опять, они шли редко, с мёртвыми паузами, одолевая пустые места пустоты, — будто капала влага огромными леденеющими каплями, будто изредка кратко звал рожок, который уносили всё дальше по синим лесам, или шло большое звёздное время, что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части, а может быть, эти звуки раздавались гораздо ближе — внутри самого тела Чагатаева, и они происходили от медленного биения его собственной души, напоминая собой ту главную жизнь, которая сейчас забыта им, задушена горем в сжавшемся сердце», повесть «Джан», 1934). История главного героя повести «Джан» Назара Чагатаева, ведущего по пустыне свой вымиравший от голода народ джан, читается как былинное сказание, почти как библейская притча о Моисее, ведущем свой народ через пустыню.

Очень важна для писателя тема смерти и её преодоления. Платонов был увлечён философскими идеями о вечной жизни и воскрешении мёртвой материи. В сознании его героев преодоление смерти связывается с будущим приходом коммунизма («Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей? — Нет... — Врёшь! (...) Марксизм всё сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит?» («Котлован»). «Больше он сюда не вернётся. Он втайне прощался со всеми здешними, мёртвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми — сами по себе или посредством человека (...) Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему ещё долго предстояло здесь находиться, может быть вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым» («Джан»).

Присущи прозе Платонова и сатирические краски. Вот, например, фрагмент рассказа «Товарищ пролетариата», который исследователи датируют 1929 годом:

Всуев жил в Советском Союзе два года; истинная фамилия его была Всуэ, происхождения он не помнил (...) В СССР тов. Всуев приехал по нужде. В Австралии он встретил однажды советского человека, пасшего кроликов. Тот человек ему рассказал про СССР всё, что знал, и сам заплакал от воспоминаний.

— Там что такое? — спросил его Всуев. — Отчего ты плачешь по родине, а сам уехал из неё...

— Да я там бандитом был, — сказал плачущий, — а здесь целиком осознался. Сижу теперь и горюю (...) Там любой дурак счастлив теперь. Там ударный инженер самую прелестную комсомолку может свободно полюбить...

— А она? — спросил Всуев.

— А она — как захочет, — объяснил бандит. — Там теперь всемирное счастье скапливается в один бугор, а я здесь одиночных кроликов стерегу, низкую сволочь такую!..

Вслед тому бандит привлёк одного толстого кролика, питавшегося вблизи, и вручную задушил его как представителя местной буржуазии.

— Спи теперь вечно, гнусная личность, — сказал кролику бандит.

Сегодняшнему читателю не только отдельные пассажи, но и целые произведения Платонова могут показаться тонким троллингом советской власти, но это обманчивое впечатление. Юный Платонов искренне, с религиозным фанатизмом, поверил в идеи революции, во время Гражданской войны вступил в Красную армию и воевал на стороне большевиков. Его небольшая ранняя статья «Христос и мы» (1920) завершается следующими словами: «Пролетариат, сын отчаяния, полон гнева и огня мщения. И этот гнев выше всякой небесной любви, ибо только он родит царство Христа на земле. Наши пулемёты на фронтах выше евангельских слов. Красный солдат выше святого. Ибо то, о чём они только думали, мы делаем. Люди видели в Христе бога, мы знаем его как своего друга. Не ваш он, храмы и жрецы, а наш. Он давно мёртв, но мы делаем его дело — и он жив в нас».

Позднее, как человек остро чувствующий, Платонов не мог закрывать глаза на происходящее: на варварскую коллективизацию, на бесконечные поиски врагов, на устроившихся на сытные места новоявленных чиновников. Приговор советской власти писатель вольно или невольно вынес в повести «Котлован», где раскулаченных крестьян зимой отправляют на плоту «к морю», то есть, на верную смерть; где роют бессмысленно огромный, всё увеличивающийся котлован под фундамент общего дома для всех горожан; где умирает девочка Настя, олицетворяющая будущее страны.

ТРУДНАЯ СУДЬБА

Старший сын в многодетной семье слесаря железнодорожных мастерских, выпускник Воронежского рабочего железнодорожного

политехникума, Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия Климентов, взял псевдоним по имени отца) работал помощником машиниста паровоза, электриком, инженером, был автором многочисленных технических изобретений. В то же время он ощущал такую тесную связь с землёй, словно был крестьянином, землепашцем.

Начиная с 1918 года, Платонов много печатался в воронежской прессе — прозу, поэзию, публицистику. В 1921 году вышла его первая брошюра «Электрификация».

Потрясённый вестями о страшном голоде в Поволжье, Платонов в 1922 году поступил на службу в Воронежское губернское земельное управление и возглавил губернскую Комиссию по гидрофикации, участвовал в создании и работе Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом. В 1923–1926 годах работал инженером-мелиоратором и специалистом по электрификации сельского хозяйства, заведовал отделом электрификации и руководил строительством трёх электростанций местного значения.

Переезд в Москву в 1926 году позволил сосредоточиться на литературном труде — уже в следующем году в журнале «Молодая гвардия» вышла повесть «Епифанские шлюзы», и, вслед затем, одноимённый сборник повестей и рассказов. В 1927–1930 годы Платонов работает взахлёб, создаёт свои самые значительные произведения — роман «Чевенгур» и повесть «Котлован», ещё несколько повестей, рассказов и пьес. Увы, ему не суждено было увидеть «Чевенгур» и «Котлован» изданными, их напечатали впервые только несколько десятилетий спустя, в годы перестройки. Правда, отрывки из романа «Чевенгур» публиковались в советских журналах в 1928–29 годах, но полностью издать роман тогда не удалось.

Трудности с публикацией произведений начались у Платонова в год «великого перелома», после того, как в сентябре 1929 года на страницах журнала «Октябрь» появился его рассказ «Усомнившийся Макар». Крестьянин Макар едет в Москву и ходит там по учреждениям, предлагая свои изобретения. Бюрократов и учреждения автор изображает в ироничных красках: «Пётр начал читать Макару книжки Ленина вслух. — Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Пётр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают как дураки».

Критика встретила рассказ в штыки. Ноябрьский номер «Октябрь» вышел со статьёй «О целостных масштабах и частных Макарах» Леопольда Авербаха, одного из лидеров Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), где Платонов обвинялся в анархоиндивидуализме. В том же номере было опубликовано примечание от редакции, подписанное Фадеевым, Серафимовичем и Шолоховым, где было сказано: «Редакция разделяет точку зрения т. Авербаха на рассказ „Усомнившийся Макар“ А. Платонова и напечатание рассказа считает ошибкой». Рассказ был переиздан лишь в 1987 году.

Гром грянул в 1931 году, когда в журнале «Красная новь» увидела свет платоновская повесть «Впрок», или, как её обозначил автор, «бедняцкая хроника». Герой хроники путешествует из колхоза в колхоз и не только отмечает положительные стороны увиденного, но и резко критикует недостатки в организации колхозов. Несмотря на то, что в повести в самом положительном ключе неоднократно упоминается имя Сталина, сам вождь отнёсся к публикации настолько негативно, что написал прямо на странице журнала резолюцию:

К сведению редакции «Кр[асная] н[овь]». Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойдённую слепоту.

Р. С. Надо бы наказать и автора, и головотяпов так, чтобы наказание пошло им «впрок». И. Ст.

Заглаживая свою «ошибку», Фадеев пишет в «Известиях» разгромную статью «Об одной кулацкой хронике». Платонова «проработывают» на писательском собрании. В «Правде», «Литературной газете» и других изданиях одна за другой выходят разоблачительные статьи, в которых Платонова клеймят как «литературного подкулачника» и даже «классового врага». Платонов написал покаянные письма Сталину и Горькому, но они остались без ответа. Он превратился в писателя, пишущего «в стол». Правда, в 1937 году Платонову удалось опубликовать сборник рассказов «Река Потудань», но и он немедленно подвергся жёсткой критике.

Положение исправилось только во время Второй мировой войны, когда Платонов в звании капитана, затем майора работал военкором

газеты «Красная звезда», постоянно рискуя жизнью, принимал участие в военных действиях под Москвой, Ржевом, на Курской дуге, его забрасывали к белорусским партизанам. Платонов печатал рассказы и военные репортажи, у него вышло четыре сборника рассказов. Но эта полоса быстро закончилась, когда писатель был вновь распят критикой за рассказ «Семья Ивановых» (другое название «Возвращение», 1946). Герой рассказа фронтовик Иванов разрывается между семьёй и новой любовью. Главный редактор «Литературной газеты» Ермилов обозвал рассказ «гнуснейшей клеветой на советских людей», Фадеев в «Правде» — «выползшей на страницы печати обывательской сплетней».

Каким-то чудом Платонов, несмотря на неприятие его творчества Сталиным, сумел не попасть под каток репрессий. Писатель даже поучаствовал, по-видимому, искренне, в людоедских плясках того времени: в январе 1937 года, во время судебного процесса над «параллельным троцкистским центром», в «Литературной газете» вышла его статья «Преодоление злодейства»:

Разве в «душе» Радека, Пятакова или прочих преступников есть какое-либо органическое, теплотворное начало, — разве они могут называться людьми хотя бы в элементарном смысле? Нет, это уже нечто неорганическое, хотя и смертельно-ядовитое, как трупный яд из чудовища (...) Уничтожение этих особых злодеев является естественным, жизненным делом. Жизнь рабочего человека в Советском Союзе священна, и кто её умерщвляет, тому больше не придётся дышать.

А в 1938 году пришли за сыном Платонова. Даже если человеку удавалось избежать расстрела и лагерей, нередко власть дотягивалась до него через его детей. Так, в 1939 году 26-летняя Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой, получила восемь лет исправительно-трудовых лагерей; её одноклассник Лев Гумилёв, сын Анны Ахматовой, после двух непродолжительных арестов в 1933 и 1935 гг. был в 1938 году приговорён к пяти годам лагерей (В 1949 году Эфрон и Гумилёва арестовали и осудили снова, реабилитировали в 1955 и 1956 гг.). Платону, сыну Андрея Платонова, во время ареста и вовсе было всего 15 лет. У НКВДистов нашёлся формальный повод для ареста Платона и его 18-летнего друга, сына писателя Архипова. Друга расстреляли, Платон получил десять лет лагерей. Платонов писал письма Сталину, наркомуну внутрен-

них дел Ежову и другим высшим лицам. Юношу удалось вызволить из лагеря в 1940 году благодаря хлопотам Шолохова, но он успел заболеть в лагере туберкулёзом и умер в 1943 году.

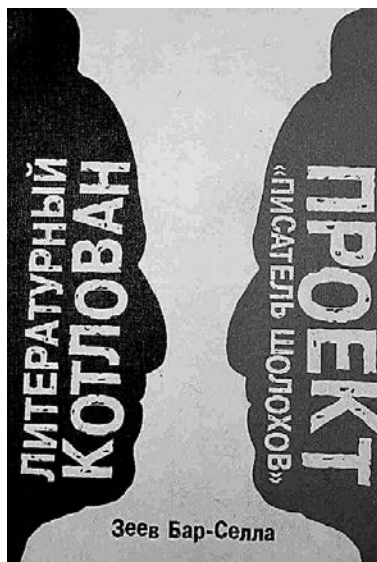
ПЛАТОНОВ И ШОЛОХОВ: ВЕРСИИ

В июне 2003 года в «Новой газете» вышел материал Николая Журавлёва «Они писали за Шолохова. Самый грандиозный литературный проект XX века». Статья была посвящена подготовке публикации сенсационной книги друга Журавлёва, израильского литературоведа Зеева Бар-Селлы. В 1973 году Владимир Назаров эмигрировал в Израиль, где принял имя Зеев Бар-Селла (буквальный перевод на иврит имени Владимир Петрович: Волк, сын Камня (Скалы), под которым он с тех публикуется. Начиная с 1980-х годов, Бар-Селла изучает проблему авторства книг Михаила Шолохова.

Подозрения относительно того, что роман «Тихий Дон» написан не Шолоховым, не новы. Первые слухи о плагиате появились ещё в 1928 году, одновременно (!) с выходом первых двух томов «Тихого Дона» в журнале «Октябрь». Судачили о том, что Шолохов присвоил рукопись, которую нашёл в полевой сумке неизвестного белого офицера, расстрелянного большевиками. Желая положить конец слухам, Шолохов обратился в редакцию газеты «Правда». По инициативе Марии Ульяновой, сестры Ленина, в РАППе была организована комиссия под председательством Серафимовича, которая рассмотрела рукопись первых трёх томов и черновики четвёртого. В марте 1929 года в «Правде» появилось письмо от имени РАППа, в котором обвинения, выдвинутые против Шолохова, были отвергнуты как злостная клевета. Письмо подписали члены комиссии — литераторы Серафимович, Фадеев, Авербах, Киршон и Ставский.

В письме к жене от 23 марта 1929 года Шолохов писал:

|| по Москве слух, что авторитетная комиссия установила мой плагиат», и добавлял, что 21 марта «у Авербаха спрашивал об этом



т. Сталин», а «иностранные корреспонденты спрашивали у РОСТА соглашение, чтобы телеграфировать в иностранные газеты о „шолоховском плагиате».

В марте 1939 года Шолохов, выступая на XVIII съезде ВКП(б), сделал едва ли не чистосердечное признание: «В частях Красной Армии, под её овеянными славой красными знамёнами, будем бить врага так, как никто никогда его не бивал, и смею вас уверить, товарищи делегаты съезда, что полевых сумок бросать не будем — нам этот японский обычай, ну... не к лицу. Чужие сумки соберём... потому что в нашем литературном хозяйстве содержимое этих сумок впоследствии пригодится. Разгромив врагов, мы ещё напишем книги о том, как мы этих врагов били».

«Тихий Дон» сопровождают странные истории о то ли потерянных, то ли сгоревших в пожаре под бомбёжкой, но найденных в 1987 и 1999 годах черновиках. Графологическая экспертиза установила, что черновики написаны рукой Шолохова, однако сторонников версии плагиата это не убедило, они доказывают, что Шолохов всего лишь переписал их с оригинала.

Начиная с 1970-х годов на Западе, а после перестройки и в России появился ряд исследований относительно подлинности авторства «Тихого Дона». В свою очередь, Бар-Селла уверен в том, что не только «Тихий Дон», а все произведения Шолохова написаны не им, а другими авторами, иногда целыми авторскими коллективами.

В своей статье Журавлёв пересказал основные идеи Бар-Селлы:

- настоящим автором «Тихого Дона» был литератор, главный редактор газеты «Донская волна» Вениамин Алексеевич Краснушкин (1891–1920) (литературный псевдоним — Виктор Севский). «Остаётся только уточнить два немаловажных обстоятельства, — пишет Журавлёв, — исходный текст романа, написанный Севским, — это первый и второй тома полностью, третий — более половины, четвёртый — несколько последних страниц. Остальное — результат деятельности проектантов (Бар-Селла считает, что роман дописывала группа авторов — К. Г.).
- «Ритм выхода текстов „Поднятой целины“» странным образом коррелирует с судьбой некоего донского же литератора Константина Ивановича Каргина, который во время войны попал в плен, а после предпочёл стать „перемещённым лицом“, а попросту —

изменником Родины, оставшимся на Западе. Но почему-то в 1959 году его „прощают“, явно выдают гарантии, и он возвращается. Наказаний никаких, но зато вскоре начинают выходить новые главы „Поднятой целины“», — пишет журналист.

- «А что до так и не оконченного романа „Они сражались за Родину“, то читателей и вообще всю общественность ждёт сенсация (...), — продолжает описывать книгу друга Журавлёв. — А какого мастера такого уровня в то время можно было заставить стать „негром“? Только такого, у которого настолько туго с добыванием хлеба насущного, у которого перекрыты все пути в литературу, у которого плюс к этому серьёзнейшие неприятности в семье по части репрессий, что он готов на всё. И этому человеку Шолохов по старой и тесной дружбе помогает (по его же словам) освободить сына. А когда Сталин (скорее всего, „ничего не знавший об этом „литературном заговоре“) мягко так советует Шолохову написать очередную эпопею про идущую войну, к кому он мог обратиться за спасением, коль скоро большая часть покровителей проекта была расстреляна? Только к старому другу, с которым они регулярно пили водку, запершись на кухне в квартирке на Тверском бульваре. Как и в задачке с Севским, под все эти условия подходит только один человек — Андрей Платонов (...) И почему-то после его ранней смерти работа над романом прекращается навсегда».

В марте 2005 года Журавлёв опубликовал ещё одну статью «Гений в неграх Родины: Неужели и „Они сражались за Родину“ писал не Шолохов?», в которой настаивал на том, что Платонов помогал Шолохову писать роман «Они сражались за Родину», и приводил для сравнения фрагменты их прозы.

Книга Зеева Бар-Селлы «Литературный котлован. Проект „Писатель Шолохов“» объёмом 460 страниц (из которых 65 — это научно-справочный аппарат), ставшая результатом двадцатилетнего труда, увидела свет в 2005 году.

В интервью «Шолохов вообще не был писателем» всё той же «Новой газете» в сентябре 2005 года, приуроченном к выходу книги, Бар-Селла подчёркивал:

|| *Биография Шолохова писалась задним числом в соответствии с сочинениями, выпущенными под его именем. Это не жизнь реального*

человека, а политико-идеологический проект. Удалось обнаружить и зачинателя этого проекта — ИНФО ОГПУ. Проще говоря, информационный отдел тогдашней спецслужбы, курировавший, в частности, интеллектуальную жизнь страны.

На вопрос Журавлёва о том, почему в книге нет ни слова о «Тихом Доне», исследователь ответил:

Фрагменты моей следующей книги — «Тихий Дон» против Шолохова. Текстология преступления» — с 1988 года публикуются в израильской, а с 1990 года — в советской, затем российской печати (...) На данном этапе неважно, кто был автором «Тихого Дона». Кто бы это ни был, он был, несомненно, писателем. А сегодня мне совершенно ясно: Шолохов писателем-то и не был. Доказательству этого утверждения и посвящена моя книга. Поэтому «Тихий Дон» мне пока не понадобился. Но это только пока. Будет вторая часть исследования. А нетерпеливых читателей я отсылаю к упоминавшимся работам из серии «Тихий Дон» против Шолохова.

Член-корреспондент АН СССР, литературовед Феликс Кузнецов в том же 2005 году издал книгу «„Тихий Дон“: судьба и правда великого романа», в которой вступил в яростную полемику с Бар-Селлой и другими сторонниками версии плагиата, которых Кузнецов назвал «антишолоховедами».

Несмотря на усилия сторонников идеи о подлинности авторства Шолохова, Бар-Селла продолжает развивать мысль о том, что за Шолохова сочиняли другие писатели, и, среди них, Андрей Платонов. Коснулся от этой темы и в интервью: «„Писатель Шолохов“ и ГПУ», которое вышло в интернет-издании «Лента.ру» в 2015 году:

«Поднятая целина» — тоже коллективное творчество, много людей приложило к ней руку, например Борис Пильняк. В этом романе есть очень интересный библейский пласт: создаётся новая земля и т.д. Его, я полагаю, писал Марк Эгарт, который как раз тогда вернулся из Палестины, начитавшись сионистской литературы. А третий незаконченный роман «Они сражались за Родину» — это вообще чудовищная лажа. Однако батальные сцены написаны Платоновым, без них нечего было бы экранизировать. Правда, яркий узнаваемый стиль Платонова сильнеешим образом отредактирован.

К настоящему времени скопился огромный массив исследований, посвящённых проблеме авторства Шолохова. Литературоведы ломают копья, одни доказывают, что Шолохов писал сам, другие категорически не согласны с этим. Есть и такие, которые не соглашаются с версией Бар-Селлы относительно Краснушкина-Ставского и предлагают других кандидатов в авторы «Тихого Дона», например, участника Белого движения Фёдора Крюкова. Бар-Селла продолжает писать статьи о Шолохове, но вторая, обещанная им ещё в 2005 году книга до сих пор не вышла. Вопрос о том, писал ли Платонов за Шолохова, остаётся открытым.

ОБ АВТОРЕ

***Ксения Гамарник** родилась в Киеве. Окончила художественное училище и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения (факультет театроведения).*

С 1994 года живёт в Филадельфии.

Публиковалась в украинских, американских и канадских периодических изданиях: в журналах «Український театр», «Сучасність», «Ренессанс», «Побережье», «Русские евреи в Америке», «Зеркало», украинских и американских газетах. Автор книги «Влюблённые в театр» (2014), написанной в соавторстве с литературоведом Ириной Панченко. Постоянный автор журнала «Времена».

Эрик ФРИДМАН
ЗНАКИ НА ПЕСКЕ

* * *

Рисует знаки ветер на песке
О том, что жизнь висит на волоске
Выводит вязью старым суахили
Что нас, возможно, боги разлюбили

Я верю в то, что я не одинок
Вода мне лижет ноги как щенок
Соль, проникая, заживляет раны
На брег выходят волны-великаны

Они как тридцать три богатыря —
На страже у границы ноября
И декабря. Вождём у них старик
Седой и крепкий дядька Атлантик.

А в это время там над головой
Витает, сохраняя мой покой
Крылатый и породистый рысак
Следит он, чтоб источник не иссяк

А выше, выше... там, где луна-парк
Ремарку пишет горестный Ремарк
Записывает посреди каверн
«У них на фронте всё без перемен».

* * *

Узкие кровати
Коврик на стене
Ленин на плакате
Иней на окне
Пьяные соседи
Под гармонь поют
Закусон весь съеден
Водку с пивом пьют
Звёздная дорога
В голове мечты
Подожди немного
Вспомнишь всё и ты
Снег как комья ваты
Как часы капель
Мир в лучах заката
Словно акварель
Маленький кораблик
Лужа — океан
Юнгой друг мой Павлик
Я же — капитан
Мачта из бумаги
Тонкая корма
Спичечные флаги
Не страшны шторма
Память мне в наследство —
Ариадны нить
Как вернуться в детство?
Как к нему доплыть?
Чтоб назло потерям
Верить небесам
Постучаться в двери:
«Я вернулся, мам!».

* * *

Вода так плещется о причал —
Наводит берегу марафет —
Как будто время — начало начал
Как будто смерти в помине нет
На ветке сломанной ворон спит
Застыл как идол. Как бафомет
Телепатически мне твердит:
«Memento mori. И жизни нет —
Она внезапно сломалась в нас».
Звенит зловещая тишина.
Как страшен тот предрассветный час,
В который снова вошла война
Ты видишь всполохи из-за туч?
Как тень закрыла родной плетень
Во тьме кромешной средь тысяч Буч
Пытаюсь снова увидеть день
Гляжу в себя. Разглядеть бы свет
Что изнутри светит, не извне
Но вижу демона силуэт
Не на войне я...
Война во мне...

* * *

Приоткрой шкаф, там висят скелеты
Пролистнёшь альбом — много мёртвых лиц
В голове туман, в кошельке монеты
Ключья на столе порванных страниц

Поглядишь в окно и увидишь метку
Птичий силуэт иль крылатый зверь
Скоро подлетит, да в грудную клетку —
В сердце постучит, как стучатся в дверь

Подойдёшь к стене, чтоб пройти сквозь стену
 Но за той стеной — новая стена
 Сколько не ищи, не найти замены...
 Связь прекращена, связь прекращена

Не застынет воск — не построить крылья
 А построишь, то — не вернуться вспять
 Путь назад всегда припорошен пылью
 И следов уже нам не отыскать

Сядешь, отдохнёшь на пороге храма
 И молитву-плач сложишь по родным
 А вокруг пейзаж, как кардиограмма
 Тополя. Поля. А над ними дым!

* * *

Мчится поезд по дохлым рыбам
 Здесь когда-то был океан
 Нас подбрасывает на изгибах
 Машинист от движения пьян
 Люди в окна глядят как дельфины
 Бьёт попутчик хвостом и свистит
 Пахнет тамбуром и мандарином
 Под колёсами лёд хрустит.
 Мы плывём сквозь туманное млеко
 Здесь столбы вдоль дорог — как кресты
 Возвращаемся снова в реку
 Все пути идут через мосты
 А с мостов протекаем в тоннели
 В темноте сердце слабое — ёк!
 «Сэры, леди, месье, мадемузели!
 Мы допыли, вылазьте! Нью Йорк»
 Фоном сакс зарыдал в миноре
 Чёрный парень мне крикнул: «Братан!»
 И я выплыл в безбрежное море —
 В Ядовитый людской океан...

* * *

Дракон летящий низко — это к снегу
А если два — суровой быть зиме
Готовимся к побегу и к набегу
Варяги — в этом наше резюме

В предошущенье пушкинской метели
Глядим с тоскою в окна из авто
Из гоголевской выбравшись шинели
Пытаемся укутаться в пальто

В душе печаль, а в банках ипотеки
В телах ковид, вакцина и январь
Там где столкнулись улица с аптекой
Светиться перестал давно фонарь

И звёзды как-то странно потускнели
И старый дуб болконского зачах
И мы с тобой немного постарели...
Но там у озера с названьем странным Чад

По-прежнему гуляет очень стройный
Надежду дарящий изысканный жираф
Немного он, конечно, малохольный
Но с нами, по сравненью, всё же здрав

Вот он остановился на поляне
Поправил венчик беленький из роз
И шея у него от модильяни
В ушах висят серёжки из стрекоз

Над головою грозно и фатально
Летят гуськом драконы-облака
И может быть мы заживём нормально
Когда-нибудь. Возможно. А пока

Пока живёт жираф такой на свете
То каждый божий день его молю:
«Пожалуйста, скажи моей планете,
Что я её и вот такой люблю»

* * *

О чём поют мне песнь ночные птицы
На языке, подвластном небесам
О том, о чём голодная волчица
Так молится на светлый лунный храм
О том, о чём молчат слепые сосны
Ветвями шаря в воздухе густом
О том, о чём кому-то папиросно
Вверх машут трубы дымчатым хвостом
О том, о чём порой грустит ракета
Прижавшись тесно листьями к избе
О том, о чём мечтала Маргарита
Навстречу мчась неведомой судьбе
О том, куда плывут по морю лодки —
Сигнальные их манят маяки
О том, о чём молчат любые сводки
И не расскажут линии руки
О том, о чём писал в стихах Овидий
Коринну прославляя на весь Рим
О том, чего мы, чувствуя, не видим
И дарим неразборчиво другим
О том, как все попытки бесполезны
Не выведет из лабиринта нить
О том, что было. Было и исчезло
И вряд ли уже это возвратить...

* * *

Здесь высотки, как пирамиды —
Фараонов нью-йорских гробницы,
А Мухамеды и Саиды
Возят жёлтые их колесницы

Среди стали, стекла, бетона
По туннелям удушливых улиц
Водят под руки тутанхамоны
Дерма гелем надутых «куриц»

В унисон крещендо клаксонов
В подворотнях то Jaу-z, то Брамс
Чёрный парень на саксофоне
Исполняет «Brothers in arms»

В туалете публичном нечистом,
При открытых дверях напоказ
Совершенно обдолбанный хипстер
Обнимает разбитый фаянс

А в Квадрате Длинного Акра*
Cow-мальчик бренчит на банджо
И ему так мешает подагра
Но содействует голая жо...*

В централ парке в каплях дождя,
Где играла тень с бликами света
Я индейского встретил вождя —
Он за бусы продал Манхэттен

* Квадрат Длинного Акра — дословный перевод *Longacre Square* — старое название Times Square, в людской суете которого можно встретить много разных «проходимцев», в том числе голого ковбоя, который, одетый только в стринги, играет на струнных инструментах на потеху толпе...

На скамейке сидел и курил
Трубку мира — дым облачком вился
Молча мне покурить предложил,
Я подумал и согласился

За деревья, за пруд, за дома
Красным яблоком солнце катилось
Чтобы нам не сойти с ума
Время замерло-остановилось...

* * *

Палящий август воск расплавил
Хоть поражение не приемлю
Полёт мне мужества прибавил
Но поздно — падаю на землю

Нет, ни о чём я не жалею
Немного грустно от бессилья
От осознания — не сумею
Я новые расправить крылья

А может мне это не надо
И если всё разумно взвесить
Давно не ждёт меня Эллада
Довольно в небе куролесить

Закат августовский румяный
Бледнеет, чуть заметно старясь
К земле я тёплой прижимаюсь
Я жёлтый лист. Я лист багряный.

* * *

Замерли деревья в карауле
Влажность мокрой ветошью висит
В августе неспешно, как в июле
Небо с океаном говорит

Шёпотом рассказывает сказку
С тёплым бризом нежится волна
Юный клён в саду сменил окраску,
Относив зелёное сполна

И готовясь к мудрому взрослению,
От сословной спеси покраснел.
Древний дуб смотритель за именем,
Видя это всё — поздоровел.

Хоровод под дубом водят белки
На цепи сидит учёный кот
Он в саду устроил посиделки
Гостем у него сегодня крот

Гуси лебеди летят в туманной дымке
В облака забив пернатый клин
Мир вокруг — волшебные картинки
Позабывших песен и былин

Свет погаснет скоро.
Ровно в восемь
Мир накроет тёмная вуаль
Незаметно к нам подкралась осень...
И себя и прошлого мне жаль.

* * *

Я завтракал. Обычный будний день.
Разбитым блюдцем пряталось светило
За тучи. Их изломанная тень
В мой дом бесплотным призраком входила

Я кофе пил. В саду сгущалась тьма
За окнами кружился рой пернатых
Дрожала штор широкая тесьма
Пел о любви по радио Синатра

Я шнуровал ботинки.
Муравьи
В раздумьях изучали мои руки
Бесстрашные хранители двери
И витязи в хитиновой кольчуге

В машину сел. Внезапно на стекло
Посыпался с небес толчёный бисер
Полфунта намело иль полкило
Я путаюсь в понятиях этих чисел

Я выехал. Безжалостный хайвей
Меня помчал по воле кукловода
Прекрасное искать в рутине дней —
Поэзию в последней прозе года...

* * *

Душа зияет тёмной брешью
Болит, уставшая от ран
Волна играет — азулежью
Мне лечит сердце океан

Приливом «шшшш» приносит звуки
В них окончанья местных слов
И шхун позвякиванья. Стуки
Как перезвон колоколов

Шипят кудрявые барханы
Как жидкий и кипящий мел,
Спят скалы — чудо-великаны —
Останки древних каравелл

Их паруса рукой воздушной
Перекроил бог в облака
Они зовут великодушно:
«Бросай, старик, свой мир бэушный!»
И я всё брошу! Но пока...

Пока стою Земли у кромки
На чаше призрачных весов
И собираю здесь обломки
Хрустальных судеб, хрупких слов

Иду направо — цвет лазури
Налево — кобальт неземной
Здесь путник редкий ищет бури
А я от бурь ищу покой

Сливаюсь тихо со стихией
Я — пена волн, морская соль
И чудной психотерапией
Врачую всю земную боль

ОБ АВТОРЕ

Эрик Фридман родился в 1968 году в городе Черновцы (Украина). Практически сразу после его рождения семья переехала жить в Калугу, где в начале восьмидесятых Эрик закончил среднюю школу. Закончил Московский медицинский стоматологический институт.

В ноябре 1993 года эмигрировал в США. Живёт в Филадельфии. Практикует как врач-стоматолог.

Первые поэтические публикации — в журналах «Встречи» и «Побережье» в 1998 году. В 1999 г. под редакцией журнала «Побережье» вышла книжка стихов «Четыре» — произведения четырёх филадельфийских авторов, одним из которых был Эрик Фридман. В 2017 году — книга коротких рассказов «Вино позднего урожая» (изд-во «Vital Connections»). В 2019 году — сборник стихов «В пространстве параллельных линий», в котором был представлен ряд стихотворений Фридмана вместе со стихами ещё двух московских поэтов.

Стихи и проза Эрика Фридмана публикуются в ежегодном международном сборнике «Артелен», который выпускается в Киеве издательством «Друкарський двір Олега Федорова».

Роберт Уильям СЕРВИС ЗОВ ЮКОНА

ПЕРЕВОДЫ АЛЕКСАНДРА ШИКА

Роберт Уильям Сервис (1874–1958), канадский поэт. Родился в Великобритании, а в 21 год в поисках приключений уехал в Америку. Меняя различные работы, объездил всё западное побережье, пока не был принят банковским служащим в Доусон-сити, центре «золотой лихорадки». К тому времени он уже писал стихи, но жизнь севера, общение с золотоискателями, их полуфантастические рассказы дали настоящий толчок его творчеству. Первая же книга баллад «Зов Юкона» имела необычайный успех, переиздавалась огромными тиражами.



Вскоре вышла и вторая книга «Баллады чечачо», после чего Сервис стал обеспеченным человеком.

Во время Первой Мировой войны уже немолодой Сервис записался добровольцем и был шофёром санитарной машины на фронте. Вышедшая вскоре очередная книга стихов называлась «Рифмы красного креста». В конце 30-х годов Сервис посетил Советский Союз. В результате появилась «Баллада о гробнице Ленина», пропитанная таким омерзением к чекистам и таким издевательством над трупом вождя, что все произведения Сервиса (а он, помимо стихов, писал ещё приключенческие романы) не издавались на русском языке фактически до нынешнего тысячелетия.

Всю вторую половину жизни Сервис жил во Франции, где умер и был похоронен. Север, путешествия и опасности были темами его стихов всю жизнь.

БЕССТРАШНЫЙ ПОИСК

Зачем сквозь ужас льдов и скал
К вершине лезть?
Зачем же гибли, кто дерзал
Брать Эверест?
Бесстрашный Мэллори* сказал:
«Ведь он же есть».

Зачем нас боль и страсть влечёт
Рискнуть собой?
Зачем угроз не брать в расчёт,
Борясь с судьбой?
«Мы не за деньги и почёт
Уходим в бой».

Зачем смертельный риск зовёт
За край земли?
Зачем, набрав лихой народ
На корабли,
Кук, Магеллан, Колумб, Кабот,
Рискуя, шли?

Зачем переступать порог,
Где гроз не счесть,
И поиск гибельных дорог
Считать за честь?
Чтоб новый Мэллори изрёк
«Они же есть».

* Легендарный британский альпинист, погиб в 1924 году при третьей попытке покорить Эверест.

МАТАДОР

*Мне скучен бой быков, в котором
Бык не подденет матадора.*

Приехал Лопес, матадор,
Из Мексики в Мадрид.
Среди болельщиков — фурор,
Толпа — боготворит.
Когда он на арену шёл,
Всех ослеплял вокруг
Расшитый золотом камзол
Над белизною брюк.

Терял он счёт победам, но
Не безупречен был:
Ночные бденья и вино
Не прибавляют сил.
Чуть запоздал удар клинка,
А бык уже в прыжке,
И кровь тореро и быка
Смешались на песке.

Американочка одна,
Сидевшая за мной —
Как горько плакала она,
Когда упал герой!
И жалобно лила слезу
О мексиканце том,
Кого сейчас несли внизу
С пробитым животом.

И вдруг, внезапно весела,
Забыв былую грусть,
Она сквозь смех произнесла:
«Погибнешь — ну и пусть!»

Я рада — ты в игре умрёшь,
Где правит сатана!»
Я полагал, что это ложь,
Но думал как она.

Все вновь в игре — закон таков,
Испанский дух жесток.
По всем канонам шесть быков
Свалились на песок.
А я мечтаю до сих пор,
Чтоб мы ещё могли б
Глядеть, как новый матадор
ПОГИБ.

Перевод: М. Кащенко, А. Шик

СЕРДЦЕ СЕВЕРА

Когда в бродяжьей моей судьбе
Прерваться тропе ни пришлось бы,
Будет, дружище, просьба к тебе,
Одна только будет просьба:

В клочке земли меж каменных плит,
Где нет ни конных, ни пеших,
Просторным северным небом укрыт,
Звездой одинокой утешен,

Под серым камнем с парюю строк
От тех, кто меня любили,
Хочу лежать одинок, одинок,
С одной сосной на могиле,

Где ветер северный ветви рвёт,
Я, жизнью бродяжьей гонимый,
Теперь улягусь, слушая ход
Вечности, катящей мимо.

Мальчишка-Бог

Мальчишка-бог подконтрольный мир
С небес глазами обшарил.
Земля белела сквозь дальний эфир
Словно для гольфа шарик.
В раю весёлых занятий нет,
От скукидохнут и боги.
За вожжи схватил он одну из комет
И вниз по звёздной дороге.

Мальчишка-бог припустил сильней
И, облака пронзив,
Плюхнулся в лужу, где пара свиной
Блаженствовала в грязи.
Он криком выразил радость свою
И в луже лежал на спине,
Жалея, что нету грязи в раю,
А также нету свиной.

Мальчишка-бог, позабыв свой чин,
Грязь месил босиком;
Пел и смеялся без всяких причин
Заливистым тенорком.
Пока, наконец, устав бушевать,
Грязь аккуратно смыл
И, превратившись в бога опять,
В небо обратно взмыл.

Мальчишка-бог в небесной родне
Командует ходом планет
И входит со старшими наравне
В Высший Контрольный Совет.
Но о властителях божьих сил
Он размышлял не раз:
«Тот ли мудрейший, кто не месил
Со свиньями в луже грязь?»

МОЯ РАБОТЁНКА

Есть работёнка для меня и жёсткий дан наказ:
В семь по полковничьим часам подъём и сразу к делу.
Хочу, чтоб чисто всё прошло и радовало глаз,
И чтобы мне солдатский бог помог остаться целым.
Такое делать никогда не приходилось мне,
А если опыт не набрал, то трюки не в почёте,
Но, может, шанса на повтор не будет на войне...
В семь по полковничьим часам со смертью мы в работе.

Осталось написать письмо, я в этом не мастак
И начал просто: «Добрый день, родная моя мама!
Я выбирался без потерь из многих передрыг,
А тут ещё одна теперь задачка, скажем прямо.
Спросили кто готов идти, я тоже сделал шаг.
Горжусь, что выбрали меня. Есть риск, но невеликий.
Не надо плакать, если вдруг всё сложится не так.
Надеюсь, ты переживёшь. Люблю тебя. Твой Микки.»

Я за погубленных ребят в долгу у тех свиней.
Пришёл черёд платить долги, и кто меня осудит?
Я видел смерть десятки раз, я притерпелся к ней,
Мне лишь бы нынче счёт сравнять, а там уж будь что будет.
Бог даст без долгих волокит: уродство, раны, плен —
В два счёта, быстро и легко свести земные счёты;
Жизнь не сложилась, но хочу попробовать взамен...
Прощайте, парни — семь ноль-ноль — ждёт честная работа.

ЗЕМЛЯ ЗА ЧЕРТОЙ

Ты слышал о той Земле за Чертой,
Что, спрятавшись в облака,
Упрямо зовёт под свой небосвод
Из вечного далека?
Сбросить зовёт поклажу забот,
И выбравших путь непростой,
Тропа и седло, река и весло
Ведут к Земле за Чертой!

Когда-нибудь ты глядел с высоты
В предрассветную даль,
Чтобы в конце увиделась цель,
Которой годы отдал?
Казалось на миг — всего ты достиг
И овладел высотой,
Но в звёздной пыли, сияя вдали,
Дразнит Земля за Чертой.

Земля за Чертой, будь вечной мечтой
Для тех, кто всегда в пути,
Будь ночью и днём сигнальным огнём,
Не дай им с тропы сойти.
Намечен маршрут насмешливо-крут,
Ведь зрелости чужд покой;
Тропа нелегка к недоступной пока
Манящей Земле за Чертой.

ПРЕДСТАВЬ!

Представь — в ночи мерцанье звёзд
И, освещённый ими,
Кусок гранита, сер и прост,
Твоё на камне имя.

Идут сквозь ночь ступеньки строк
Посмертного издания.
Вся твоя жизнь — один толчок
У пульса мироздания.

Порою дар, порой удар,
Смех, чтоб не выдать крика.
Порой просчёт, порой почёт...
И камень в звёздных бликах.

О ПЕРЕВОДЧИКЕ

Александр Шик — коренной петербуржец, доктор физико-математических наук, профессор. Работал в Физико-Техническом Институте им. А. Ф. Иоффе РАН, а с 1998 г. — в университете Торонто (Канада).

В 2013 г. опубликовал книгу переводов «Limericks/Лимерики», после чего серьёзно занялся поэтическими переводами с английского. Среди переводимых авторов — Р. Фрост, Р. Сервис, У. Йейтс, Р. Киплинг, А. Лэмпман, О. Нэц, Э. Пратт. Опубликовал книгу переводов Р. Фроста (Киев, 2022), печатался в сборниках «День русской зарубежной поэзии», «Год поэзии 2022», в ряде журналов.

Лауреат премии Э. Хемингуэя (2017).

Геннадий МИХЛИН

ПЕРЕВОДЫ ФИНСКИХ ПОЭТОВ

К 80-летию заключения перемирия между Финляндией и СССР — 19 СЕНТЯБРЯ 1944 года.

В 1944 году для Финляндии закончился период войн. Ценой больших территориальных и людских потерь страна добилась вожделенной свободы и независимости.

Прошли десятилетия. Финляндия вступила в НАТО, заботясь о своей безопасности — жить рядом с агрессивным соседом означает думать о об этом постоянно. И никого не убаюкивает высказывание Путина: *«Все споры России и Финляндии, в том числе территориального характера, были решены еще в середине XX века»*. Эти слова — просто цинизм. Финны отлично помнят свою историю, как решались Советским Союзом территориальные вопросы.

Так как сухопутная граница между РФ и Финляндией составляет примерно 1300 километров, то после присоединения страны к НАТО протяжённость сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического Альянса практически удвоилась.

Финское общественное мнение практически едино в отношении событий в Украине в настоящее время, видя прямую аналогию с 1939 годом. Тогда агрессия СССР Сталину казалась легкой победной прогулкой. Но все пошло не так.

Финляндия с февраля 2022 года приняла порядка 50 тыс. беженцев из Украины и обеспечила всех самым необходимым для жизни: жильем, питанием, медицинским обслуживанием, бесплатным проездом в общественном транспорте, ежемесячным денежным пособием. Дети с первых же дней были определены в ясли, садики и в школы. Финская литература отражает происходящие события в связи с войной в центре Европы — в публицистике, прозе и, естественно, в поэзии. Далекое не всегда верно утверждение: когда говорят пушки, умолкают музы...

Эйно Лейно (1878–1926)

*Стихотворение написано 29.6.1917,
в период распада Российской империи после
царизма. Пророческое стихотворение
по-новому звучит в настоящее время.*

САЛЮТ, УКРАИНА! (TERVE, UKRAINA!)

В честь твою песня звучит, Украина,
слышится громко утром в рассвет!
Сильный и нежный твой облик былинный —
издревле героев свободы завет.
Вставай, Украина, сомнений не зная!
Встречай свой рассвет и народный подъём,
стойко невзгоды преодолевая,
угрозы врагов отражая огнём.

Краса-Украина — пример всем дороже,
восстали Финляндия, Польша — итог!
Литва и Эстония, Латвия тоже
стоят на просторах свободных дорог.
Шагай, Украина, теперь ты не в рабстве,
если с надеждою веришь в народ.
Слышишь ли хор в необъятном пространстве?
Люди встают из морских бурных вод.

В тебе, Украина, есть новая сила,
мерцают разливы широкие рек.
Народы колоний провозгласили:
Оковы царизма спадают навек!
Время пришло, и не стало в помине
российских племён в кабале — не найти.
Сверкай Украина! Подобно пружине
державу крепи на заветном пути!

УУНО КАЙЛАС (1901–1933)

НА ГРАНИЦЕ (RAJALLA)

Граница, она — что трещина:
Азия, сзади — Европа.
Запад, Восток — так завещано:
стражники — два антипода.

За спиною милая Родина,
там города и деревни.
Вдоль границы немало пройдено
охраняя её — так издревле.

Ветер ночью воеет и носится,
снегом покрыта граница.
Мать, отец и Богородица —
вижу их спящие лица!

В стойло носите зерно, в закрома,
родные рабочие руки!
Стаду обильно раздайте корма!
Сыны защитят вас и внуки.

Мрачное, нечто крамольное,
лик леденящий Востока:
рабство труда подневольного —
звёзды взирают жестоко.

Утра кроваво-морозного
гибельный образ встаёт:
призрак Ивана Грозного,
вкрадчивым шагом идёт.

Но из могил возрождаются
тени отцов на конях,
и мужики собираются
с копьями в сильных руках.

Души предков, слово слушая,
верьте наследнику чести:
коль присягу свою нарушу я —
буду кары достоин и мести!

Не дам я клейму позорному
тронуть память почивших героев.
Готов я к сраженью упорному
за край наш и наши устои.

Не для врага чужеземного
наследие наше, и даже
ждите конца непременного:
к степям не вернётесь вашим.

Мужские ряды монолитами
спешат с наголо́ мечами,
чтоб жёны под их защитами
детей в колыбелях качали.

Граница, она — что трещина:
Азия, сзади — Европа.
Запад, Восток — так завещано:
стражники — два антипода.

Юрьё Юльхя (1903–1956)

ДОМ ОБРЕЧЁННЫЙ (TUOMITTU TALO)

Брошенный дом и двор опустевший,
признаки — всё тут оставлено в спешке.
Настежь все двери, холодная печка,
пёс перед входом, уснувший навечно.

Гулки шаги, в этих звуках — потеря,
А на стене — позабытое время.
Кантеле, стол... удручает картина:
прялка в углу, по верхам паутина.

Скромно здесь люди жили когда-то,
Бог сохранял их в житье небогатом.
Кантеле — чудятся струн переливы,
а за окном виснут гроздья рябины.

Дом обречённый и двор опустевший...
стены пылают в огне озверевшем.
Но одного лишь огонь тот не сможет:
к родине предков любовь уничтожить.

МАРТОВСКИЙ ДЕНЬ (MAALISKUUN PÄIVÄ)

В день такой умереть как же можно,
в этот чудный мартовский день!
Снег подтаивает осторожно,
капли мочат под ветками пень.

И ещё непроснувшимся лесом
к ручейку пробегает лыжня.
Этим виденьем — памятным срезом —
поразило былое меня.

Абрис птицы на небе явился,
на бледном фоне заметен слегка.
То железный орёл устремился,
к нам прорвавшийся сквозь облака.

Что-то над головою вспорхнуло,
будто посвист, вот это не зря.
Как не знать, это смертью подуло —
свисты пули, как свист снегиря.

Мы знаем, куда несут ноги —
где бой, где пожар, гул и гам.
Мы на лыжах к попутной дороге,
видим, сани навстречу нам.

А в санях бездыханный мужчина,
голова его густо в крови.
День весенний — лихая година:
не увидит он больше зари.

В день такой умереть как же можно,
как убить, самому умереть!
Тот, кто бойню позволил — безбожник,
как он может на это смотреть!

Олави Сииппайнен (1915–1963)

СКОРБЬ (SURU)

Как прекрасно украинское лето —
но не сверкает радость в твоих глазах, сестра,
не звенит твой смех на закате,
среди спелых злаков в поле.
Ждёшь того, кто не возвращается.

Поднимитесь из чернозёма золотая пшеница,
жёлтая тяжёлая кукуруза,
пусть взойдут, как смеющиеся солнца —
лица подсолнухов,
весёлый свист ласточек в воздухе.
Но не придёт твоё счастье, сестра,
не вернётся тот, кто был радостью твоей и жизнью.

Я с ним встретился в северных лесах.
Один из нас не вернулся — твой возлюбленный
не вернулся.
Я хотел бы протянуть свою руку через фронт, сестра.
Я хотел бы отдать сердце из груди своей,
если бы это утешило тебя.
Но фронты жестокие, просторы широкие:
не достигает мой шёпот ушей твоих страждущих.

На другой стороне границы, в украинское лето,
в колышущейся пшенице, в среде смеющихся подсолнухов
ты идёшь, сестра, с болью в застывшем сердце,
ожидая того, кто не вернётся.

О ПЕРЕВОДЧИКЕ

Геннадий Михлин учился в Ленинграде, закончил ЛВИМУ (ныне Государственный университет морского и речного флота). Работал в Балтийском пароходстве, инженером на производстве, в Мурманске в рыболовецких организациях. С 1990 года живёт и работает в Хельсинки.

Публикации стихов во многих журналах, в том числе «Север» (Карелия), «Северная Аврора» (С.-Петербург), «Новый берег» (Дания), «Время и место» и «Времена» (США), «Новая литература». В Финляндии: «Иные Берега», Альманах «Juolukka» (Голубика). Постоянный автор журнала «LiterariS», Хельсинки.

В 2015 году в номинации «Переводы» удостоен звания «Серебряное перо Руси». Издана книга «По жизни не в ногу...», Сборник «Финское лицо».

В 2017 году к 100-летию независимости Финляндии вышел сборник «РАЗБЕГ. Финская поэзия во времени», издательство «Juolukka» (Голубика) С.-Петербург — Хельсинки.

Виктор БАНДУРКО

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАДЕТА

БРОСОК НА ЮГ

Отец мой, Фёдор Иванович Бандурко, был кубанским казаком. Родился он 15 марта (2 марта по старому стилю) 1895 года. Учился в начальной школе в Сочи, затем поступил в гимназию в Армавире, которую окончил с золотой медалью. Если вы окончили школу с золотой медалью в царской России, то могли поступить без конкурса в любое высшее учебное заведение. Мой отец поступил в Военно-Медицинскую академию в Питере. Стипендия его в то время была 16 рублей в месяц. Академию ему окончить не удалось, так как началась революция.

Неоднократно отец слушал в Думе Керенского, который мог говорить много часов подряд. При этом падал в обморок, его откачивали, и он продолжал говорить.

В конце 1917-го произошёл с отцом такой случай. Он шёл по Литейному проспекту в военной форме с погонами, навстречу шли красногвардейцы, а, по сути, полубандитское формирование. Он мог погибнуть, но один старый матрос, увидев всю эту картину, спрятал отца за своей спиной и, таким образом, спас ему жизнь.

В конце 1918-го отец принял решение двинуться на юг и примкнуть к Белой армии. Когда он приехал на Финляндский вокзал, там выступал Ленин. После выступления Ленин поговорил с отцом, расспросил его, кто он и что здесь делает, а потом поинтересовался, украинец ли он. «Нет, я русский», — ответил Фёдор Иванович.

Отец рассказывал, что чем дальше продвигался на юг, тем страшнее были зверства большевиков. Наконец, Фёдор Иванович примкнул к Белым. Служил он в Белой армии до её развала. В это время он очутился в Грузии, в г. Поты, где планировал сесть на американский пароход, отплывающий в Нью-Йорк. Но в Америку он не уехал, а попал в Крым. Из Крыма перебрался в Словению. В течение 4–5 лет

Ф. И. Бандурко — отец автора —
студент военно-медицинской школы, 1917 год.



жил здесь в надежде вернуться в освобождённую Россию. Увы, надеждам его не суждено было сбыться...

Вскоре друзья собрали ему деньги, и он уехал в Загреб продолжать медицинское образование. Окончил он обучение в 1924–25 годах и перебрался в Белград, где и познакомился с большим русофилом, сербом по фамилии Бата Мичич. Он был в то время директором Красного Креста. В его доме отец мой встретил свою будущую жену — сестру Бата Мичича. Была она учительницей. Через полгода папа женился.

Отец получил государственную работу недалеко от Белграда, в небольшом селе под названием Баваниште, где работал сельским врачом.

Мой отец оставил воспоминания «Записки казачьего врача» / Ф. И. Бандурко. (Краснодар: Вишера, 2013. — 272 с.: илл). Книга издана на основе рукописей Фёдора Ивановича. Идея издания принадлежит мне, решившему таким образом увековечить память о давно ушедшем из жизни отце. Вот отрывок из книги.

Моя служба во 2-м Кубанском партизанском казачьем конном полку во время Гражданской войны 1918–1919 гг.

Прежде чем начать изложение моей службы в указанном полку, я хочу сказать несколько правдивых слов об участии в Гражданскую войну казачества, и, в частности, кубанского. Этот вопрос мало освещён в истории указанной войны.

Справедливость требует отметить, что Гражданская война главным образом легла на плечи казачества, и если бы остальное население России дало хотя бы десятую долю для Белой армии, по сравнению с казачеством, то, конечно, Гражданская война была бы выиграна Белой армией. Казачество потеряло неимоверное количество жизней, главным образом молодого и в боевом отношении незаменимого элемента, редко какая казачья семья не была лишена своих братьев, или дети своих отцов, или женщины своих мужей. Ка-

зачество было просто обескровлено, и все обвинения против последнего, что оно является одной из главных причин поражения Белой армии, ни на чём не основаны, казачество дало всё что могло, но остальное население не поддержало казаков и Белое дело. Среди казаков часто были слышны разговоры: «вот мы дошли до Воронежа. А где же Россия? Всё мы да мы, да корниловцы»...

В октябре 1918 года из станицы Отрадной, где я работал короткое время в больнице, на подводе направился в станицу Удобную, где, явившись атаману станицы, попросил его, чтобы мне была предоставлена подвода для дальнейшего следования в станицу Баталпашинскую. Атаман направил меня к казаку Зинченко, у которого я переночевал, приняли меня как родного, прекрасно накормили, и на следующий день на предоставленной атаманом подводе с несколькими казаками-удобинцами направился в станицу Баталпашинскую, где находился в то время штаб Баталпашинского и Пятигорского фронта. По пути проезжали аул Тазартуковский, нужно отметить, что горцы Кубани активно помогали и поддерживали Белое движение, а в их аулах не было ни грабежей, ни массовых убийств, чего нельзя сказать о русских населённых пунктах. В красной армии горцев также было мало.

По приезде в Баталпашинскую я направился к санитарному инспектору фронта доктору Петрову, он назначил меня во 2-й Кубанский партизанский конный полк, мои квалификации в то время — 3 года медицины Императорской военно-медицинской академии. Получив подводу, предоставленную атаманом станицы, вместе с прапорщиком 2-го Запорожского полка, молодым и очень симпатичным казачьим офицером, следуем к месту назначения. По дороге заехали в расположение Осетинского дивизиона, где нас приняли очень гостеприимно, по-кунацки.

...Переночевав у гостеприимных кунаков-осетин, мы с прапорщиком Стороженко продолжали наш путь дальше в штаб корпуса (командир корпуса генерал Ляхов). Здесь я распроцался с милым прапорщиком Стороженко и никогда его больше не встречал. Из штаба корпуса направили в штаб дивизии, к генералу Шкуро, последний был в отпуске, и дивизией временно командовал полковник Козлов, убитый в начале 19 года уже в Донской области. Из штаба дивизии направили в полк, где меня принял командующий полком есаул Иван Романович Крюков. На меня он произвёл впечатление «рыцаря без страха и упрёка», в чём я не ошибся при дальнейшем

соприкосновении с ним. Адъютантом полка в то время был вольноопределяющийся князь Багратион-Мухранский, обладающий такими же качествами, как и его командир.

Полк был расквартирован в селении Сергиевском Ставропольской губернии. Население села, бывшие казаки-хоперцы, несмотря на своё происхождение, было, как и большинство ставропольцев, настроено пробольшевистски. Есаул направил меня в полковой околоток, где я наткнулся на печальную картину — полное отсутствие перевязочного и медицинского материала. Нашёл только одну глиняную банку, наполненную салом. Вот и всё. При околотке находились двое казаков: Волков, в его распоряжении имелась с громким названием «аптечная подвода» без аптеки и другая — «санитарная линейка» с казаком станицы Отрадной. На этой линейке во время боёв вместе с полком приходилось выезжать на позицию. Вот и весь «персонал» полка.

Правда, была ещё одна сестра милосердия, Ольга Акимовна, казачка станицы Бургустанской Терского войска, в будущем супруга генерала Михаила Карповича Соламахина, казака станицы Некрасовской (в 1945 году выдан «западной демократией» в Лиенце на расправу Сталину и, отсидев в Сибири много лет, был отпущен из лагеря и вскоре умер в Советском Союзе). Ольга Акимовна была одета очень легко, а при ставропольских морозах с ветром большой силы она, бедолага, очень мёрзла, ей в то время было всего 18 лет. Когда мы выезжали на позицию, просили её оставаться в обозе, но она всегда отказывалась следовать нашему совету и всегда сопровождала наш полк, от неё была только моральная помощь.

На следующий день после моего прибытия в полк боёв не было, мы всем околотком пошли по всему селу, заходили из дома в дом и собирали старые простыни, рубахи и другое бельё. Конечно, всё было выстирано и выглажено. Из собранного материала сворачивали бинты и ими перевязывали раненых, что до некоторой степени заменяло недостаток перевязочного материала. Но и его не было в достаточном количестве.

В тот же день появились в околотке и первые больные, и когда они раздевались, передо мной открывалась ужасная картина; все страдали и болели чесоткой, вся кожа у них была воспалена от расчёсов, покрыта сплошной коркой. Этой болезнью страдали очень многие, лечить нечем, эвакуировать нельзя. Нужно воевать, дабы красные опять не ввалились на Кубань. К тому же численный состав сотен

был мал, от 60 до 90 шашек в сотне, и бедное казачество безропотно, с большими страданиями несло свой крест.»

Так вспоминал отец...

Я родился 21 января 1931 года в этом селе, где рос со своей сестрой Верой. До 6 лет я не говорил по-русски, а только на крестьянско-сербском языке. Недалеко от нашего села был небольшой город Панчево. Там располагалась большая русская колония, больница и начальная школа. Отец отправил меня и сестру жить в русскую семью. Учительницей нашей была Александра Аркадьевна Боголюбова — женщина очень образованная. Образование она получила в Смольном, свободно говорила на немецком, английском и французском языках. Отец велел мне учить немецкий. В этой школе я пробыл 4 года. Домой приезжал только на летние каникулы. К этому времени сербский язык уже начал забываться.

В девять лет я заболел дифтеритом и был при смерти. Отец находился тогда в Белграде, и местный сербский врач сделал мне укол сыворотки. Сыворотка оказала побочное влияние на почки, возникло сильное воспаление почек и вспышка волдырей по всему телу. Отец приехал, промучился со мной довольно долго и только благодаря ему я остался жив...

В 1940 году по окончании школы было решено отдать меня в русский кадетский корпус в город Белая Церковь. Отец нанял местного крестьянина и на санках по глубокому снегу мы добрались до места. Это было моё первое длинное путешествие (65 км). Меня представили директору генералу Попову, терскому казаку. Остригли волосы и отправили к капитану для получения кадетского обмундирования. Я получил ботинки с деревянными подошвами и вместо чулок — портянки.

На территории Югославии действовали три кадетских Корпуса: Донской в Сараево, Босния; Крымский в Панчево и первый кадетский в Белой Церкви. Первые два вскоре закрылись и влились в наш Корпус.

Моим первым воспитателем стал полковник Резчиков. Нас было 75 новичков, поделили нас на два отделения. Попал я в первое отделение, где нашим дядькой был вице-унтер-офицер Макс Михеев (донской казак). Дисциплина была строгая, за плохое поведение назначалась порка.

...Шла война с немцами, после победы русских в Сталинграде среди старших кадетов началось брожение в пользу красных. Во главе

стоял вице-фельдфебель Фостиков, сын кубанского генерала. Помощником Фостикова в ячейке был кадет пятого класса Павлик Кутепов, сын генерала Кутепова. *(После смерти Врангеля генерал возглавил Русский Общевоинский Союз, в январе 1930-го был похищен советской разведкой в Париже и убит — Ред.)*. Влияние ячейки было настолько велико, что мы во время походов пели советские песни. Помню, маршируем и поем: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Неожиданно слышу громкое «ура!» Это были русские военнопленные, которые поблизости рыли рвы. Они подумали, что это десант советских войск.

В апреле 1943-го в Корпус нагрянуло гестапо и арестовало Фостикова, создавшего ячейку, сочувствующую красным.

В конце лета 1944-го Красная армия подошла близко к расположению Корпуса. И кадетов эвакуировали в чешский город Эгер, где вскоре Корпус был расформирован. Я не поехал в эвакуацию и 17 сентября выехал с семьёй в Австрию.

«ШУТЦКОР»

Прежде чем описать эпопею бегства, хочу вкратце описать ситуацию в Югославии. После убийства короля Александра в 1936 году был назначен регент принц Павел, двоюродный брат Александра.

В феврале 1941-го началось брожение среди студентов. Однажды, выйдя на улицу в Панчеве, я услышал восклицания: «Лучше гроб, нежели рабство!». 27 марта был произведён военный путч. Регент был свергнут и на престол был посажен ещё малолетний король Пётр Второй.

В апреле на Пасху немцы начали бомбить Белград и разрушили дунайский мост. 6 апреля части немецкого вермахта вторглись в Югославию. 17 апреля был подписан акт о безоговорочной капитуляции, и гитлеровцы начали хозяйничать в стране.

...В наше село вошли немцы. Не послушав отца, скрывавшиеся в нашем доме сербские офицеры стали разгуливать по селу в гражданской одежде. Сосед, местный немец, сообщил, что русский врач скрывает офицеров. Неожиданно к нашему дому подъезжает военная полиция и делает обыск. Ничего компрометирующего не найдя, они тем не менее поймали офицеров в увезли с собой.

У нас поселилось двое немецких солдат, Тео и Йохан, артиллеристы. Они столовались в нашей кухне. Каждый вечер на веранде нашего

дома собиралась маленькая группа немцев пить кофе. Один солдат проговорился и сказал, что вскоре будет война с СССР.

После нападения Гитлера на Советский Союз в Сербии начали формироваться партизанские отряды. Руководил одним из них Драже Михайлович. Он основал сопротивление четников. (Четники — наименование балканских партизан, повстанцев и ополченцев — Ред.). Другой группой руководил Лютич, в неё входила в основном сербская интеллигенция, которая была близка по духу к русской интеллигенции, обосновавшейся в Сербии. Но Драже Михайлович сделал тактическую ошибку — в какой-то момент он заключил союз с немцами.

Несколько позже появились партизанские отряды во главе с коммунистами, особенно в старой Сербии, в городе Ужицы. Партизаны-коммунисты начали охотиться и убивать русских эмигрантов. Тогда в Белграде жил генерал Скородумов. Он просил немцев дать эмигрантам оружие, чтобы бороться против партизан. Это движение называлось «Шутцкор» (Schutzkor). В течение месяца организовался первый полк из казаков. Командиром стал генерал Зборовский. До Первой Мировой войны он служил в конвое и был любимым партнёром Николая II по игре в теннис.

Немцы захотели перебросить шутцкоровцев на Восточный фронт сражаться с большевиками. Генерал Скородумов выразил своё возмущение, и его арестовали. Начальником Корпуса «Шутцкор», состоявшего уже из пяти полков, назначили крещёного еврея по фамилии Штейфон. Там было немало советских военнопленных. Отец оказался в этом Корпусе — на него надели немецкую форму, и уйти было уже невозможно.

БЕГСТВО ОТ КРАСНОЙ АРМИИ

...15 сентября 1944-го папа приезжает из Белграда и сообщает нам, что нужно немедленно уезжать, так как Красная армия поблизости и может вот-вот занять нашу деревню. Оставаться под большевиками он никак не желал и не хотел обрекать нас на такое существование. Мы собрали немного, что могли взять с собой в руки, и умолили папиного бывшего больного, чтобы он отвёз нас на телеге в Панчево, где был сбор беженцев. Отец уехать с нами не смог. Не успели мы покинуть наше жилище, как соседи полностью разграбили всё наше имущество, тётке удалось спасти лишь маленькую китайскую чашечку, которую я до сих пор бережно храню.

17 сентября немцы посадили нас в вагоны, всего 3–4 тысячи человек, и мы двинулись в Австрию. Но, не доезжая до австрийской границы, попали под бомбардировку английской авиации. К счастью, впереди был туннель, и мы успели там укрыться. Австрия — рядом, однако состав двинулся назад. Нас пересадили в товарный поезд, направляющийся в Вену. Мы оказались здесь через два дня. Едва успели выйти из вагонов, как американцы разбомбили поезд. Пришлось спасаться в укрытиях.

Потом мы прошли километров семь пешком — была слякоть, таял снег. Мама спрашивает по-сербски охранявшего нас немца: «Куда нас везут?». Он отвечает: «Не волнуйтесь, всё будет хорошо». Непоседливый и нетерпеливый, я всё забегал вперёд и первым увидел вывеску на немецком языке: «Лагерь. Работа сделает нас свободными». Это был известный теперь концлагерь «Маутхаузен».

«МАУТХАУЗЕН»

В лагере нас сразу же раздели догола, всех вместе, женщин, детей, старых и молодых и отправили в душевую. Позже я узнал, что один клапан там был для душа, а другой — для газа. Нам повезло — газ не включили. Нашу одежду продезинфицировали и вернули.

Я вышел во двор и первое, что увидел — это человека, подвешенного за руки, а сверху ему на голову лилась вода. Эту картину я никогда не забуду.

Вскоре отправили нас в бараки, по 50 человек в каждом, дали по одеялу и соломенную подстилку, на которой мы спали.

Концлагерь представлял собой систему, состоящую из центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей Австрии (Остмарка). Это я узнал позднее. А пока приспособивался к здешнему распорядку. Большинство узников состояло из советских военнопленных и евреев.

...Я не сидел на месте, везде бегал. Подхожу к проволочному ограждению и вижу какого-то странного измождённого человека. Я спрашиваю: «Откуда вы?», а он отвечает: «Из Варшавского гетто», и по-немецки спрашивает: «Хлеб есть?». Хотел променять свои сапоги на буханку хлеба.

В концлагере было две категории заключённых. Одни носили полосатую казённую одежду, и у них на руках были выжжены номера.

Другие носили свою одежду, но у них посередине головы были полосой выстрижены волосы, и красной краской на одежде был нарисован номер.

Однажды ко мне подошёл еврейский подросток и говорит: «Хочешь выйти из лагеря чинить железнодорожные пути?» Это значило войти в рабочую колонну и получить добавку хлеба (нам тогда давали в день тарелку горохового супа, и мы очень голодали). Я пошёл с ним. Мы день отработали, а в конце смены он вдруг упал. Я подошёл к охраннику, спрашиваю, как помочь ему. Охранник попался хороший, говорит: «Если найдёшь тачку, отвези его». Я тачку нашёл, поднял его, он очнулся. В течение двух месяцев, что я был в лагере, мы его, как могли, подкармливали. Потом он исчез... Наверное, погиб...

...Подходя к ограде, слышу незнакомую речь. Это были пленные американские лётчики, игравшие в футбол. Неожиданно один подошёл ко мне и сказал, что он капитан (это я понял) и через проволоку незаметно просунул мне пачку папирос.

Уборная в лагере состояла из глубокого рва. Однажды зайдя туда, неожиданно слышу вопли упавшего в эту дыру. По виду, старик-еврей. Протягиваю руку, чтобы вытянуть его. Конвоир, стоящий рядом, ударил меня по лицу...

Разумеется, за непродолжительный период пребывания в концлагере я мало что мог узнать. Лишь после войны мне стало известно, в какое страшное место я и моя семья попали.

В 1944 году барак № 20 был обнесён отдельной каменной стеной. Этот барак назывался «блоком смерти». Туда отправляли узников, приговорённых к уничтожению за нарушения режима (преимущественно советских офицеров за побеги из лагерей военнопленных или диверсии на производстве). Заключённые «20-го блока» содержались на так называемом «штрафном режиме». Они получали половинное питание, спали на полу, в любую погоду от подъёма до отбоя находились без верхней одежды во дворе своего изолированного от остального лагеря блока № 20, подвергаясь различным издевательствам. В день здесь умирало 20–30 и даже больше узников, а средняя продолжительность жизни составляла считанные недели.

«Блок смерти» также использовался как тренировочный лагерь для подготовки сотрудников СС из отрядов «Мёртвая голова». Узников избивали и издевались над ними. Ещё позднее такая практика была введена на всей территории лагеря. В любое время в любой барак мог

ворваться отряд «учеников» и забить насмерть сколько угодно заключённых.

В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года советскими офицерами из «блока смерти» был совершён массовый побег примерно 400–500 узников. Используя огнетушители, камни, деревянные колодки обуви, они убили часовых на вышках, преодолели 3,5-метровую стену, ров с водой, колючую проволоку и разбежались по окрестностям лагеря. В процесс охоты на беглецов были включены все местные подразделения СС, Вермахт, Гитлерюгенд и местное население. Хотя через несколько недель было объявлено о том, что все беглецы уничтожены, среди заключённых ходили слухи, что не досчитались 19 человек.

Спустя два десятилетия занимавшийся судьбами бывших советских военнопленных писатель С. С. Смирнов обнаружил первых выживших узников «20-го блока», число которых в дальнейшем составило как минимум 9 человек.

Издательства над смертниками «блока № 20» фигурировали на Нюрнбергском процессе в 1946 году.

После побега в блок № 20 были помещены заключённые-евреи.

3 мая 1945 года СС и другие охранники начали готовиться к эвакуации лагеря.

5 мая на территорию лагеря Маутхаузен-Гузен вошли американские разведчики. Обезоружив полицейских, они покинули лагерь. К моменту освобождения лагеря большинство эсэсовцев бежало, однако около 30 остались и были убиты заключёнными, такое же количество убито в Гузен-2. К 6 мая почти все филиалы лагерного комплекса Маутхаузен-Гузен также были освобождены американскими войсками.

Узниками Маутхаузена было около 335 тысяч человек; казнено свыше 122 тысяч, больше всех — советских граждан; среди них генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев. Погиб и украинский националист Юлиан Савицкий, провозгласивший по радио во Львове 30 июня 1941 года независимое украинское государство.

Повторю, всего этого я не знал и не мог знать. Всё открылось мне и другим много позже.

СНОВА ДОРОГА

Через два с половиной месяца немцы собрали нас, беженцев, около 3,000 человек, и вывезли из лагеря. Доставили нас в маленький старинный город Гальштат, недалеко от Зальцбурга. Нашу семью поме-

стили в гостиницу «Белая Овечка». Выдали продовольственные месячные купоны. Потратив за неделю купоны, в течение оставшихся трёх недель я сильно голодал, питаюсь одной картошкой. Ежедневно ходил пешком по другую сторону чудного городка Обертраун, где находился военный госпиталь. Там я питался отбросами еды. Пару дней в неделю работал, развозя уголь на тачке.

Мама трудилась на заводе, где делали ракеты.

За два дня до капитуляции военнопленные французы пытались неудачно захватить власть. Их отбил немецкий батальон. В соседнем городке, на другом конце озера, воцарилось полное безвластие. Начался грабёж ситцевой фабрики. Мой молодой австрийский друг позвал меня поехать туда на лодке. Мы вместе поплыли и причалили лодку прямо у подножья фабрики. Взобравшись на его плечи, я разбил окно на втором этаже и начал брать с полок простыни и полотенца. Доверху наполнив ворованным товаром лодку, мы поплыли обратно. Поделив поровну добычу, мы её запрятали.

Семья пользовалась этими простынями немало лет...

В начале мая 1945-го Германия капитулировала. Тот памятный день я хорошо запомнил. Шёл по дороге, вдруг слышу звуки мотора. Передо мной остановился джип, откуда выскочили двое американских солдат. Один из них дал мне плитку шоколада и попросил сообщить жителям Гальштата, что на подъезде в город в тоннеле застрял танк. Совместными усилиями удалось танк вытащить. Войдя в город, американцы выгрузили целую гору консервов, которые мигом расхватали...

В американской зоне я начал ходить в русскую школу, в 4-й класс.

В 1946 году мы покинули Гальштат и обосновались в пригороде Зальцбурга в лагере для перемещённых лиц. В июле или августе того же года отец нашёл нас здесь. Русский корпус, в котором он служил, из Югославии прибыл в Австрию, в английскую зону, где и был расформирован. Мы встретились после трёх лет разлуки. Отец устроился в этом лагере работать врачом.

Я поступил в гимназию, а сестра Вера после окончания гимназии стала изучать медицину в город Граце.

...К сентябрю 1949-го эмигранты начали разъезжаться по разным странам. Перед нашей воссоединившейся семьёй встал вопрос, куда двигаться дальше. Как и другие находившиеся в лагере, мы подали прошение о въезде в США. Нас не впустили, так как отец переболел

туберкулёзом, а у меня не было трёх зубов, которые мне выбил охранник, когда я пытался спасти тонущего в туалете старого еврея. Не пропустили нас ни в Бразилию, ни в Канаду. Наконец, отец получил контракт на работу в Эфиопии.

Мы поехали в швейцарский город Берн для получения эфиопских виз. К сожалению, я не могу вспомнить, как мы добрались туда. Перед отъездом беженская организация выдала нам 150 долларов.

Получив визы, мы поездом поехали в Женеву. Там зашли в русский Храм на улице Топфэр (Храм Святой Троицы — Русский православный приход в Швейцарии, действовавший при русской дипломатической миссии, был основан по указу Императора Александра I от 24 декабря 1816 года.). Там произошла неожиданная приятная встреча с моим учителем Закона Божия в Корпусе архимандритом Антонием Бартошевичем. В Храме служил его брат, епископ Лев.

Затем мы побывали в Париже. Там вновь получили небольшие, но столь необходимые деньги от беженской организации. Заехали в Александро-Невский собор на улице Дарю. В Храме видели много икон и знамён Конвоя и донского казачества. Видели также знамёна многих гвардейских полков.

На следующий день выехали в Марсель, где местная беженская организация снабдила нас билетами на пароход Шантиль (Chantilly), для отправки в портовый город Джибути, Сомали.

Добравшись до Джибути, ждали поезд три дня для дальнейшего пути в Аддис-Абебу. Узкоколейка работала только раз в неделю. Стояла ужасная жара. Наконец, подали поезд. Шёл он крайне медленно, на три часа остановился в местечке Дире-Дава, где мы насладились изумительными дынями. В Аддис-Абебу прибыли утром..

МЫ В ЭФИОПИИ

Нас встретили местные старожилы во главе с Иваном Сергеевичем Хвостовым.

Биография этого человека заслуживает подробного рассказа. Родился он в 1889 году в семье Елецкого уездного предводителя дворянства Сергея Алексеевича Хвостова и графини Анны Ивановны Хвостовой (урождённой Унковской). В семье было девять детей. В доме царил атмосфера взаимного уважения, высокой православной культуры, любви к искусству. Иван с детства писал стихи, интересовался историей своего рода, гордился знаменитыми предками.

По семейной традиции, для получения юридического образования он поступил в Александровский Императорский лицей в Петербурге, где уже учился его старший брат Николай. В списке выпускников 1909 года есть имя Ивана Хвостова, за особые успехи награждённого золотой медалью.

После окончания лицея Иван поступил на военную службу вольноопределяющимся в Лейб-гвардии Семёновский полк. По завершении службы был принят в министерство юстиции.

Хвостов женился на орловской графине Наталье Владимировне Тащищевой.

С началом Первой мировой войны он вернулся в свой родной Семёновский полк. Сражался в должности младшего офицера 3-й роты на территории Польши. 2 сентября 1914 года был тяжело ранен в бою под Люблином. После лечения на фронт Иван больше не вернулся, так как у него был сильно повреждён глаз.

После революции 1917 года Хвостов был приговорён к расстрелу как офицер царской армии. Однако он смог избежать казни. Сам Иван Сергеевич чудесное спасение объяснял помощью своего ангела хранителя — св. Архистратига Михаила, образ которого он постоянно носил на груди.

С организацией на юге России Добровольческой Армии он одним из первых явился туда в свой полк. Крым и русскую землю Хвостов покинул одним из последних, борясь до конца. Три его брата погибли, сражаясь с большевиками.

Иван Хвостов эмигрировал в Париж. С 1923 по 1924 год жил в Германии, работал в банке. Но не смог принять «безумье и безбожье, всё лицемерье» Европы. В 1924 году он поселился в Абиссинии (Эфиопии), где работал адвокатом при правительстве. Владел несколькими иностранными языками, быстро освоил местный амхарский язык и впоследствии перевёл на него кодекс Наполеона с французского. Во время адвокатской практики Иван Сергеевич не единожды защищал бедняков и спасал их от смерти. Он пользовался особым уважением, абиссинцы называли его «Божьим человеком».

В 1927 году И. Хвостову удалось создать первую русскую православную церковь в Абиссинии, в которой он служил псаломщиком.

Иван Сергеевич и Наталья Владимировна Хвостовы воспитали в православной вере и своих дочерей (Анну, Марину, Екатерину).

В Абиссинии, вдохновлённый необычной и красочной природой новой родины, он написал много стихов и продолжал писать стихи,

в которых звучала ностальгическая нота. Это тоска одинокого человека, прошедшего трудный путь вдали от России. Многие произведения были написаны поэтом для себя. После его смерти вдова поэта с помощью друзей издала небольшую книжку его стихов. Любимой жене и верному другу Иван Сергеевич посвятил цикл стихов «Голубые октавы».

Иван Сергеевич Хвостов ушёл из жизни в расцвете творческих сил. Он погиб 27 марта 1955 г., попав под колёса поезда. Толпа людей следовала за гробом, покрытым российским флагом, до кладбища Амброад. Там же в 1975 году была похоронена его вдова, Н. В. Татищева. Потомки Хвостова проживают в Лондоне и Риме. За могилами русских эмигрантов ухаживают учащиеся Русской школы при Посольстве России в Эфиопии.

Вот с какой выдающейся личностью столкнула нас судьба...

...После встречи семью разместили в разные дома. Старшая сестра Вера была приглашена смотреть за больным сыном министра финансов Маконэном Хаптевольдом. Меня пригласил жить в своём доме агроном Турчанинов, супруга которого, Анна Ивановна, была дочерью Ивана Хвостова. Мои родители с младшей сестрой Лидией жили месяц на полном содержании в семье Золотарёвых.

С первого дня мой отец получал жалование и плату за жильё. Через месяц мы всей семьёй, кроме Веры, уехали на юг к месту назначения отца — в маленькое селение Чакисо.

РУССКИЕ В АБИССИНИИ

Прежде чем описать нашу новую жизнь, необходимо рассказать, хотя бы вкратце, об Эфиопии. Абиссиния, как по другому называлась Эфиопия, состояла из многих этнических групп, главными из которых по численности были племена Амхара, Оромо и Кураки. Амхары были православные. Приняли православие от святого Фрументия, ученика апостола Марка. Имели письменность. В Библии писалось, что одним из троих Волхвов был Эфиоп по имени Гаспар. Родина кофе и ладана тоже Эфиопия.

Особая тема — русские в Абиссинии. Русских людей издавна привлекала эта страна. Вероятно, сыграл в этом определённую роль А. С. Пушкин, великий потомок «арапа Петра Великого» Абрама Петровича Ганнибала, выходца из этих мест.

Об Иване Хвостове я уже рассказал. К первым нашим соотечественникам, начавшим в XIX веке оседло проживать в Эфиопии, следует отнести казацкие поселения под руководством атамана Н. И. Ашинова.

В 1888 году он вместе с группой единомышленников прибыл в Абиссинию и основал там поселение вольных русских колонистов под названием «Новая Москва». Прославился Ашинов новаторскими идеями в земледелии, организации фермерского хозяйства, просвещении местного населения, укреплении православия на африканской земле. Однако без российской государственной поддержки его миссия была обречена на поражение от французов, в чьи колониальные интересы она вторглась.

Другими известными россиянами, оставившими свой след в истории Эфиопии и развития двусторонних отношений, были поручик В. Ф. Машков, географ и медик А. В. Елисеев, русские офицеры Н. С. Леонтьев, Л. К. Артамонов, П. Н. Краснов и другие, длительное время проживавшие в Эфиопии и выполнявшие задачи, поставленные им российским правительством по исследованию региона и оказанию помощи эфиопскому народу в борьбе за независимость. Их служебные донесения и собранные материалы послужили обоснованием к установлению официальных дипломатических отношений России и Эфиопии в 1898 году.

Особо в этот период (конца XIX века) следует отметить первую российскую гуманитарную миссию в Эфиопии под эгидой Российского общества Красного креста. Она представляла собой отряд русских врачей и санитаров с задачей организовать полевой госпиталь для оказания помощи раненым эфиопским воинам в войне с итальянскими колонизаторами 1895–96 годов. Эта гуманитарная миссия русских медиков послужила прообразом для основания в Эфиопии госпиталя Российского Красного креста, успешно действующего и поныне.

Как национального героя в Эфиопии помнят и почитают поручика русской армии А. К. Булатовича, проведшего по заданию Русского географического общества три экспедиции с целью картографирования и демаркации южной и юго-западной части страны в начале 20-го века. Будучи человеком отважным и творческим, Булатович досконально изучил местные обычаи, язык, религиозное и государственное устройство Эфиопии. В результате он написал две книги о своих путешествиях по Эфиопии «С войсками Менелика II» и «От Энтото до реки Баро», которые считаются первыми полноправными литератур-

ными произведениями об Эфиопии на русском языке. Недавно, в 2010 и 2013 году эти книги были переведены на местный амхарский язык и изданы в Эфиопии.

Известный русский путешественник нашего времени Фёдор Конюхов, считая себя последователем Булатовича, установил в его честь мемориальную доску в Российском культурном центре в г. Аддис-Абебе «в знак дружбы между российским и эфиопским народами».

Трижды посетил Эфиопию выдающийся русский поэт начала XX века Н. С. Гумилёв. Имея предписание на этнографические изыскания от Санкт-Петербургского музея «Кунсткамера» и от Русского географического общества, офицер и поэт Гумилёв несколько раз пересёк малоизвестную страну, собрал и доставил в Россию уникальную коллекцию артефактов и фотографий, которые до сих пор составляют бесценный фонд Кунсткамеры. Результатом его странствий по Эфиопии стал цикл стихов и путевых записок о «колдовской стране».

«Русским Гогеном» в мире изобразительного искусства называют Е. В. Сенигова. Он прибыл в Эфиопию в 1899 году в составе военной миссии. Но впоследствии, оставив военную службу, женился на эфиопке, усвоил местный язык, обычаи, нравы, приняв местный образ жизни, стал вести натуральное хозяйство и проповедовать толстовскую философию «опрощения и слияния с природой». Вероятно, отсюда и пришло вдохновение к живописи. Полотна Сенигова, хранящиеся в Кунсткамере и Эрмитаже, поражают воображение зрителей своими неземными красками и экзотикой.

Академик Н. И. Вавилов, впоследствии уничтоженный Сталиным, был первым российским учёным, который описал биосферу Эфиопии, в частности, её злаковые растения, во время своей научной экспедиции в эту страну в 1926–27 годах. Собранный им генофонд образцов семян твёрдой пшеницы послужил развитию селекции лучших отечественных сортов. Образцы семян из его коллекции переданы эфиопской стороне и сохраняются в Институте биологического разнообразия в г. Аддис-Абебе. Дело, начатое академиком Вавиловым в 20-е годы прошлого века, с успехом продолжает Совместная Российско-Эфиопская биологическая экспедиция, недавно отметившая свой 25-летний юбилей.

В истории российско-эфиопских отношений особое место занимает семья Бабичевых, которую в полной мере можно отнести к сооте-

чественникам, прожившим всю жизнь в Эфиопии. Глава семьи Иван Филаретович Бабичев в начале 20-го века служил при российском посольстве в Аддис-Абебе в подразделении охраны. Затем, после революции 1917 года, на родину не вернулся, остался в Эфиопии, женился на знатной эфиопке. Многие годы И. Ф. Бабичев был советником при дворе эфиопского императора, имел высокий военный чин, награды, имения. Способствовал установлению дипломатических отношений Эфиопии с СССР, прерванных после революции 1917 года.

Его сын Михаил Бабичев остался в истории страны как первый пилот эфиопских ВВС и основатель службы гражданской авиации. Помимо этого, он внёс определённый вклад в развитие дипломатических отношений между двумя странами, будучи первым временным поверенным в делах Эфиопии в СССР с 1943 по 1947 год. Покоится майор эфиопских ВВС Михаил Иванович Бабичев на мемориальном кладбище героев Эфиопии у Собора Святой Троицы в г. Аддис-Абебе. У другого Собора (Петра и Павла) в эфиопской столице, на специальном кладбище для иностранцев можно отыскать старые каменные надгробья с высеченными на них русскими фамилиями. Возможно, что там покоятся не менее выдающиеся соотечественники. Но это уже тема другого исследования.

ЧАКИСО

Вернусь к описанию нашей жизни в Чакисо. Местные власти предоставили нам дом с тремя комнатами. Дом имел крышу из соломы. Никакой больницы не было и в помине. Отец немедленно приступил к строительству лечебного учреждения.

Кухня находилась рядом с домом. Мама наняла повара и прислугу.

Туалет располагался вдали от дома. Однажды по пути в уборную я услышал шум и увидел, как в пасти леопарда трепыхается курица. Леопард пробежал буквально у моих ног. Это была экзотика особого рода, с чем приходилось постоянно сталкиваться.

...Однажды отец послал меня в столицу с тремя местными помощниками для получения лекарств. Мы сели в машину. Через пять часов началась настоящая буря. На дороге упало огромное дерево. Дальше ехать было невозможно. Стемнело, мы решили заночевать. Мои помощники развели костёр. Накрывшись одеялом, я заснул. Через некоторое время проснулся от непонятных звуков. Приоткрыв одеяло, с ужасом увидел, как меня обнюхивает лев. Я вскочил и бросился

к моим спутникам, лежавшим возле догоравшего костра. Лев не последовал за мной, видимо, ошарашенный моим внезапным бегством.

Утром местные жители убрали дерево с дороги, и мы благополучно добрались до столицы.

Старшая сестра Вера приехала в гости. На двух мулах мы отправились в соседнюю деревню навестить хорошего знакомого семьи — шефа полиции. Нужно было проехать через лес. Вдруг мулы начали дрожать и, чтобы не упасть, мы оба схватились за ветки и так на минуту повисли. На нас смотрела большая стая диких собак. Они не проявили агрессии и ушли. Мы благополучно добрались до жилища полицейского. Когда мы рассказали, что случилось, капитан заметил, что нам повезло, так как дикие собаки в Африке весьма опасны.

Чакисо находилось недалеко от границы с Кенией. Там были золотые прииски, где работали заключённые. Большинство жило в лагерях, и отцу необходимо было их навещать и лечить. Когда отец изредка уезжал по делам в столицу, то оставлял за себя фельдшера. Я ему помогал. Помню, однажды пришёл больной, который два дня не мог мочиться. Очевидно, у него в мочевом проходе был камень. Поставили ему катетер, и проблема решилась.

В Кении началось восстание местных жителей против англичан. Звались они Мау Мау. Местный эфиопский губернатор дал предписание лечить больных перебежчиков-повстанцев. Как-то раз ночью нас разбудил стук в дверь. Пришли двое кенийцев, один с окровавленным лицом. Однако они пострадали не от английских солдат. Проходя лесом, стали объектом нападения леопарда. Зверь набросился на одного из них. Его напарник не растерялся и ударил леопарда ножом...

Я тоже попадал в переделки, связанные с дикими животными, которыми кишели леса. Однажды, гуляя на открытой лужайке, я набрёл на стаю бабуинов. Те начали бросать в меня камни, слегка повредив правое плечо. Один камень упал мне на голову. К счастью, я носил африканский шлем, смягчивший удар.

Летом 1950-го я сильно простудился и пролежал в постели две недели. Перед моим окном собралась дюжина женщин, так называемых плакальщиц. Когда человек умирает, они начинают сначала гортанно выкрикивать особые слова и выражения, а потом переходить на громкий безостановочный плач. Это был их заработок.

После болезни у меня начали болеть ноги. Отец приказал поехать в столицу и лечь в госпиталь для всестороннего обследования. В Ад-

дис-Абебе я лёг в советскую больницу. Мне сделали укол новокаина в позвоночник, и боли в ногах прошли.

В Чакисо появились новые люди. Это были горные инженеры из Америки. Их руководителем был господин Кэмер. Он рекомендовал мне эмигрировать в Штаты и обещал быть спонсором. Он же давал мне уроки английского. Через шесть месяцев я мог прилично говорить на английском. Восприняв совет американца, по-доброму ко мне относившегося, в конце октября я уехал в столицу. Родители не возражали против жизненного пути, который я хотел избрать.

Во время ожидания американской визы я посещал колледж. Кстати говоря, десять лет назад в Аддис-Абебе открылась школа, названная Пушкинской, и был поставлен памятник поэту.

В середине декабря, после получения виз, с чем трудностей не возникло, мы с сестрой Верой улетели в Рим. Затем в Париж для получения бесплатных железнодорожных билетов в Бремен. Получив билеты, мы поездом двинулись в Бремен. С нами ехала тоже Ольга Китрэй, родная сестра Николая Николаевича Чухнова, редактора монархического журнала «Знамя России».

Прибыв в порт, мы переночевали и, погрузившись на борт парохода «Генерал Мюир», благополучно отплыли в Нью-Йорк.

СТОЛИЦА МИРА

Пароход прибыл в Нью-Йоркскую гавань с большим запозданием из-за сильного шторма. Не стану описывать мои ощущения от плавания — это и так понятно. Но главное, я и сестра оказались в городе, который мы даже в самых смелых мечтах не могли представить. Теперь он становился явью.

После всех таможенных и иных процедур, включая медосмотр, 11 января 1952 года мы ступили на берег.

Ввиду опоздания нашего корабля на сутки из-за шторма нас не встретили. У нас имелся адрес Ткаченко, доброго знакомого отца. Добрались мы с Верой до его дома на метро. Дом находился в Бруклине по адресу 790 Сенека авеню.

Прожили мы в семье Ткаченко месяц. Всё это время активно занимались поиском работы. Никаких велфэров не существовало, рассчитывать приходилось только на себя.

Вера получила работу лаборанткой в пресвитерианской больнице. Я нашёл место в ресторане Craft на 5-й авеню. Вскоре я поступил в кол-

Я, моя жена и дочь Елена

ледж святого Франциска в Бруклине благодаря помощи сына Ткаченко Жени, где он сам учился. Обучение было бесплатным. Через 3.5 года я успешно закончил учёбу. Квартировали мы с сестрой в Квинсе в доме Иосифа Хорака.

А дальше я кратко перечислю ступени своего движения по карьерной лестнице. Фордхэмский университет, где получил степень магистра химии. В 1972 году я получил докторскую степень и был приглашён на работу в известную фармацевтическую фирму Johnson & Johnson. Здесь я проработал 31 год, до марта 2003-го.

Имею 16 патентов по химии и 12 научных работ в различных областях медицины. Отмечен престижными наградами за свои научные открытия.

Я женился на русской девушке Марии Коноваловой, родившейся в Штатах. Познакомились мы на катке в городском парке Нью-Йорка: я упал, а она меня подняла — с этого всё началось. Через полтора года мы сочтались браком.

Супруга Мария Алексеевна, учитель математики и английского языка по образованию, стала хорошей хозяйкой и прекрасной матерью троих детей — двух дочерей и сына. Семья прибавлялась — в ней 5 внучек (у всех русские имена) и внук Ваня.

Всю жизнь с женой дома мы общаемся только на русском языке. Наша старшая дочь Лена говорит по-русски, сын Олег и младшая Нина — не говорят, но язык понимают.

Американка по рождению, но русская по крови, Мария Алексеевна всегда хотела побывать на родине родителей. Её мама Ольга Трофимовна родилась в Херсоне, а отец, Алексей Алексеевич Коновалов, в Чите. В один из своих приездов в Россию мы нашли в Чите дом, который построил дед моей жены. Удалось ей найти и своих тётушек, которые жили в Кисловодске. Таким образом, были восстановлены утерянные когда-то родственные связи.



Казаки умирают на чужбине... Долго не решался мой отец приехать на родину. Лишь в 1973-м он вместе с дочерью Верой, а позже и со мной навестил город своей студенческой юности Петербург — в ту пору ещё Ленинград. Он очень хотел показать нам, своим детям, места, с которыми была связана его молодость и несбывшиеся мечты... Умер Фёдор Иванович в январе 1987 года. А через год у меня не стало и сестры...

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

С первых лет пребывания в Соединённых Штатах я включился в казачью жизнь и в работу в штабе Кубанского казачьего войска за рубежом. Был первым секретарём музея, в котором хранились казачьи регалии, вывезенные из России во время Гражданской войны.

Началось с того, что я позвонил по просьбе моего отца атаману Вячеславу Науменко. Мы познакомились. Не раз встречались. Однажды атаман попросил меня поехать вместе с генералом Олегом Ивановичем Лебедевым в порт и доставить прибывшие морем экспонаты кубанского музея в зарубежный Синод церкви на 93-й улице Манхэттена. Лебедев был администратором Синода.

Кратко об этом уникальном музее. Когда крах белого движения в России неумолимо приближался, музей, находившийся в одной из станиц, переправили в Белград. Оттуда он начал путешествие по Европе и, наконец, оказался в Америке.

Это был бесценный груз. Среди экспонатов — знамёна Запорожской сечи; булавы гетманов Сагайдачного, Дорошенко и Мазепы. Мы нашли также рескрипт Екатерины Второй, где было указано о даровании запорожцам земель на Кубани. Особую ценность представляла знаменитая золотая шпага, усыпанная бриллиантами. Шпагу подарил император Александр Первый кубанскому войску за мужество в сражениях.

Удивляет по сей день, как удалось сохранить все эти реликвии с учётом перемещения музея по городам и весям!

По поручению атамана Науменко я нашёл в Астории (Квинс) дом для размещения экспонатов. Здесь они существовали в целостности и сохранности не один год.

Потом произошла некая детективная история.

Группа определённых людей решила передать экспонаты музея в Россию. Несколько кубанцев решили не допустить этого и обратились в суд. Судья принял решение не отдавать реликвии и поставить

печать на дверях. Несмотря на это, в одну из ночей в помещении была сорвана печать и экспонаты исчезли. Они покинули территорию США и были выставлены в Краснодарском государственном историко-археологическом музее.

Вот что можно прочесть по этому поводу в Сети (Википедия и другие источники). Прямо упоминается фамилия А. М. Певнева. Он

вошёл в историю как атаман, до конца выполнивший долг казака-патриота по возвращению регалий на родную кубанскую землю. В числе переданных реликвий — грамоты российских государей, боевые знамёна, августейшие подарки войску, символы атаманской власти.

Возглавляя на протяжении почти пяти десятков лет самое крупное казачье объединение за пределами России, атаман Певнев сумел превратить город Хоуэлл (штат Нью-Джерси) в центр казачьей истории, сохранить национальные обычаи и устои казаков. Он проводит активную общественную деятельность, направленную на поддержку возрождения казачества на исторической Родине. За заслуги на этом поприще в марте 2013 году Указом Президента Российской Федерации Александр Певнев был награждён орденом Дружбы.

Полагаю, читатели смогут составить своё мнение об изложенных фактах исчезновения реликвий и появления их в российском музее...

Атаман, войсковой старшина Борис Иванович Ткачёв, назначил меня своим адъютантом. В зимние времена в лучших гостиницах проходили субботние вечера различных обществ: бал народов России, кадетский, казачий, инженерный. А самый фешенебельный — морской бал.

Мне доводилось бывать в Монреале, где существует Центр зарубежного кадетского движения, выступать там.

Восемь лет я был адъютантом атамана Кубанского казачьего войска за рубежом. Каждый год проводились сборы с участием казаков разных станиц, которые берегли казачьи устои и традиции. Жемчужиной таких встреч были выступления прекрасного хора донских казаков Сергея Жарова. Хор много гастролировал. Я стал его менеджером и сам пел. Выступления хора впервые услышал а Зальцбурге, в лагере для перемещённых лиц, второй раз — в Карнеги-Холле, в Нью-Йорке в 1957 году.

Хор создавался в самые тяжёлые годы эмиграции в военном лагере «Чилингир» под Константинополем в 1921 году, где казаки умирали от истощения и болезней, но умирая, молились и пели. По приказу командира дивизии собрали лучших певцов всех полковых хоров в один хор, который должен был своим участием в богослужениях содействовать поднятию угнетённого духа войск. И когда 19 декабря 1921 года хор донских казаков под управлением Сергея Жарова пропел свой первый молебен на празднике Святого Николая Чудотворца, жизнь казаков-изгнанников стала немного легче. По разрешению болгарского царя Бориса хористы прибыли в Софию, где пели в соборе Святого князя Александра Невского. Ставший впоследствии легендарным, хор Сергея Жарова объехал весь мир, выступал на самых знаменитых концертных площадках, перед королями, императорами и президентами, и неизменно пользовался заслуженным успехом.

Я немало сделал для знакомства Америки с русской церковной музыкой. Несколько раз привозил из России в США и Канаду хор «Акафист», провёл с ним шестьдесят концертов, выпустил шесть дисков. Помог организовать выступления белорусского хора из Бреста.

Однажды мне неожиданно позвонила американка и попросила помочь с размещением участников приглашённого ею волгоградского хора. Шесть хористов я устроил на ночлег у себя, а остальных среди друзей. Устроил им несколько концертов.

Иногда я сам пел в белорусском храме Ефросиньи Полоцкой, где музыкальным коллективом руководил бывший варшавский семинарист Евгений Скавронский. Он предложил поехать выступать с концертами в Польшу. Хористов нашей Капеллы прекрасно встретили, разместили в гостинице в предместье под названием «На Воли». Рядом была русская кладбищенская церковь, где мы дали концерт.

На следующий день нас принял Глава польского Православия митрополит Василий, который вручил мне медаль имени Марии Магдалины. Выступления шли подряд, нас тепло принимали.

Я был лично знаком со многими незаурядными людьми. Среди них Андрей Всеволожский. Он постоянно приезжал из Мюнхена в Нью-Йорк, и моя мама сдавала ему комнату. Когда я называл его князем или графом, он говорил: «Нет, мы — бояре».

Самое необычное заключалось для меня в том, что он был другом Альберта Шпеера — любимого архитектора Гитлера. В 30-х годах Ан-

дрей Всеволожский учился вместе с ним в архитектурном институте в Германии. Шпеер построил дом для возлюбленной Гитлера Гелли, которая была его двоюродной сестрой, но по какой-то причине вскоре покончила с собой. Рейхсканцлер боготворил своего архитектора, которому поручил создать амбициозный архитектурный проект будущей столицы Германии, а в годы войны назначил его рейхсминистром вооружений и боеприпасов.

После окончания войны американцы арестовали Шпеера. Нюрнбергский суд приговорил его к 10 годам заключения. Всеволожский оказался в Мюнхене, откуда каждый год приезжал к нам в Нью-Йорк.

Андрей был очень приятным человеком. Он очень нравился моей маме, она им восхищалась: «Вот это мужчина!» У него были голубые глаза, немного кучерявые волосы, нос с горбинкой, аристократические манеры. Он был старше меня лет на десять. Я тогда только женился, жил отдельно, и моя мама сдавала ему мою комнату. Я часто разговаривал с Андреем Всеволожским, для которого Россия не была пустым звуком. Он оставался русским до мозга костей...

Хорошие отношения связывали меня с сербом Николой Велимировичем. Блестяще образованный человек, выпускник Бернского университета, доктор богословия. Впоследствии окончил философский факультет Оксфорда, подготовив там диссертацию на соискание учёной степени доктора философии и защитив её в Женеве на французском языке.

Вернувшись в Сербию, начал преподавать в Белградской семинарии и одновременно печатал свои статьи в сербских церковных журналах. После выздоровления от туберкулёза принял близ Белграда монашеский постриг под именем Николай.

Уехал учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время обучения много путешествовал по России, посетил все наиболее известные святые места, ближе узнал русский народ.

Вернулся в Сербию, где его застала Первая мировая война, во время которой отец Николай на боевых позициях исповедовал и причащал сербских солдат, укреплял их дух проповедью. Своё жалование он до конца войны перечислял на нужды раненых.

18 ноября 1942 года был арестован по личному приказу Гитлера «уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку Сербской православной церкви». Вместе с патриархом Сербским Гавриилом был переведён в концентрационный лагерь Дахау. Здесь они

содержались до конца войны, их освободила 8 мая 1945 года 36-я американская дивизия. По освобождении епископ выехал в Англию, а оттуда в США.

Последние дни провёл в русском монастыре святого Тихона в штате Пенсильвания.

Канонизирован для общецерковного почитания как святитель 19 мая 2003 года решением Архиерейского собора Сербской церкви.

Особая страница моей биографии — связи с еврейской общиной.

Случилось так, что в 1957-м я оказался в рядах американской армии. Прослужил, правда, недолго, всего шесть месяцев — помог сократить этот срок приятель отца — известный адвокат. За неимением православных священников я приобщился к еврейской религии и каждую пятницу посещал военную синагогу. Тут надо заметить, что корни моей матери-сербки — сефардские. То ли это обстоятельство, то ли нечто иное, но еврейская религия, история и культура меня весьма интересовали. И не случайно я поступил учиться в университет Иешива в Манхэттене на 86-й улице. Учился бесплатно, одновременно подрабатывал, получая в месяц 300 долларов. Смешная сумма по нынешним временам, но тогда это были деньги.

По окончании университета Иешива по просьбе декана я стал помогать эмигрировавшим в США евреям из Советского Союза, что продолжал делать немало лет.

Вернусь к музыке. Я поддерживал связи с российским хором Акафист во главе с Андреем Васильевичем Малютиным. Я пригласил его коллектив в Америку. Сообщил об этом супруге, та ответила, что мой шаг необдуман: как я буду их кормить и где предоставлю жильё? Денег на это не было. Я дал объявление в газете. На удивление, многие откликнулись и предложили свои услуги.

Против ожидания, оформление поездки оказалось относительно несложным. Такое культурное мероприятие у советских властей не вызвало возражений. Американские визы были получены в срок. Хор дал за два месяца 35 концертов в Нью-Джерси и в ООН благодаря моему новому знакомому, советскому дипломату Владимиру Алексеевичу Юлину. Пел хор и в Вашингтоне, где одну из своих гостиниц бесплатно предоставил мой хорист Саша Дорогов. Он владел несколькими. Школьным другом Юлина был посол Лукин, и благодаря ему мы посетили советское посольство.

Потом нас ожидал Торонто. И снова успех.

Удачной оказалась и коммерческая сторона гастролей Акафиста. Я смог продать диски с записями выступлений хора за 25 тысяч долларов и расплатиться с долгами, связанными с затратами на пребывание хористов. И сами певцы прилично заработали — по 1500 долларов каждый. Сколько уж советский минкульт оставил им, не ведаю. Слышал, что обычно чиновники забирали львиную долю заработанного артистами на гастролях.

Таких поездок хора по городам и весям США и Канады было несколько.

Могут спросить о причине такого феноменального успеха. Ответ прост. Малютин собрал сливки хористов Москвы. Корреспондент влиятельной газеты Стар Лэджер (*The Star-Ledger*) в рецензии назвал русский хор одним из лучших в мире.

Последний, четвёртый приезд Акафиста в 2006 году, был только в Канаду.

К сожалению, моё содружество с хором прекратилось. Я постарел, энергия стала иссякать. Никто другой, увы, не захотел взвалить на себя нелёгкую миссию по приёму хора из России. Как жалко...

Подводя итоги моей музыкальной эпопеи, иногда задаю себе вопрос: к чему всё это? И сам отвечаю: делал это по Божьей воле и преданности своим корням. Акафист был первым коллективом, который познакомил Запад с русской духовной музыкой. На склоне лет думаю, что я всё-таки что-то оставляю после себя...

Как уже говорилось, я принимал участие в деятельности русского казачества, а последние годы участвовал в кадетском движении в Америке и России. Российские кадеты приглашали меня на их съезды. Посетил Питер, Москву, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток.

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

«Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест...» Это про меня и мою жену. Страсть к путешествиям сопровождает нас все эти годы. О всех поездках за рубеж рассказывать не стану, дабы не утомлять читателей. Остановлюсь на наиболее интересных.

...Более сорока лет назад я совершил с супругой и девятилетним сыном Олегом трёхнедельное путешествие в Италию и потом в Сербию, где посетил деревню Баваниште, в которой родился.

В Риме сын очень уставал. Он заснул в траттории. Была уже полночь. Рядом с нами сидели местные жители, и они посоветовали... окунуть голову ребёнка в находящийся за углом знаменитый Фонтан Треви (итал. *Fontana di Trevi*). Так мы и поступили — Олег мигом проснулся.

Кроме Рима мы побывали в Тоскане. Во Флоренции насладились живописью в галерее Уффици (итал. *Galleria degli Uffizi*). Посетили много Храмов и особенно главный собор Санта Кроче (Базилика Санта-Кроче — итал. *Basilica di Santa Croce* — «церковь Святого Креста») с могилой Микеланджело. Олег не захотел войти внутрь, оседлал одну из фигур Льва, стоящего перед Собором, и пожаловался, что я только показываю ему Храмы и они ему надоели.

Из Флоренции мы заехали в Венецию. В один из моментов потерял Олега из виду. Только через час поисков обнаружил, что сын играет в мяч с местными мальчишками.

Из Флоренции мы направились в город Бари, где посетили могилу Святителя Николая. Преночевали у русского священника. У могилы Св. Николая я спел акафист Святителю. Священник предлагал мне остаться в Бари и стать церковным служителем.

Потом нас отвезли на пристань, и мы, погрузившись на паром, добрались до Дубровника и оттуда в Белград.

В швейцарском путешествии были любопытные встречи и приключения... В Люцерне отпраздновали десятилетие дочери Лены, которая была с нами. Лодкой добрались, пересекая чудесное озеро, до городка Лаутербруне. Сели в маленький поезд и взбирались медленно вверх. В итоге добрались до вершины Монт Пилатус (Пилатус — *Mount Pilatus*) где по преданию был похоронен Пилат. На горе был снег, Олег был обут только в сандалии и ходил по колено в снегу. Сандалии — наш родительский недосмотр...

Здесь мы познакомились с русским евреем Соломоном, провели весь день вместе. Он оставил свой адрес в Израиле. Позже у нас завязалась переписка. Соломон был родом из Литвы, майор Красной Армии, после окончания войны назначен комендантом лагеря немецких военнопленных. Через несколько месяцев после знакомства он приехал навестить своих родственников, живших в Нью-Йорке поблизости от нас. Не выдержав общения с ними, попросил разрешения переехать к нам. Моя супруга любезно его приняла. Побыв несколько дней у нас, он подарил Марии большое янтарное ожерелье, а мне бинокль и лупу.

Второе путешествие по Швейцарии было тоже занимательным. Мы поехали в Зеермат (Zeermat), дабы увидеть вершину Меттерхорн (Matterhorn). На поезде направились на юг в Давос. На половине дороги поезд остановился, и гид указал на русский крест на вершине Сен-Готарда, где проходил Суворов с его войском. В Давосе переночевали и автобусом двинулись дальше по направлению к Италии. Дорога извилистая, среди горных ущелий. Для меня было полной неожиданностью, что в двух деревнях, куда мы попали, жители говорили на латини. Названия улиц были на латинском языке и итальянском.

Вскоре пересекли границу и очутились в Италии. Сначала в Лаго Маджоре (Лаго-Маджоре — итал. *Lago Maggiore*) и Лаго Комо (Лаго-ди-Комо — итал. *Lago di Como*). На побережье красивейшего озера увидели много усадеб. Дальше направились в Милан автобусом и, взяв самолёт, полетели в Сицилию.

Прилетев в Таормину, автобусом доехали до гостиницы, где остановились. До Таормины добрались пешком в гору. Я знал, что Анна Ахматова была в Сицилии. Её чествовали именно в Таормине. Погуляв по городу и прослушав концерт на открытом воздухе, зашёл в миниатюрный сад отдохнуть...

Рядом был маленький городок Кастеломаре, где мы посетили храм XII столетия. Городок будто замер в этом столетии. Я с удовольствием бродил по маленьким узким улицам. Потом мы поехали в гору, посетив мёртвый город, в котором жило только пятеро человек. Гид показал мне церковь, и мы зашли внутрь — там был сняты эпизоды фильма «Крёстный отец», в частности, показана свадьба патриарха мафиозной семьи Корлеоне.

Дальше поехали в город Катания, чтобы увидеть в храме гробницу моего любимого композитора Винченцо Беллини. По рекомендации моего друга Александра Чупренко посетил Мессину. Саша мне напомнил, что в 1908 году близ Мессины произошло извержение вулкана Этна и землетрясение. Вдали стоял русский крейсер, моряки спешно приехали в город и спасли более двух тысяч жителей, вытащив их из развалин. Каждый год в июне в Сицилии вспоминают об этом чудесном спасении, называя моряков «голубые ангелы».

Об увиденном в Сицилии я мог бы рассказывать ещё долго, однако пора переходить к новым путешествиям. Ограничу самого себя в описаниях: ведь это не путеводитель, хотя иногда, грешен, сбиваюсь на тон гида. Попробую вспоминать лишь сочные детали поездок.

Неизгладимое впечатление оставили Австралия и Новая Зеландия. Полёт из Нью-Йорка был долгий и утомительный. В городе Кэрнс гид рассказывал о капитане Джеймсе Куке и показывал могилы моряков, устроивших бунт на корабле Bounty. Дальше нас ждал всемирно известный Барьерный Риф с множеством кораллов.

В Сиднее встретились с кузеном моей жены Глебом. Благодаря ему мы смогли увидеть достопримечательности города. Купались на Бондай пляже. Глеб познакомил с некоторыми эмигрантами, попавшими сюда из Харбина. Полетели потом на Южный Остров Новой Зеландии в город Крайст Чёрч — «церковь Христа». Ещё его называют «воротами в Антарктиду». Он напоминал скучный гоголевский уездный город...

Покинув Крайст Чёрч, прилетели в столицу Новой Зеландии Веллингтон. Красивый город. Северный Остров был заселён, кроме белых, полутёмными красивыми маори. Они приехали из Полинезии около 800 года нашей эры на узких лодочках. Осмотрели весь Северный Остров, где было много пещер, куда мы заходили внутрь.

Невероятное впечатление произвёл остров Фиджи, утопавший в тропических растениях, кругом множество цветов. Просто Рай земной. Вокруг нашего коттеджа была сплошная вода глубиной до плеч. Нам удалось хорошо отдохнуть пару дней и двинуться дальше, полетев в Сингапур, Гонконг и в южную восточную провинцию Китая, город Кун Мин.

...Здесь хочу остановиться, умерить свой пыл. Объять необъятное невозможно. Путешествий было столько, что о всех в журнальной публикации не расскажешь. Упомяну лишь поездки в Марокко, Египет, в центральную и южную часть Африки. Мы увидели водопад Виктория, побывали в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Кейптауне, на мысе Доброй Надежды... Ярчайшие впечатления оставило африканское сафари...

КАК МЕНЯ АРЕСТОВАЛИ

Теперь о поездках на родину, сначала в Советский Союз, потом в Россию.

Моя жена Мария была первой из нас, посетившей СССР, в сентябре 1967 года. Она поехала со своей мамой Ольгой Трофимовной Коноваловой и нашей маленькой дочкой Леной. Из Монреаля они отплыли на пароходе «Александр Пушкин». Конечной целью было лечение мамы в санатории Кисловодска. Не удивляйтесь — многие наши соотечественники предпочитали лечение в общепризнанных курорт-



Среди представителей казачества. Россия, 2009 год



Виктор Федорович Бандурко с супругой Марией Алексеевной у памятника Государю Николаю Второму. Царское село, 2009 год.

ных центрах с целебной минеральной водой. Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск... Плавание через Атлантику поначалу шло нормально. Потом Лена стала капризничать, плохо себя вести, в столовой бросала ложки и вилки. Еду им поэтому приносили прямо в каюту. Неожиданно Лена сказала матери, что у неё болит нога и она не может ходить. Вызвали двух корабельных врачей. Один из них подошёл к Лене и сказал: «Леночка, подойди ко мне», и она подошла. На этом её капризы закончились.

Жена с дочкой жили на квартире и ежедневно посещали тётушек Марусю, Лидию и племянниц.

Отец и сестра Вера, как я уже писал, посетили в начале 70-х Питер, Москву и Краснодар. В Армавир их почему-то не пустили.

В середине 80-х Фёдор Иванович, Лена и ваш покорный слуга совершили трёхнедельное путешествие с двадцатью американскими евреями по многим местам в России. Прилетели в Питер из Хельсинки. Нас встречала племянница отца Ирина — врач, с мужем — тоже медиком, только военным. На таможне нас дотошно осмотрели и, увидев несколько зонтиков, хотели их забрать. Оказалось, зонтики в СССР — дефицитный предмет и таможенники посчитали, что мы везём их на продажу. Отец устроил громкий скандал. Во избежание проблем с русскими иностранцами нас отпустили и зонтики не тронули.

Родственники, приехав из Ташкента на встречу, обнялись и расцеловались с нами.

Остановились мы в гостинице «Ленинград», откуда открывался чудный вид на Смольный на другом берегу Невы. Отец предался воспоминаниям: рассказывал, как со своим лучшим другом, будущим академиком Куприяновым, чистили снег в Гостином Дворе; разносили эсеровскую литературу... Во время Первой мировой войны студентов медиков забрали во время каникул на фронт. Служил отец в дивизии сибирских стрелков, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.

На следующий день отец и я посетили Военно-Медицинскую Академию и Институт физиологии. Полсотни медиков расспрашивали об отцовских учителях Павлове, Бехтерева, химике Ипатьеве. Особенно хотели знать о жизни Павлова, который рекомендовал коллегам как можно больше ходить пешком; о его лабораторных работах с собаками, о том, что учёный просил старшекурсников не пропускать практику в Боткинских больницах. Медики интересовались деталями отцовских воспоминаний о Февральской революции, перерос-

шей в большевистский переворот, о белом движении, отъезде отца из Крыма...

Пребывание в Москве не сохранило ярких впечатлений. Помню только посещение Большого Театра, концерта ансамбля Игоря Моисеева и цирка. Мы также увидели (просто перечислю) Абрамцево, Клин, Новгород, Петрозаводск, Волгоград, Ташкент, Самарканд, Бухару, Тбилиси и Сочи.

...Предпоследняя моя поездка состоялась уже в этом веке, лет десять назад. Российский МИД готовил Конгресс соотечественников. Я не должен был участвовать, но кто-то заболел и меня экстренно включили в список. Я этого не ожидал. Всё делалось в спешке. Частично по моей вине визу дали только на 11 дней. В Питере разместился в приличном отеле напротив Лавры. Через день начались пленарные заседания в Таврическом Дворце...

По окончании Конгресса еду в Москву. Заказал номер гостиницы на восьмом этаже недалеко от аэропорта Шереметьево. Решил отдохнуть перед полётом домой.

Неожиданно стук в дверь. На пороге человек в форме, заявляет, что я, оказывается, просрочил визу и меня задерживают. Наручники, правда, не надел и повёл на третий этаж в комнату с решётками. Целый день я просидел в своего рода камере. Потом начали допрашивать. Я представился и сообщил подробности своего визита в Россию по приглашению МИДа.

Был воскресный день, и они не могли получить ответ-подтверждение из дипломатического ведомства.

Наконец, ответ пришёл. Ко мне подошёл офицер и вручил американский паспорт, не говоря ни слова. Ни извинений, ни сожалений за доставленную нервотрёпку. Я спросил, как мне улететь. Он ответил, что через пять минут в аэропорт отъезжает микроавтобус. Я бросился вниз.

Приезжаю и хочу зарегистрировать билет в Нью-Йорк. Мне ответили, что все места заняты. Нужно добавить: в Нью-Йорке в этот день был сильный ураган, начало заливать дороги, может быть, вскоре аэропорт JFK закроют и данный рейс будет последний. Жду целый час и не знаю, что делать дальше. У меня было только 80 рублей. Захожу в ресторан и хочу заказать суп. Он стоил 85 рублей. Видимо, моё растерянное, удручённое лицо что-то подсказало официантке, и она бесплатно принесла суп.

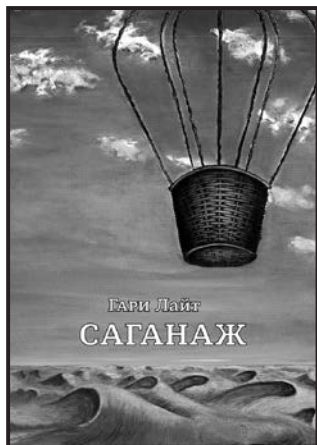
Вскоре меня вызвали к стойке регистрации, и миловидная девушка в аэрофлотовской форме сообщила, что даёт мне последний билет. Через несколько минут началась посадка.

Не успел я ступить на трап, как меня снимают с рейса, ведут в отдельную комнату, раздевают, тщательно осматривают и проверяют вещи. Лишь затем пускают в самолёт. Вижу — минимум десять пустых кресел...

Не стану описывать, как после приземления добирался домой на машине, которой управляла дочь Лена, — по залитым водой дорогам, в темноте. Это был кошмар...

С тех пор с России я был единожды, шесть лет назад, по просьбе зятя-американца, мужа Лены. Это был морской круиз с заходом в Питер, где мы провели два дня.

Больше в России я не был и не собираюсь туда, с учётом всех входящих обстоятельств.



САГАНАЖ. ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 2017–2024 *Гари Лайт*

У новой книги стихов Гари Лайта «Саганаж», по сути, географическое название. Если быть точнее — это район среды наиболее частого присутствия автора: американский Средний Запад, на местном наречии — Мидвест, юго-восточное побережье озера Мичиган, район большого Чикаго.

С раннего отрочества — в этой географии автор уже более сорока лет дома. Это его своеобразный промежуток приграничья. Приграничья бывают разные — внешние и внутренние. Обозначенные на карте и проложенные в промежутках дыхания и сердечного ритма. Стихи, собранные в этой книге, скорее о ритме и дыхании. Основной творческий эксперимент здесь заключается в том, что в этот сборник вошли

исключительно вещи, появившиеся за семилетний период с 2017-го по 2024-й. Родившийся в Киеве в 60-х годах минувшего века, американский автор в написанном всё же по-русски «Саганаже» в эти весьма странные времена, пожалуй, и подспудно, и нарочито заявляет свою проукраинскую и произраильскую эмпатию в роли основного посыла своей новой книги.

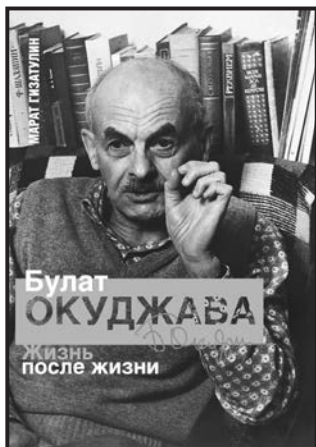
В этих стихах нет восклицательных знаков, мессианства, лекционных нравоучений и подобострастия. В них есть боль, сострадание и надежда. Эта книга, несомненно, для внимательного и вдумчивого, интеллектуально подготовленного читателя. В ней традиционно присутствует всё то, к чему привыкли постоянные читатели этого автора, — изысканность интонации, тонкая лирика, ненавязчивые философские наблюдения. Его уже немалый жизненный опыт, к тому же рафинированный многогранностью адвокатского ремесла, позволяет ему не стремиться ко всеобщему одобрению, искренне оставаясь верным своим тем самым, во многом «шестидесятическим», принципам, ставшим очевидными в его прежних книгах и публикациях в литературной периодике разных стран.

Немного об авторе: Гари Лайт — американский поэт из Чикаго, родившийся в Киеве, Украина. С 1980 года живет в США. Стихи Гари регулярно публикуются в литературных журналах и поэтических антологиях США, Канады, Израиля, Европы и Украины. Член Американского ПЕН-центра и Национального Союза писателей Украины. Начиная с 1992 года были изданы более десяти его поэтических книг. Недавние сборник поэзии на английском языке «Confluences» (2020), трёхязычная книга избранных стихотворений «Дологосо» (2023), также как и последний по времени сборник поэзии «Саганаж» (2024) изданы как в Украине, так и в США, что становится уже традицией. Гари регулярно принимает участие в поэтических чтениях и других литературных мероприятиях по обе стороны Атлантики. Член редсовета журнала «Времена».

Приобрести книгу можно через сайт издательства:
<https://mgraphics-books.com/product/sauganash>

**С ВОПРОСАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

 mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
 www.mgraphics-books.com  781-990-8778 (9 AM–4 PM)



Булат Окуджаву: жизнь после жизни Марат Гизатулин

Новая книга Марата Гизатулина, первого биографа и первого директора музея Булата Окуджавы в Перedelкинe под Москвой, повествует об истории создания народного музея поэта. Такого масштабного и трудного дела, такого важного события в истории российской культуры достаточно, чтобы сделать значимой целую жизнь человека.

Но в книге на первый план выступают не труды и заботы автора, а те люди, которые соучаствовали с ним в этом деле, преданная любовь которых к Булату Окуджаве, к его творчеству помогла преодолеть и чиновные преграды, и отсутствие средств. Это был первый в России музей, созданный на народные деньги народным энтузиазмом и народной любовью.

В книге рассказывается о друзьях Булата и известных людях, выступавших в музее, о судьбах, ситуациях смешных и печальных, о преданности и предательстве.

«В Википедии написано, что музей Булата Окуджавы в Перedelкинe был основан 22 августа 1998 года, а открыт 31 октября 1999 года, — пишет в предисловии к книге автор. — Непонятна странная задержка более чем в год между основанием и открытием! А мне помнится по-другому — открытие музея тогда же, 22 августа 1998 года, и состоялось. И помнится очень хорошо — ведь я был директором этого самого музея как раз с той даты. Правда, в директорах я проходил менее года, но, чтобы было понятно, как я, инженер-механик по образованию, вообще туда попал, мне придётся вернуться очень далеко назад. Поэтому прошу придирчивого читателя не подозревать меня в нагнетании объёма в погоне за гонораром, а безропотно вернуться вместе со мной на много лет назад».

Немного об авторе: Марат Гизатулин — писатель, исследователь творчества и первый биограф Булата Окуджавы. Издатель и член редколлегии альманаха «Голос надежды» (2004–2013). Родился в 1960 году в городе Казани Татарской АССР. Вырос в Узбекистане. После окончания в 1985 году Московского института химического машиностроения несколько лет работал на химическом предприятии в Узбекистане. Затем занимался предпринимательской деятельностью и с развалом Советского Союза переехал в Москву.

В 1998 году М. Гизатулин вместе со своим другом, литературоведом и звукоархивистом Л. А. Шиловым на свои средства создали народный музей Булата Окуджавы в Перedelкинe. По предложению вдовы поэта Ольги Арцимович М. Гизатулин стал первым директором музея. В 1999 году, после того, как музей получил официальный статус, от работы в музее был отстранён.

Приобрести книгу можно через сайт издательства:
<https://mgraphics-books.com/product/okudzhava-life-after-life>

**С ВОПРОСАМИ
 ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

 mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
 www.mgraphics-books.com  781-990-8778 (9 AM–4 PM)

БЫЛОЕ И БЫЛЫЕ. ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Александр Сиротин-Лакман

Имя Александра Сиротина-Лакмана известно многим русскоязычным американцам, слушающих и смотрящих русскоязычное радио и телевидение — автор многие годы работал на радио WMNB, в телекомпаниях RTN, RTVI, NTV его знали как автора и ведущего репортажей для программы вечерних новостей, а читатели — как постоянного автора журнала «Чайка» Александра Сиротина, публиковавшегося также в разных нью-йоркских газетах.

В этой книге собраны интервью с президентами и членами правительств, губернаторами и мэрами, политическими лидерами и политологами, с писателями, актёрами, режиссёрами, драматургами, певцами, то есть с теми, кто влиял либо на судьбы, либо на умы, либо на чувства миллионов людей.

Вот что пишет в предисловии автор: *В школе на улице Станиславского я был диктором школьного радио. Именно тогда, в 1958 году, впервые прозвучали слова: «У микрофона Александр Лакман. Почти тридцать лет звучало в радиоэфире: «Ян Рунов. Радио „Свобода“. Нью-Йорк». И почти пятьдесят лет звучало в Америке на русскоязычных радио и телевидении: «У микрофона Александр Лакман». Если к этому прибавить двадцать лет с микрофоном в Москве — на радио, на телевидении, на эстраде, то получится семьдесят. И все семьдесят — с микрофоном. Я давно заметил одну интересную особенность микрофона: он не терпит фальши. Микрофон действует как увеличительное стекло, делая фальшивые, лживые, пафосные ноты ещё слышнее, ещё выпуклее. Поэтому, пользуясь микрофоном, лучше не врать.*

Об авторе: Александр Сиротин-Лакман родился в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина — актёрский, затем режиссёрский факультеты, и Высшие режиссёрские курсы ГИТИСа. Ставил концертные программы, писал пьесы, сценарии, фельетоны, сатирические монологи, публиковался в московских газетах. Эмигрировал в 1978 году. Сотрудничал с газетой «Новое русское слово», журналом «Вестник» и другими русскоязычными изданиями. Играл в нью-йоркском еврейском театре «Фолксбине». Снимался в художественных и документальных кинофильмах. Озвучивал документальные и рекламные фильмы. Более тридцати лет работал на радио «Свобода». Был ведущим на нью-йоркском русскоязычном радио «Горизонт», в Нью-Йорке сотрудничал с радио WMNB, с телекомпаниями RTN, RTVI, NTV-America. Постоянный автор и член редколлегии журнала «Чайка». Выпустил сборник юмористических рассказов «Москва – Нью-Йорк», книгу воспоминаний «Еврейский театр прощается... Но не уходит».



Приобрести книгу можно будет через сайт издательства:
<https://mgraphics-books.com/>

**С ВОПРОСАМИ
 ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

✉ mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
 🌐 www.mgraphics-books.com ☎ 781-990-8778 (9 AM-4 PM)



ЧЕХОВ НА БРАЙТОН БИЧ

История одного поколения в рассказах и очерках

Эмиль Дрейцер

Книгу Эмиля Дрейцера можно без преувеличения назвать энциклопедией еврейской жизни в советской России. В живых, сдобренных одесским юмором рассказах перед читателем проходит череда многочисленных горестей («цорес»), которыми советских евреев «одарило» антисемитское государство и под гнётом которых они родились, росли и должны были как-то существовать. Автор начинает летопись жизни своих героев с раннего детства, ведёт их через трудности — часто непреодолимые — получения образования, выбора специальности, устройства на работу, продвижения по службе.

В семидесятые годы XX века советские евреи получили от судьбы неожиданный подарок: возможность вырваться в

другой мир. Дрейцер убедительно рисует психологический портрет еврейской эмиграции в Америку. В новой жизни, лишённой старых оков, одни не могут найти себя и предаются ностальгическому нытью по прелестям — действительным или воображаемым — своего прошлого. Другие же, с упорством одолевая препоны незнакомой культуры, перестраиваются и находят счастье в осмысленной, любимой деятельности.

Название книги не случайно. Для рассказов Дрейцера характерны чеховские глубина и эпичность в описании, казалось бы, личных бытовых проблем. Читатель временами улавливает и чеховскую грустную интонацию, которая подчёркивает философичность повествования.

Об авторе: Родился в Одессе в 1937 г. Окончил Одесский политехнический институт и Институт журналистского мастерства при Московском Доме журналистов. В 1964–74 гг. под псевдонимом публиковал фельетоны и юморески в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», «Юности», «Крокодиле», «Известиях», а также киножурнале «Фитиль». В 1971-м году за фельетон по адресу одного из советских литературных бонз попал в чёрный список нежелательных авторов. В 1974 г. эмигрировал в США. В 1983 году окончил аспирантуру Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С 1986 г. — профессор русской кафедры колледжа им. Хантера в Нью-Йорке.

Эмиль Дрейцер — лауреат международной литературной премии имени Марка Алданова (2023), автор семнадцати книг художественной, документальной и научной прозы на русском, английском и польском языках. Рассказы и эссе автора печатались в русскоязычных изданиях Америки и в переводе на английский — в американской, британской и канадской периодике. Литературная работа Эмиля Дрейцера неоднократно отмечалась премиями Совета по делам искусств штата Нью-Джерси и грантами Городского университета Нью-Йорка.

Приобрести книгу можно будет через сайт издательства:

<https://mgraphics-books.com/>

**С ВОПРОСАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

✉ mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
📄 www.mgraphics-books.com ☎ 781-990-8778 (9 AM–4 PM)

— А ты здесь смотри не на власть-*power*, а на власть-*authority*. То есть девиз этот — не про ненужность власти-энергии или власти-умения, или власти-способности желать и делать что-либо. Он про полное избавление от власти-угнетения и унижения, от власти-контроля и подавления — то есть от власти произвола собственника и вооружённого авторитета — государства. Про то, что лучше жить на благо всех не под угрозой насилия и уголовного преследования, а ради общего благополучия.

Дмитрий Петров

*Во поле берёзонька — потопали,
Помахав руками из толпы —
От Шанхая до Константинополя
И за Геркулесовы столбы.
Неужели не вернёмся? — Вот они,
Духи гнева гонят нас с утра,
Как кишки,
выматывая родину —
На кулак железный —
из нутра*

Татьяна Вольтская

...Дороти Браун сидит у окна в кресле-коляске и ждёт ночи. Волны FM накатывают друг на друга божественным Бахом. Дороти Браун ждёт округлой и густой ночи. Когда она придёт, звёзды не свернутся клубками, как у Ван Гога. Голубые белки мадам Сурваж не наполнятся грустью, как у Модильяни. И архангел Гавриил не посадит Пророка на коня с женской головой, как на персидских миниатюрах. Будет обычная чикагская ночь. И после ночи настанет день. ...Сейчас вечер, и другой стороной улицы пролетает белый голубь...

Антанас Шкема

...В 1996 году Булат сочинил четверостишие, в котором несколькими словами очерчен конечный вывод о прожитой жизни и о стране, в которой она прошла:

*Ничего, что поздняя проверка.
Всё, что заработал, то твоё.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про неё.*

Владимир Фрумкин

...28 августа 1929 года Пильняк писал в открытом письме в редакцию «Литературной газеты»: «Повесть „Красное дерево“ была закончена 15 января 1929, — 14 февраля я сел за роман (ныне заканчиваемый), „Красное дерево“ в котором перерабатывается в главы. Повесть „Красное дерево“ не появилась в РСФСР не потому, что она была запрещена, но потому, что я решил её переделать».

Ксения Гамарник

...Однажды отец послал меня в столицу с тремя местными помощниками для получения лекарств. Мы сели в машину. Через пять часов началась настоящая буря. На дорогу упало огромное дерево. Дальше ехать было невозможно. Стемнело, мы решили заночевать. Мои помощники развели костёр. Накрывшись одеялом, я заснул. Через некоторое время проснулся от непонятных звуков. Приоткрыв одеяло, я ужасом увидел, как меня обнюхивает лев...

Виктор Бандурко